

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Л. ВИТТЕНШТЕЙН

Кембридж

Январь 1945

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикуемые здесь мысли конденсат философских исследований, занимавших меня последние шестнадцать лет. Они касаются многих вопросов: понятия "значение", понимания, предложения, логики, оснований математики, состояний сознания и многого другого. Я записал все эти мысли в форме заметок, коротких абзацев. Иногда они образуют относительно длинные цепи рассуждений об одном и том же предмете, иногда же их содержание быстро меняется, перескакивая от одной области к другой. Я с самого начала намеревался объединить все эти мысли в одной книге, форма которой в разное время представлялась мне разной. Но мне казалось существенным, чтобы мысли в ней переходили от одного предмета к другому в естественной и непрерывной последовательности.

После нескольких неудачных попыток увязать мои результаты в такую целостность я понял, что это мне никогда не удастся. Что лучшее из того, что я мог бы написать, все равно осталось бы лишь философскими заметками. Что, как только я пытаюсь принудить мои мысли идти в одном направлении вопреки их естественной склонности, они вскоре оскудевали. И это было, безусловно, связано с природой самого исследования. Именно оно принуждает нас странствовать по обширному полю мысли, пересекая его вдоль и поперек в самых различных направлениях. Философские заметки в этой книге это как бы множество пейзажных набросков, созданных в ходе этих долгих и запутанных странствий.

Причем с приближением к тем же или почти тем же пунктам с разных направлений, как бы заново, делались все новые зарисовки. Многие из них

ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Л.ВИТГЕНШТЕЙН

Кембридж

Январь 1945

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикуемые	здесь	мысли
конденсат		философских

исследований, занимавших меня последние шестнадцать лет. Они касаются многих вопросов: понятия "значение", понимания, предложения, логики, оснований математики, состояний сознания и многого другого. Я записал все эти мысли в форме заметок, коротких абзацев. Иногда они образуют относительно длинные цепи рассуждений об одном и том же предмете, иногда же их содержание быстро меняется, перескакивая от одной области к другой. Я с самого начала намеревался объединить все эти мысли в одной книге, форма

которой в разное время представлялась мне разной. Но мне казалось существенным, чтобы мысли в ней переходили от одного предмета к другому в естественной и непрерывной последовательности.

После нескольких неудачных попыток увязать мои результаты в такую целостность я понял, что это мне никогда не удастся. Что лучшее из того, что я мог бы написать, все равно осталось бы лишь философскими заметками. Что, как только я пытался принудить мои мысли идти в

одном направлении вопреки их естественной склонности, они вскоре оскудевали. И это было, безусловно, связано с природой самого исследования. Именно оно принуждает нас странствовать по обширному полю мысли, пересекая его вдоль и поперек в самых различных направлениях. Философские заметки в этой книге это как бы множество пейзажных набросков, созданных в ходе этих долгих и запутанных странствий.

Причем с приближением к тем же или почти тем же пунктам с

разных направлений, как бы заново, делались все новые зарисовки. Многие из них неправильно нарисованы или нехарактерны, полны огрехов слабого рисовальщика. Но после их отбраковки остается некоторое число довольно сносных эскизов, которые следует упорядочить, а часто и подрезать, чтобы они могли дать зримую картину ландшафта. Итак, эта моя книга, в сущности, только альбом.

Собственно, до недавнего времени я отказывался от мысли опубликовать свою работу при

жизни. Правда, время от времени эта мысль во мне шевелилась. И прежде всего потому, что мне приходилось убеждаться: выводы, излагавшиеся мною в лекциях, рукописях, обсуждениях, входили в широкое обращение в сильно искаженном, более или менее разбавленном или урезанном виде. Это задевало мое самолюбие, и мне стоило больших трудов его успокоить.

Четыре года назад у меня был повод перечитать мою первую книгу (Логико-философский трактат) и пояснять ее идеи. Тут

мне вдруг показалось, что следовало бы опубликовать те мои старые и новые мысли вместе; что только в противопоставлении такого рода и на фоне моего прежнего образа мыслей эти новые идеи могли получить правильное освещение.

Ибо, вновь занявшись философией шестнадцать лет назад, я был вынужден признать, что моя первая книга содержит серьезные ошибки. Понять эти ошибки в той мере, в какой я сам едва ли смог бы это сделать, мне помогла критика моих идей

Фрэнком Рамсеем, в бесчисленных беседах с которым я обсуждал их множество раз в течение двух последних лет его жизни. В еще большей мере, чем эта всегда мощная и решительная критика, на меня повлияли замечания преподавателя университета г-на П.Сраффа, в течение многих лет неустанно занимавшегося анализом моих мыслей. Этому стимулирующему воздействию я обязан наиболее последовательными идеями моего сочинения.

То, что я публикую здесь, перекликается на то есть не одна причина с тем, что сегодня пишут другие. Коль скоро на моих заметках нет штемпеля, удостоверяющего мое авторство, то мне в дальнейшем никак не предъявить права на них как на свою собственность.

Я представляю их к публикации с противоречивыми чувствами. Не исключено, что этой работе, при всем ее несовершенстве и при том, что мы живем в мрачное время, будет суждено внести ясность в ту

или иную голову; но, конечно, это не столь уж и вероятно.

Своим сочинением я не стремился избавить других от усилий мысли. Мне хотелось иного: побудить кого-нибудь, если это возможно, к самостоятельному мышлению.

Я был бы счастлив создать хорошую книгу. Так не случилось; но время, когда я мог бы ее улучшить, ушло.

ЧАСТЬ I

1. АВГУСТИН в Исповеди (I/8) говорит: "Cum ipsi (maiores homines) appellabant rem aliquam, et cum secundum eam vocem corpus ad aliquid movebant, videbam, et tenebam hoc ab eis vocari rem illam, quod sonabant, cum eam vellent ostendere. Hoc autem eos velle ex motu corporis aperiebatur: tamquam verbis naturalibus omnium gentium, quae fiunt vultu et nutu oculorum, ceterorumque membrorum actu, et sonitu vocis indicante affectionem animi in petendis, habendis, rejiciendis, fugiendisve rebus. Ita verba in variis sententiis locis suis

posita, et crebro audita, quarum rerum signa essent, paulatim colligebam, measque jam voluntates, edomito in eis signis ore, per haec enuntiabam"

В этих словах заключена, мне кажется, особая картина действия человеческого языка. Она такова: слова языка именуют предметы предложения суть связь таких наименований.

В этой картине языка мы усматриваем корни такого представления: каждое слово имеет какое-то значение. Это

значение соотнесено с данным словом. Оно соответствующий данному слову объект.

Августин не говорит о различии типов слов. Тот, кто описывает обучение языку таким образом, думает прежде всего, по-видимому, о таких существительных, как "стол", "стул", "хлеб", и именах лиц, затем о наименованиях определенных действий и свойств, прочие же типы слов считая чем-то таким, что не требует особой заботы.

Ну, а представь себе такое употребление языка: я посылаю кого-нибудь за покупками. Я даю ему записку, в которой написано: "Пять красных яблок". Он несет эту записку к продавцу, тот открывает ящик с надписью "яблоки", после чего находит в таблице цветов слово "красный", против которого расположен образец этого цвета, затем он произносит ряд слов, обозначающих простые числительные до слова "пять" я полагаю, что наш продавец знает их наизусть, и при каждом слове он вынимает из ящика яблоко, цвет

которого соответствует образцу. Так или примерно так люди оперируют словами. Но как он узнает, где и каким образом положено наводить справки о слове "красный" и что ему делать со словом "пять"? Ну, я предполагаю, что он действует так, как я описал. Объяснениям где-то наступает конец. Но каково же значение слова "пять"? Речь здесь совсем не об этом, а только о том, как употребляется слово "пять".

2. Приведенное выше философское понятие значения коренится в примитивном

представлении о способе функционирования языка. Или же, можно сказать, в представлении о более примитивном языке, чем наш.

Представим себе язык, для которого верно описание, данное Августином. Этот язык должен обеспечить взаимопонимание между строителем А и его помощником В. А возводит здание из строительных камней блоков, колонн, плит и балок. В должен подавать камни в том порядке, в каком они нужны А. Для этого они пользуются языком, состоящим из

слов: "блок", "колонна", "плита", "балка". А выкрикивает эти слова, В доставляет тот камень, который его научили подавать при соответствующей команде. Рассматривай это как заверченный примитивный язык.

3. Можно сказать, что Августин действительно описывает некоторую систему коммуникации, но только не все, что мы называем языком, охватывается этой системой. Причем говорить так следует в тех случаях, когда возникает вопрос: "Годится или не годится данное

изображение?" В таком случае дается ответ: "Да, годится, но только для этой, узко очерченной области, а не для того целого, на изображение коего ты притязал".

Это похоже на то, как если бы кто-то объяснял: "Игра состоит в передвижении фигур по некой поверхности согласно определенным правилам..." а мы бы ответили на это: "Ты, по-видимому, думаешь об играх на досках, но ведь имеются и другие игры. Твое определение может стать правильным, если ты четко

ограничишь его играми первого рода".

4. Представь себе письменность, в которой буквы использовались бы для обозначения не только звуков, но и как знаки ударений и пунктуации. (Письменность можно понимать как язык для описания звуковых образцов.) Теперь представь себе, что кто-то толкует это письмо просто как соответствие каждой буквы какому-то звуку, как если бы у букв не было к тому же и совершенно иных функций. Такое слишком упрощенное понимание

Такие примитивные формы языка использует ребенок, когда учится говорить. Обучение языку в этом случае состоит не в объяснении, а в тренировке.

6. Можно представить себе, что язык, описанный в "2, выступает для А и В как весь язык; даже как весь язык некоего племени. Дети воспитывались бы тогда так, чтобы они, пользуясь этими словами, совершали эти действия и таким образом реагировали на слова других.

Важная часть речевой тренировки будет тогда состоять в том, что обучающий указывает на предметы, привлекая к ним внимание ребенка и произнося при этом некоторое слово, например слово "плита", с одновременным указанием на эту форму. (Я не хочу называть это "указательным разъяснением" или "определением", поскольку ребенок еще не способен спрашивать о названии предмета. Я назову этот процесс "указательным обучением словам". Я утверждаю, что оно является важной частью речевой

тренировки, ибо именно так обстоит дело у людей, а не потому, что нельзя представить себе иную картину.) Можно сказать, что это указательное обучение словам проторяет ассоциативную связь между словом и предметом. Но что это значит? Да, это может означать разное, но прежде всего люди склонны считать, что в душе ребенка возникает картина предмета, когда он слышит соответствующее слово. А если такое действительно происходит, то в этом ли целевое назначение слова? Да, это может быть целью. Я могу себе представить такое

употребление слов (сочетаний звуков). (Произнесение слова подобно нажатию клавиши на клавиатуре представлений.) Но в языке, описанном в "2, цель слов совсем не в том, чтобы пробуждать представления. (Хотя, конечно, при этом может оказаться, что такие представления содействуют достижению действительной цели.)

Но если указательное обучение и содействует этому, то надо ли утверждать, что оно способствует пониманию слов? Разве тот, кто по команде "плита!" действует

соответствующим образом, не понимает этой команды? Да, конечно, указательное обучение помогает пониманию, но только в сочетании с определенной тренировкой. Изменись характер тренировки, то же самое указательное обучение привело бы к совсем иному пониманию этих слов.

"Соединяя стержень с рычагом, я привожу в действие тормоз". Да, если дан весь остальной механизм. Лишь в связи с ним это тормозной рычаг; вне такой опоры

это совсем не рычаг, а все, что угодно, либо ничто.

7. В практике употребления языка (2) один выкрикивает слова, другой действует в соответствии с ними; при обучении же языку происходит следующее: обучаемый называет предметы; то есть, когда учитель указывает ему камень, он произносит слово. А вот и еще более простое упражнение: учащийся произносит слово вслед за учителем. Оба процесса похожи на язык.

К тому же весь процесс употребления слов в языке (2) можно представить и в качестве одной из тех игр, с помощью которых дети овладевают родным языком. Я буду называть эти игры "языковыми играми" и говорить иногда о некоем примитивном языке как о языковой игре.

Процессы наименования камней и повторения слов за кем-то также можно назвать языковыми играми. Вспомни о многократных употреблениях слов в приговорах к играм-хороводам.

"Языковой игрой" я буду называть также единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен.

8. Рассмотрим один из расширенных вариантов языка (2). Пусть в нем наряду с четырьмя словами "блок", "колонна" и т.д. содержится ряд слов, употребляемых так же, как продавец (1) употреблял числительные (это может быть ряд букв алфавита); пусть далее в него войдут два слова, означающие, скажем, "туда" и "это" (примерно

таково их целевое назначение), которые будут использоваться в сочетании с указательным жестом; и наконец, пусть в этот язык войдет некоторое число цветовых образцов. А отдает приказ типа: "d плит туда". При этом он демонстрирует помощнику образец цвета и при слове "туда" указывает какое-то место на строительной площадке. Из запаса плит В берет по одной плите на каждую букву алфавита вплоть до d в соответствии с цветовым образцом и доставляет их на место, указанное А. В других случаях А отдает приказ: "Это

туда". При слове "это" он указывает на какой-то строительный камень. И так далее.

9. Когда ребенок учится такому языку, он должен выучить наизусть ряд "числительных" а, б, с, и научиться их применять. Войдет ли в занятия такого рода и указательное обучение словам? Ну, например, люди будут указывать на плиты и считать: "а, б, с плит". С указательным обучением словам "блок", "колонна" и т.д., пожалуй, более сходно указательное обучение числительным, которые служат не для счета, а для

обозначения групп предметов, охватываемых одним взглядом. Именно так дети учатся употреблению первых пяти"шести количественных числительных.

А слова "туда" и "этот" также осваиваются указательно? Представь себе, например, как можно было бы научить их употреблению! Указывая при этом на места и вещи, но ведь в данном случае этот жест включен и в употребление этих слов, а не только в обучение их употреблению.

10. Так что же обозначают слова этого языка? Как выявить, что они обозначают, если не по способу их употребления? А его мы уже описали. Следовательно, выражение "данное слово обозначает это" должно стать частью такого описания. Иначе говоря: такое описание следовало бы привести к форме: "Слово... обозначает..."

Что же, описание употребления слова "плита", конечно, можно сократить до утверждения, что данное слово обозначает этот предмет. Именно так и поступают,

например, когда требуется лишь устранить ошибочное отнесение слова "плита" к строительному камню, который в действительности называется "блоком", но при этом способ "отнесения", то есть употребления, этого слова в остальном нам уже известен.

Равным образом можно сказать, что знаки "a", "b" и т.д. означают числа, чтобы устранить ошибочное представление, будто "a", "b", "c", играют в языке такую же роль, какую действительно играют слова "блок", "плита", "колонна". И

можно также сказать, что "с" обозначает это число, а не вот то, чтобы пояснить: буквы следует употреблять в последовательности а, b, с, d и т.д., а не а, b, d, с.

Но, уподобляя таким образом одно описание употребления слов другому, мы все-таки не можем сделать более сходными эти употребления! Ибо, как мы видим, они совершенно не схожи.

11. Представь себе инструменты, лежащие в специальном ящике. Здесь есть молоток, клещи, пила,

отвертка, масштабная линейка, банка с клеем, гвозди и винты. Насколько различны функции этих предметов, настолько различны и функции слов. (Но и там и здесь имеются также сходства.)

Конечно, нас вводит в заблуждение внешнее подобие слов, когда мы сталкиваемся с ними в произнесенном, письменном или печатном виде. Ибо их применение не явлено нам столь ясно. В особенности когда мы философствуем!

12. Это похоже на то, как, заглянув в кабину локомотива, мы бы увидели там рукоятки, более или менее схожие по виду. (Что вполне понятно, ибо все они предназначены для того, чтобы браться за них рукой.) Но одна из них пусковая ручка, которую можно поворачивать плавно (она регулирует степень открытия клапана); другая рукоятка переключателя, имеющая только две рабочие позиции, он либо включен, либо выключен; третья рукоятка тормозного рычага, чем сильнее ее тянуть, тем резче торможение; четвертая рукоятка

насоса, она действует только тогда, когда ее двигают туда"сюда.

13. Когда мы говорим: "Каждое слово в языке что-то означает", то этим еще совсем ничего не сказано; до тех пор пока мы точно не разъясним, какое различие при этом хотим установить. (Ведь возможно, что мы хотим отличить слова языка (8) от слов, "лишенных значения", вроде тех, какие встречаются в стихотворениях Льюиса Кэррола, или слов, подобных "ювиваллера" в песне.

14. Представь себе, что кто-то говорит: "Все инструменты служат преобразованию чего-то. Так, молоток меняет положение гвоздя, пила форму доски и т.д.". А что видоизменяют линейка, банка с клеем, гвозди? "Нашу осведомленность о длине вещи, температуре клея, прочности ящика". Разве подобным истолкованием выражения достигался бы какой-то эффект?

15. Слово "обозначать" употребляется наиболее прямым образом, по-видимому, тогда, когда

на обозначаемом предмете проставляется знак. Представь себе, что на инструментах, применяемых А в строительстве, проставлены определенные знаки. Когда А показывает помощнику один из таких знаков, тот приносит ему инструмент, помеченный этим знаком.

Так или примерно так имя обозначает некоторую вещь, имя дается вещи. Занимаясь философией, часто бывает полезно напоминать себе: наименование чего-то подобно прикреплению ярлыка к вещи.

16. А как быть с цветовыми образцами, которые А показывает В, принадлежат ли они языку? А это уж как угодно. Они не относятся к словам языка; но скажи я кому-нибудь: "Произнеси слово "это"", и он сочтет "это" частью предложения. А между тем оно играет роль, совершенно аналогичную той, которая отведена образцу цвета в языковой игре (8); то есть оно образец того, что должен сказать другой.

Причисление образцов к
инструментам языка наиболее

естественно и ведет к наименьшей путанице.

((Замечание по поводу рефлексивного местоимения "это предложение".))

17. Можно было бы сказать: "В языке (8) мы сталкиваемся с различными типами слов. Ведь функции слова "плита" и слова "блок" более близки, чем функции слов "плита" и d. Но то, как мы сгруппируем слова по типам, будет зависеть от цели такой

классификации и от нашего предпочтения.

Подумай о различных точках зрения, исходя из которых можно сгруппировать инструменты по их типам. Или шахматные фигуры по типам фигур.

18. Тебя не должно смущать, что языки (2) и (8) состоят только из приказов. Если ты хочешь сказать, что именно поэтому они неполны, то спроси себя, полон ли наш язык; был ли он полон до того, как мы ввели в него химическую

символику и обозначения для исчисления бесконечно малых; ведь они как бы пригороды нашего языка. (И с какого числа домов или улиц город начинает быть городом?) Наш язык можно рассматривать как старинный город: лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и новых домов, домов с пристройками разных эпох; и все это окружено множеством новых районов с прямыми улицами регулярной планировки и стандартными домами.

19. Легко представить себе язык, состоящий только из приказов и донесений в сражении. Или язык, состоящий только из вопросов и выражений подтверждения и отрицания. И бесчисленное множество других языков. Представить же себе какой-нибудь язык значит представить некоторую форму жизни.

А как тогда ответить на вопрос: является ли возглас "Плита!" в примере (2) предложением или же словом? Если это слово, то ведь оно имеет не то же самое

значение, что и аналогично звучащее слово нашего обычного языка, ибо в "2 оно сигнал. Если же оно предложение, то все же это не эллиптическое предложение "Плита!" из нашего языка. Что касается первого вопроса, то выражение "Плита!" можно назвать и словом, и предложением; пожалуй, наиболее уместно здесь говорить о "выродившемся предложении" (как говорят о выродившейся гиперболе); а это как раз и есть наше "эллиптическое" предложение. Но ведь оно есть просто сокращенная форма предложения "Принеси мне

плиту!", а между тем в примере (2) такого предложения нет. Однако почему бы мне, идя отпротивного, не назвать предложение "Принеси мне плитку!" удлинением предложения "Плита!"? Потому что, выкрикивая слово "Плита!", в действительности подразумевают "Принеси мне плитку!". Но как ты это делаешь: как ты подразумеваешь это, произнося слово "плита"? Разве внутренне ты произносишь несокращенное предложение? Почему же я должен переводить возглас "плита!" в другое выражение для того, чтобы сказать, что подразумевал под

этим некто? А если оба эти выражения означают одно и то же, то почему нельзя сказать: "Говоря "Плита!", он подразумевал "Плита!""? Или: почему ты не мог бы подразумевать "Плита!", если можешь подразумевать : "Принеси мне плиту!""? Но, восклицая "плита!", я хочу, чтобы он принес мне плиту! Безусловно. А заключается ли "это хотение" в том, что ты мыслишь предложение, так или иначе отличное по форме от произнесенного тобой?

20. Но когда кто-то говорит: "Принеси мне плиту!", в тот момент действительно кажется, что он мог бы осмысливать это выражение как одно длинное слово, соответствующее слову "Плита!". Что же, в одних случаях его можно осмысливать как одно слово, а в других как три? А как его осмысливают обычно? Полагаю, это склоняет к ответу: мы понимаем это предложение как состоящее из трех слов, когда употребляем его в противопоставлении другим предложениям, таким, как "Подай мне плиту", "Принеси плиту ему!",

"Принеси две плиты!" и т.д., то есть в противопоставлении предложениям, содержащим слова нашего приказа, взятые в других комбинациях. Но в чем заключается использование одного предложения в противопоставлении другим? Присутствуют ли при этом в сознании говорящего эти предложения? Все? В то время, когда произносят предложение, либо же до того или после? Нет! Если мы и испытываем некий соблазн в таком объяснении, все же достаточно хоть на миг задуматься о том, что при этом

реально происходит, чтобы понять, что мы здесь на ложном пути. Мы говорим, что применяем данный приказ в противопоставлении другим предложениям, поскольку наш язык включает в себе возможность этих других предложений. Тот, кто не понимает нашего языка, какой-нибудь иностранец, часто слышавший чей-то приказ "Принеси мне плиту!", мог бы счесть весь этот ряд звуков за одно слово, приблизительно соответствующее в его языке слову, обозначающему "строительный камень". Если бы затем он сам

отдал этот приказ, он, вероятно, произнес бы его иначе, чем мы. Мы же могли бы тогда сказать: он произносит его так странно, потому что воспринимает его как одно слово. А в таком случае не происходит ли нечто иное, когда он отдает этот приказ, и в его сознании соответственно тому, что он принимает предложение за одно слово? В его сознании может происходить то же самое, а может и нечто другое. Ну, а что происходит в тебе, когда ты отдаешь подобный приказ? Сознаешь ли ты в то время, как отдаешь его, что он состоит из

трех слов? Конечно, ты владеешь этим языком в котором имеются и те другие предложения, но является ли это "владение" чем-то, что "совершается", пока ты произносишь данное предложение? И я бы даже признал: "Иностранец, понимающий предложение иначе, чем мы, вероятно, и выскажет его иначе". Но то, что мы называем ложным пониманием, не обязательно заключается в чем-то сопутствующем произнесению приказа.

Предложение "эллиптически" не потому, что оно опускает нечто, о чем мы думаем, произнося его, а потому, что оно сокращено по сравнению с определенным образом нашей грамматики. Конечно, здесь можно было бы возразить: "Ты признаешь, что сокращенное и несокращенное предложения имеют одинаковый смысл. Так каков же тогда этот смысл? Имеется ли тогда для этого смысла какое-либо словесное выражение?" Но разве одинаковый смысл предложений не заключается в их одинаковом применении? (В русском языке

вместо "Камень есть красный" говорится "Камень красный"; ощущают ли говорящие на этом языке отсутствие глагола "связки" "есть" или же мысленно добавляют ее к смыслу предложения?)

21. Представь себе языковую игру, в которой В в ответ на вопросы А сообщает ему о количестве плит или блоков в штабеле или же о цвете и форме строительных камней, лежащих там-то. Так сообщение могло бы звучать: "Пять плит". В чем же разница между сообщением или

утверждением "Пять плит" и приказом "Пять плит! "? Ну, в той роли, какую играет произнесение этих слов в языковой игре. Да, пожалуй, разным будет и тон, каким их произносят, и выражение лица, и многое другое. Но можно было бы представить, что тон одинаковый ведь приказ и сообщение могут высказываться в разной тональности, с разным выражением лица и что различие будет состоять только в применении. (Безусловно, слова "утверждение" и "приказ" можно было бы использовать для обозначения грамматических форм

предложений и интонаций; ведь называем же мы предложение "Не правда ли, сегодня великолепная погода?" вопросом, хотя употребляем его как утверждение.) Мы могли бы представить себе язык, в котором все утверждения имеют форму и тональность риторических вопросов, а каждый приказ форму вопроса: "А не хочешь ли ты это сделать?" Тогда, возможно, утверждали бы: "Сказанное им имеет форму вопроса, но в действительности это приказ", то есть выполняет функцию приказа в практике использования языка.

(Аналогичным образом "Ты сделаешь это" высказывают не как предвидение, а как приказ. Что же делает их тем или другим?)

22. Точка зрения Фреге, будто в каждом утверждении заложено предположение о существовании того, что утверждается, по сути, основывается на имеющейся в нашем языке возможности записать каждое утвердительное предложение в следующей форме: "Утверждается, что происходит то-то". Но выражение "Что происходит то-то" ведь не является предложением нашего языка оно

еще не ход в языковой игре. И если вместо "Утверждается, что..." я пишу "Утверждается: происходит то-то", то слово "утверждается" просто излишне.

С таким же успехом можно было бы записывать каждое утверждение в форме вопроса с последующим подтверждением; например, "Идет дождь? Да!". Разве этим доказывалось бы, что в каждом утверждении скрывается вопрос?

Конечно, человек вправе пользоваться знаком утверждения в отличие, например, от вопросительного знака; или же с целью отграничить утверждение от вымысла или предположения. Только неверно полагать, будто утверждение состоит из двух актов обдумывания мысли и ее утверждения (приписывания определенного истинного значения и тому подобного), и что мы исполняем эти действия по знакам предложения, подобно тому как поем по нотам. С пением по нотам, конечно, можно сравнить громкое или тихое чтение

написанного предложения, но не
"обдумывание" ("Meinen")
(осмысление) прочитанного
предложения.

Знак утверждения Фреге акцентирует начало предложения. Следовательно, он имеет функцию, сходную с функцией точки. Он отличает период в целом от предложения внутри периода. Когда я слышу, что кто-то говорит "идет дождь", но не знаю, услышал ли я начало или конец периода, то это предложение еще ни о чем меня не уведомляет_

23. Сколько же существует типов предложения? Скажем, утверждение, вопрос, повеление? Имеется бесчисленное множество таких типов бесконечно разнообразны виды употребления всего того, что мы называем "знаками", "словами", "предложениями". И эта множественность не представляет собой чего-то устойчивого, раз и навсегда данного, наоборот, возникают новые типы языка, или, можно сказать, новые языковые игры, а другие устаревают и забываются. (Приблизительную

картину этого процесса способны дать нам изменения в математике.)

Термин "языковая игра", призван подчеркнуть, что говорить на языке компонент деятельности или форма жизни.

Представь себе многообразие языковых игр на таких вот и других примерах:

Отдавать приказы или
выполнять их

Описывать внешний вид объекта
или его размеры

Изготавливать объект по его
описанию (чертежу)

Информировать о событии

Размышлять о событии

Выдвигать и проверять гипотезу

Представлять результаты
некоторого эксперимента в

таблицах и диаграммах

Сочинять рассказ и читать его

Играть в театре

Распевать хороводные песни

Разгадывать загадки

Остричь; рассказывать забавные истории

Решать арифметические задачи

Переводить с одного языка на
другой

Просить,	благодарить,
проклинать,	приветствовать,
молить.	

Интересно сравнить
многообразие инструментов языка
и их способов применения,
многообразие типов слов и
предложений с тем, что высказано
о структуре языка логиками
(включая автора
Логико"философского трактата).

24. Не принимая во внимание многообразие языковых игр, ты вероятно, будешь склонен задавать вопросы типа: "Что такое вопрос?" Является ли он констатацией моего незнания того-то или же констатацией моего желания, чтобы другой человек сообщил мне о...? Или же это описание моего душевного состояния неуверенности? А призыв "Помогите!" тоже такое описание?

Подумай над тем, сколь различные вещи называются "описанием": описание положения

тела в пространственных координатах, описание выражения лица, описание тактильных ощущений, описание настроения.

Конечно, можно заменить обычную форму вопроса утверждением или описанием типа "Я хочу узнать..." или же "Я сомневаюсь, что..." но от этого не сближаются друг с другом различные языковые игры.

Значение таких возможных преобразований, скажем превращения всех утвердительных

предложений в предложения, начинающиеся словами "Я думаю" или "Я полагаю" (то есть как бы в описание моей внутренней жизни), станет яснее в другом месте. (Солипсизм.)

25. Иногда утверждают: животные не говорят потому, что у них отсутствуют умственные способности. Это равносильно утверждению: "Они не мыслят, поэтому не говорят". Но они именно не говорят. Или, точнее, они не употребляют языка за исключением его самых примитивных форм. Приказывать,

спрашивать, рассказывать, болтать в той же мере часть нашей натуральной истории, как ходьба, еда, питье, игра.

26. Считается, что обучение языку состоит в наименовании предметов. То есть: людей, форм, цветов, болезненных состояний, настроений, чисел и т.д. Как уже было сказано, наименование в какой-то мере напоминает прикрепление ярлыка к вещи. Это можно назвать подготовкой к употреблению слова. Но к чему это подготавливает?

27. "Мы называем вещи и затем можем о них говорить, беседуя, можем ссылаться на них". Словно в акте наименования уже было заложено то, что мы делаем в дальнейшем. Как если бы все сводилось лишь к одному "говорить о вещах". В то время как способы действия с нашими предложениями многообразны. Подумай только об одних восклицаниях с их совершенно различными функциями.

Воды!

Прочь!

Ой!

На помощь!

Прекрасно!

Нет!

Неужели ты все еще склонен
называть эти слова
"наименованиями предметов"?

В языках (2) и (8) не вставал вопрос о наименовании чего-то. Можно было бы сказать, что именование в сочетании с его коррелятом, указательным определением, и является настоящей языковой игрой. Это, по сути, означает: мы воспитаны, натренированы так, чтобы спрашивать: "Как это называется?" после чего следует название. Существует и такая языковая игра: изобретать имя для чего-нибудь. А стало быть, и говорить: "Это называется..." и затем употреблять это новое имя. (Так, например, дети дают имена своим куклам и

потом говорят о них и с ними. Подумай в этой связи, насколько своеобразно употребление собственного имени человека, с помощью которого мы обращаемся к нему!)

28. Ну, а имена лиц, названия цветов, материалов, чисел, стран света и т.д. можно определять указательно. Определение числа два "Это называется два" с указанием при этом на два ореха совершенно точно. Но как можно определить таким образом "два" как таковое? Ведь человек, которому дают такую дефиницию,

не знает, к чему хотят отнести название "два"; он сочтет, что словом "два" ты называешь эту группу орехов! Он может это предположить, но, возможно, он так не подумает. Ведь он мог бы впасть и в противоположную ошибку, приняв имя, которым я бы хотел наделить эту группу орехов, за название числа. И с тем же успехом он мог бы понять имя человека, при его указательном определении, как имя цвета, наименование расы, даже название страны света. Это значит, что в каждом случае указательное

определение может быть
истолковано и так, и этак.

29. Может быть, скажут: "два" как таковое можно определить указательно только таким образом: "Это число называется "два"". Ибо слово "число" показывает в данном случае, какое место в языке, в грамматике мы отводим этому слову. А это значит: чтобы можно было понять указательное определение, уже требуется объяснить слово "число". Правда, слово "число" в данном определении указывает то место, роль, которые мы отводим

данному слову. Так что можно предотвратить непонимание, говоря: "Этот цвет называется вот как", "Эта длина называется так-то" и т.д. Но разве только таким способом понимают слова "цвет" или "длина"? Ну, их как раз требуется объяснить. То есть объяснить их другими словами! А как быть с последним объяснением в этой цепи? (Не говори ""Последнего" объяснения не существует". Это равноценно тому, что ты захотел бы сказать: "На этой улице нет последнего дома; к нему всегда можно пристроить еще один".)

Необходимо ли слово "число" в указательном определении слова "два", зависит от того, понимают ли его без этого слова не так, как я того хочу. А это зависит от обстоятельств, при которых дается определение, и от человека, которому я его даю.

А как он "понимает" это разъяснение, проявляется в том, как он пользуется разъясненным словом_.

Часть 2.

30. Итак, можно сказать: указательное определение объясняет употребление значения слова, когда роль, которую это слово призвано играть в языке, в общем уже достаточно ясна. Так, если я знаю, что кто-то намерен объяснить мне слово, обозначающее цвет, то указательное определение "Это называется "сепия"" поможет мне понять данное слово. А говорить это можно, если не забывать при

этом, что со словами "знать", "быть понятым" также связаны многочисленные проблемы.

Нужно уже что-то знать (или уметь), чтобы быть способным спрашивать о названии. Что же нужно знать?

31. Если кому-нибудь показывают фигуру шахматного короля и говорят "Это король", то этим ему не разъясняют применения данной фигуры разве что он уже знает правила игры. Кроме вот этого

последнего момента: формы фигуры короля. Можно представить себе, что он изучил правила игры, но ему никогда не показывали реальной игровой фигуры. В этом случае форма шахматной фигуры соответствует звучанию или визуальному образу некоторого слова.

Можно также представить себе, что кто-то освоил игру, не изучая или не формулируя ее правил. Он мог бы, например путем наблюдения, усвоить сначала совсем простые игры на досках и продвигаться ко все более

сложным. Ему можно было бы дать пояснение "Это король", показывая, например, шахматную фигуру непривычной для него формы. И опять-таки это объяснение учит его пользоваться данной фигурой лишь потому, что предназначенное ей место, можно сказать, уже подготовлено. Иначе говоря: мы только тогда скажем, что объяснение обучает его применению, когда почва для этого уже подготовлена. И в данном случае подготовленность состоит не в том, что человек, которому мы даем пояснение, уже знает правила

игры, а в том, что он уже овладел игрой в другом смысле.

Рассмотрим еще и такой случай. Я поясняю кому-нибудь шахматную игру и начинаю с того, что, показывая фигуру, говорю: "Это король. Он может ходить вот так и так и т.д." В этом случае мы скажем: слова "Это король" (или "Это называется королем") лишь тогда будут дефиницией слова, когда обучаемый уже "знает, что такое фигура в игре". То есть когда он уже играл в другие игры или же "с пониманием" следил за играми других и тому подобное. И лишь в

этом случае при обучении игре может быть уместен его вопрос: "Как это называется?" именно эта фигура в игре.

Можно сказать: о названии осмысленно спрашивает лишь тот, кто уже так или иначе знает, как к нему подступиться.

Можно даже представить себе, что человек, которого спрашивают, отвечает: "Установи название сам" и тогда спрашивающий должен был бы до всего дойти сам.

32. Посетив чужую страну, человек иногда осваивает язык ее жителей, основываясь на указательных определениях, которые они ему дают. И ему часто приходится угадывать значение этих определений, угадывать то верно, то неверно.

И тут, полагаю, мы можем сказать: Августин описывает усвоение человеческого языка так, словно ребенок прибыл в чужую страну и не понимал языка этой страны; то есть как если бы он уже владел каким-нибудь языком,

только не этим. Или же: словно ребенок уже умел бы думать, но просто еще не мог говорить. А "думать" при этом означало бы нечто вроде: говорить с самим собой.

33. Но допустим, кто-то возражает: "Неверно, будто человек должен уже владеть языковой игрой, чтобы понять указательное определение; ему нужно безусловно просто знать или догадываться, на что указывает человек, дающий разъяснение! То есть указывается ли при этом, например, на форму

предмета, или на его цвет, или же на число и т.д.". В чем же тогда заключается это "указание на форму", "указание на цвет"? Укажи на лист бумаги! А теперь укажи на его форму, теперь на его цвет, теперь на его число (последнее звучит странно)! Ну и как же ты это делал? Ты скажешь, что, указывая, всякий раз "имел в виду" разное. А спроси я, как это делается, ты ответишь, что концентрируешь свое внимание на цвете, форме и т.д. Ну, а я снова спрошу, как это делается.

Представь, кто-то показывает на вазу и говорит: "Взгляни на эту великолепную синеву! Форма здесь не имеет значения". Или: "Взгляни на эту великолепную форму! Здесь несуществен цвет". Вне всякого сомнения, в ответ на эти призывы ты сделаешь нечто разное. Ну, а всегда ли ты делаешь нечто одинаковое, обращая внимание на цвет? Представь же себе различные случаи такого рода! Я приведу лишь несколько:

"Похожа ли эта синева на ту? Видишь ли ты какую-нибудь

разницу?"

Ты смешиваешь краски и говоришь: "Трудно добиться синевы этого неба".

"Ну, превосходно, вновь видна синева неба!"

"Посмотри, какой разный эффект дают эти два синих цвета!"

"Ты видишь там синюю книгу? Принеси ее сюда".

"Этот синий световой сигнал означает..."

"Как называется вот этот синий цвет? Это "индиго"?"

Чтобы направить внимание на цвет, иногда прикрывают рукой очертания формы, или же не смотрят на контуры вещи, или же пристально вглядываются в предмет, пытаюсь вспомнить, где уже видели этот цвет.

Обращая внимание на форму, иногда очерчивают ее контуры, иногда прищуривают глаза, чтобы ослабить восприятие цвета, и т.д. и т.д. Я хочу сказать: так или примерно так действуют в тех случаях, когда "направляют внимание на то или иное". Но само по себе это не позволяет нам сказать, привлекла ли чье-либо внимание форма, цвет и т.д. Так и шахматный ход состоит не только в том или ином передвижении пешки по доске и не только в мыслях или чувствах шахматиста, делающего ход; а в обстоятельствах, которые мы

называем: "играть шахматную

партию", "решать шахматную задачу" и т.п.

34. Но предположим, кто-то говорит: "Направляя внимание на форму, я всегда делаю одно и то же обвожу контуры предмета глазами и чувствую при этом..." И допустим, указывая на круглый предмет и испытывая все эти ощущения, этот человек предлагает кому-то другому вот такое указательное определение: "Это называется "круг"". Разве не может другой человек иначе истолковать его разъяснение, даже если он видит, что поясняющий

обводит форму глазами и даже если он сам испытывает такие же чувства, что и тот? Иными словами: такая "интерпретация" может состоять и в том, как он теперь применяет разъясненное слово; например, на что указывает по команде "Покажи круг". Ибо ни выражение "определение подразумевает вот это", ни выражение "определение истолковывается вот так" не обозначают какого-то процесса, сопровождающего дефиницию и ее восприятие на слух.

35. Конечно, существует то, что можно назвать "характерными переживаниями", скажем, при указании на форму. Например, такие, как обведение контура указываемого предмета пальцем или же взглядом. Но это происходит далеко не во всех случаях, когда я "подразумеваю форму", и далеко не во всех случаях встречается какой-нибудь иной характерный процесс. Но если бы даже что-то в этом роде и повторялось во всех этих случаях, то все равно мы говорили бы "Он указал на форму, а не на цвет" в зависимости от обстоятельств то

есть от того, что происходит до и после указания.

Дело в том, что слова "указывать на форму", "иметь в виду форму" и т.д. употребляются не так, как слова "указывать на эту книгу" (а не на ту), "указывать на стул, а не на стол" и т.д. Подумай только, как по-разному мы обучаемся, с одной стороны, употреблению слов "указывать на эту вещь", "указывать на ту вещь", а с другой стороны, "указывать на цвет, а не на форму", "иметь в виду цвет" и т.д.

Как уже было сказано, в определенных случаях, в особенности при указании "на форму" и "на число", имеются характерные переживания и виды указаний "характерные" потому, что они часто (но не всегда) повторяются, когда "подразумевают" форму или число. Но известно ли тебе также некое переживание, характерное для указания на игровую фигуру именно как на фигуру в игре? А между тем можно сказать: "Я имею в виду, что "королем" называется не конкретный кусок дерева, на который я показываю", а

эта игровая фигура"_. (Узнавать, желать, вспоминать и т.д.)

36. При этом мы поступаем так же, как в тысяче подобных случаев: поскольку нам не удастся привести какое-то одно телесное действие, которое бы называлось указанием на форму (в отличие, скажем, от цвета), то мы говорим, что этим словам соответствует некая духовная деятельность.

Там, где наш язык подразумевает существование тела, между тем

как его нет, там склонны говорить о существовании духа.

37. Каково же отношение между именем и именуемым? Ну, так чем же оно является? Приглядишься к языковой игре (2) или к любой другой! Там следует искать, в чем состоит это отношение. Это отношение может состоять, между прочим, и в том, что при звуке имени у нас в душе возникает определенная картина названного, и в том, что имя написано на именуемом предмете, или же в том, что его произносят, указывая на этот предмет.

38. А что именует, например, слово "этот" в языковой игре (8) или слово "это" в указательном определении "Это называется..."? Во избежание путаницы лучше вообще не считать такие слова именами чего бы то ни было. Как ни странно, о слове "этот" некогда говорили, что оно-то и есть подлинное имя. Все же остальное, что мы называем "именем", стало быть, является таковым лишь в неточном, приблизительном смысле.

Эта странная точка зрения
проистекает можно сказать из
стремления сублимировать логику
нашего языка. Подобающий ответ
на поставленный вопрос таков:
"именем" мы называем самые
разные вещи; слово "имя"
характеризует множество
различных, многообразно
родственных между собой
способов употребления слова; но
среди этих видов употребления
отсутствует употребление слова
"этот".

В самом деле, мы часто, например при указательном определении, демонстрируем именуемый предмет, произнося его имя. И с тем же успехом в таких случаях, указывая на некий предмет, произносят слово "это". И слово "это", и имя часто занимают в предложении одинаковое положение. Но для имени характерно как раз то, что оно определяется путем указания "Это N" (или "Это называется N"). Но разве определишь что-нибудь с помощью слов: "Это называется "это"" или же "Это называется "этот""?

Это связано с пониманием именованния как некоего, так сказать, таинственного процесса. Именованние кажется какой-то необычной связью слова с объектом. И такая странная связь действительно возникает, например, когда философ пытается выявить особое отношение между именем и именуемым, устремляя взор на некий предмет перед собой и без конца повторяя его имя или же слово "этот". Дело в том, что философские проблемы возникают, когда язык пребывает в

праздности. Вот тут-то и в самом деле можно вообразить, будто именование представляет собой какой-то удивительный душевный акт, как бы крещение объекта. И, мы также можем сказать сово "этот" по отношению к предмету, обращаясь к предмету как к "этому" странное употребление данного слова, встречающееся, пожалуй, лишь в процессе философствования.

39. Но почему приходит на ум сама мысль употреблять в качестве имени как раз то слово, которое именем очевидно не является? Вот

почему. Здесь возникает искушение выдвинуть против того, что обычно называют именем, одно возражение; его можно сформулировать так: имя в собственном смысле (eigentlich) должно обозначать нечто простое. А обосновать это можно было бы примерно так: именем собственным в подлинном смысле, допустим, является слово "Нотунг"_. Меч Нотунг состоит из частей, соотносящихся определенным образом. Стоит изменить их расположение, и Нотунг больше не существует. Но очевидно, что предложение "У

Нотунга острое лезвие" имеет смысл безотносительно к тому, цел ли меч или уже сломан. Будь же Нотунг именем некоторого предмета, в случае его расчленения на части этого предмета уже бы не существовало; в качестве же имени, которому не соответствует никакой предмет, это слово было бы лишено значения. Но тогда предложение "У Нотунга острое лезвие" включало бы слово, лишённое значения, и отсюда это предложение не имело бы смысла. Однако оно имеет смысл; выходит, что словам, из которых оно

состоит, должно постоянно что-то соответствовать. Следовательно, слово "Нотунг" при анализе смысла должно исчезать, а его место должны занимать слова, именующие нечто простое. Эти слова по праву будут называться именами в собственном смысле слова.

40. Обсудим прежде всего такой момент данного аргумента: слово не имеет значения, если ему ничего не соответствует. Важно отметить, что слово "значение" употребляется в противоречии с нормами языка, если

им обозначают вещь, "соответствующую" данному слову. То есть значение имени смешивают с носителем имени. Когда умирает господин N, то говорят, что умирает носитель данного имени, но не его значение. Ведь говорить так было бы бессмысленно, ибо, утратить имя свое значение, не имело бы смысла говорить "господин N умер".

41. В "15 мы ввели в язык (8) собственные имена. Предположим, что инструмент под именем "N" сломан. Не зная этого, А

показывает В знак "N". Есть ли в таком случае у этого знака значение или же нет? Что должен делать В, когда ему предъявят этот знак? Мы не пришли к решению этого вопроса. Можно было бы спросить: что он будет делать? Ну, скорее всего он растеряется или же покажет А обломки. Тут можно было бы сказать: знак "N" в такой ситуации утратил значение; и этим выражением утверждалось бы, что знак "N" больше не употребляется в нашей языковой игре (если мы не найдем ему нового употребления). "N" мог бы потерять значение и потому, что по каким-то причинам

инструмент стали теперь обозначать иначе и знак "N" не употребляется более в данной языковой игре. Но можно было бы представить себе и некое соглашение, по которому В должен отрицательно покачать головой, если А предъявляет ему знак сломанного инструмента. Тогда можно было бы сказать, что команда "N" принята в языковой игре, даже если этот инструмент больше не существует и что знак "N" имеет значение, даже если его носитель перестал существовать.

42. Ну, а имя, никогда не употреблявшееся для обозначения инструмента, также имело бы значение в этой игре? Предположим, что "X" такой знак и A показывает этот знак B. Что ж, и такие знаки могли бы быть приняты в данной языковой игре, и B полагалось бы отвечать на них, скажем, покачиванием головы. (Можно было бы представить себе это своего рода шуткой между ними.)

43. Для большого класса случаев хотя и не для всех, где

употребляется слово "значение", можно дать следующее его определение: значение слова это его употребление в языке.

А значение имени иногда объясняют, указывая на его носителя.

44. Мы сказали: предложение "У Нотунга острое лезвие" имеет смысл даже тогда, когда Нотунг сломан. И это так, ибо в данной языковой игре имя употребляется и в отсутствие его носителя. Но можно представить себе и

языковую игру с именами (то есть со знаками, которые мы, безусловно, назвали бы именами), где имена будут употребляться лишь при наличии носителя; так что здесь их всегда можно заменить указательным местоимением вкуче с указательным жестом.

45. Указательное "этот" не может остаться без носителя. Можно было бы утверждать: "Коль скоро имеется некий этот, имеет значение и слово "этот", равно, является ли этот простым или сложным". Но это обстоятельство

само по себе не превращает данное слово в имя. Напротив, ведь имя не употребляется вместе с указательным жестом, а только поясняется с его помощью.

46. Ну, а при каких же обстоятельствах имена действительно обозначали бы только нечто простое?

Сократ (в Теэтете) говорит: "Если не ошибаюсь, я слышал от кого-то: праэлементы выражусь так, из которых состоим и мы, и все остальное, не поддаются

никаким объяснениям; ибо все, что существует в себе и для себя, можно только обозначить именами; невозможно какое-нибудьдальнейшее определение: ни того, что это является... ни что это не является... Но что существует в себе и для себя должно... наделяться именем безо всяких дальнейших определений. Следовательно, невозможно говорить о каком-нибудьпраэлементе объясняющим образом, ибо он не располагает ничем, кроме наименования как такового, имя это все, чем он обладает. Но поскольку то, что

получается при сочетании этих праэлементов даже в неотчетливой форме, является сложным, то имена этих элементов в их комбинациях друг с другом становятся языком описания. Ибо сущность речи сочетание имен".

Этими праэлементами были и расселовские "индивидуалии", а также мои "объекты" ("Gegenstnde") (Лог."фил. тр.).

47. Опять же: состоит ли из частей мой зрительный образ этого дерева, этого стула? И

каковы его простые составные части? Многоцветность один из видов сложности; другим видом можно считать, например, ломаный контур из прямых отрезков. Можно назвать составным и отрезок кривой с его восходящей и нисходящей ветвями.

Если я говорю кому-нибудь без дальнейших пояснений-то, что я сейчас вижу перед собой, является составным", то он вправе спросить меня: "Что ты понимаешь под составным? Оно ведь может означать все, что угодно!" Вопрос "Является ли составным то, что ты

видишь?" имеет смысл, если уже установлено, о сложности какого рода то есть о каком особом употреблении этого слова должна идти речь. Если бы было установлено, что зрительный образ дерева следует называть "составным" в тех случаях, когда виден не только его ствол, но и ветви, то вопрос "Прост или сложен зрительный образ этого дерева?" и вопрос "Каковы его простые составные части?" имели бы ясный смысл ясное употребление. Причем второму вопросу, конечно, соответствует не ответ: "Ветви" (это был бы ответ

на грамматический вопрос "Что называют в данном случае "простыми составными частями"?"), а, скажем, какое-то описание отдельных ветвей.

А разве шахматная доска, например, не является составной в очевидном и буквальном смысле? Ты, по-видимому, думаешь о соединении в ней 32 белых и 32 черных квадратов. Но разве мы вместе с тем не могли бы сказать, что она, например, составлена из черного и белого цветов и схемы сетки квадратов? А если на этот счет имеются совершенно разные

точки зрения, то разве же ты
станешь утверждать, что
шахматная доска является просто-
напросто "составной"?

Спрашивать вне конкретной игры
"Является ли данный объект
составным?" это уподобиться
мальчику, получившему задание
определить, в активной или
пассивной форме употребляются
глаголы в данных ему примерах, и
ломавшему голову над тем,
означает ли, например, глагол
"спать" нечто активное или
пассивное.

Слово "составной" (а значит, и слово "простой") используется нами весьма многообразными, в разной степени родственными друг другу способами. (Является ли цвет шахматного поля на доске простым или состоит из чисто белого и чисто желтого? А является ли простым этот белый цвет или же он состоит из цветов радуги? Является ли простым отрезок в 2 см или же он состоит из двух частей по 1 см? И почему бы не считать его составленным из двух отрезков: длиной в 3 см, и в 1 см, отмеренного в направлении, противоположном первому?)

На философский вопрос: "Является ли зрительный образ этого дерева сложным и каковы его составные части?" правильным ответом будет: "Это зависит от того, что ты понимаешь под "сложным"". (А это, конечно, не ответ, а отклонение вопроса.)

48. Применим метод "2 к отрывку из Теэтета. Рассмотрим языковую игру, для которой действительно имеет силу изложенное в этом отрывке. Язык предназначен здесь для того,

чтобы изображать комбинации цветных квадратов на какой-то поверхности. Квадраты образуют некоторый комплекс, напоминающий шахматную доску. Имеются красные, зеленые, белые и черные квадраты. Словами языка служат (соответственно): "К", "З", "Б" и "Ч", а предложением ряд этих слов. Они описывают набор квадратов в следующем порядке:

Так, например, предложение "ККЧЗЗЗКББ" описывает вот такой набор квадратов:

Здесь предложение комплекс имен, которому соответствует комплекс элементов. Праэлементами выступают цветные квадраты. "Но просты ли они?" Я бы не знал, что естественнее всего назвать "простым" в этой языковой игре. При других же обстоятельствах я назвал бы одноцветный квадрат "составленным", скажем, из двух прямоугольников или же из элементов цвета и формы. Но понятие составленности можно было бы расширить и так, что меньшую площадь называли бы "составленной" из большей

площади и меньшей, вычитаемой из нее. Сравни "сложение" сил и "деление" отрезка с помощью точки, расположенной вне его; эти выражения показывают, что при некоторых обстоятельствах мы даже склонны понимать меньшее как результат соединения большего, а большее как результат деления меньшего.

Но я не знаю, следует ли в данном случае говорить, что фигура, описываемая нашим предложением, состоит из четырех элементов или же из девяти. Ну, а данное предложение состоит из

четырех или девяти букв? И каковы его элементы: типы букв или же буквы? Да и не все ли равно, что мы говорим лишь бы при этом не возникало недоразумений в каждом конкретном случае!

49. Что же означает тот факт, что мы не в состоянии определить (то есть описать) эти элементы, а можем только именовать их? Это могло бы означать, например, что описание комплекса, в предельном случае состоящего лишь из одного квадрата, представляет собой просто наименование этого цветного квадрата.

Притом можно было бы сказать хотя это легко порождает всевозможные философские суеверия, что знак "К" или же знак "Ч" и т.д. в одних случаях может быть словом, в других предложением. А "является ли знак словом или предложением", зависит от ситуации, в которой он высказывается или пишется. Например, если некто А должен описать В комплексы цветных квадратов и пользуется при этом одним лишь словом "К", то можно утверждать, что это слово является описанием предложением. Если

же он запоминает слова или их значения или же обучает кого-то другому употреблению этих слов, произнося их в ходе указательного обучения, то мы не скажем, что они при этом являются предложениями. В этой ситуации слово "К", например, не описание; с его помощью именуют элемент но было бы странно на этом основании утверждать, что элемент может быть только назван! Ведь именование и описание находятся не на одном уровне: именование подготовка к описанию. Именование это еще не ход в языковой игре, как и

расстановка фигур на шахматной доске еще не ход в шахматной партии. Можно сказать: именовани^{ем} вещи еще ничего не сделано. Вне игры она не имеет и имени. Это подразумевал и Фреге, говоря: слово имеет значение только в составе предложения.

50. Что же означает утверждение: элементам нельзя приписать ни бытия, ни небытия? Можно было бы сказать: если все, что мы называем "бытием" и "небытием", держится на существовании и несуществовании связей между элементами, то нет

смысла говорить о бытии (небытии) элемента; равным образом если все, что мы называем "разрушением", заключается в разделении элементов, то не имеет смысла говорить о разрушении элемента.

Но хочется сказать: элементу невозможно приписать бытие, ибо, не существуй он, его нельзя было бы даже именовать, а значит, и сказать о нем что бы то ни было. Рассмотрим же аналогичный случай! Об одном предмете, а именно об эталоне метра в Париже, нельзя сказать ни того,

что его длина 1 метр, ни того, что его длина не 1 метр. Но этим мы, разумеется, не приписали ему какого-то диковинного свойства, а только признали его специфическую роль в игре измерения в метрах. Представим себе, что в Париже подобно эталону метра хранится и эталон цвета. В таком случае мы определяем: "сепией" называется цвет хранящегося там в вакууме сепии"образца. В этом случае не имело бы смысла говорить ни что такой образец имеет данный цвет, ни что он его не имеет.

Это можно выразить так: данный образец инструмент языка, с помощью которого мы формулируем высказывания о цвете. В этой игре он является не изображаемым предметом, а средством изображения. И так же обстоит дело с элементом в языковой игре (48), когда мы, именуя его, произносим слово "К": этим мы даем данной вещи некоторую роль в нашей языковой игре; она здесь выступает как средство изображения. Говорить же "Не будь ее, она не могла бы иметь и имени" равносильно утверждению: не существуй эта

вещь, мы не могли бы использовать ее в нашей языковой игре. То, что кажется необходимо существующим, принадлежит языку. В нашей игре это парадигма; нечто, с помощью чего осуществляют сравнение. И установление этого можно считать важной констатацией; но констатацией, относящейся к нашей языковой игре нашим способом представления (Darstellungsweise).

51. При описании языковой игры (48) я говорил, что слова "К", "Ч" и т.д. соответствуют цветам

квадратов. Но в чем состоит это соответствие, в каком смысле можно говорить, что этим знакам соответствуют определенные цвета квадратов? Ведь определение в (48) устанавливает только связь между этими "знаками" и соответствующими словами нашего языка (названиями цветов). И все же предполагалось, что употребление знаков в игре усваивалось бы иначе, именно указанием на образцы. Пожалуй; но что же тогда означает утверждение: определенные элементы соответствуют этим знакам в практике языка? В том ли

состоит смысл этого утверждения, что при описании комплекса цветных квадратов человек при виде красного квадрата всегда говорит "К", при виде черного "Ч" и т.д.? Ну, а что, если он споткнется при описании и ошибочно скажет "К" при виде черного квадрата каков в данном случае критерий того, что это ошибка? Или же обозначение знаком "К" красного квадрата состоит в том, что люди, пользующиеся этим языком, употребляя знак "К", всегда мысленно представляют себе красный квадрат?

Чтобы яснее разобраться в этом, мы должны здесь, как и в бесчисленном множестве подобных случаев, приглядеться к деталям процесса, вблизи рассмотреть происходящее.

52. Если я готов допустить, что мыши зарождаются из грязных тряпок и пыли, то было бы нехудо поточнее исследовать, не могли ли они когда-то спрятаться в них, как-то туда попасть и т.д. Если же я уверен, что от этих вещей мыши не могут появиться на свет, то такое

исследование, пожалуй, будет излишним.

Но прежде мы должны научиться понимать, что противостоит в философии такому детальному исследованию.

53. В нашей языковой игре (48) имеются разные возможности, различные случаи, когда мы сказали бы, что некоторый знак именует в данной игре квадрат вот такого цвета. Мы, например, сказали бы это, если бы знали, что люди, пользующиеся данным

языком, были обучены применять такой знак вот так. Или если бы было установлено письменно, скажем в форме некой таблицы, что данному знаку соответствует такой-то элемент, причем данной таблицей пользовались бы при обучении этому языку и прибегали бы к ней в спорных случаях.

Но можно также представить себе, что такая таблица выступает как инструмент в процессе применения данного языка. Описание комплекса тогда происходило бы так: человек, описывающий комплекс, имеет с

собой таблицу и отыскивает в ней каждый элемент комплекса, а затем соотносит его с соответствующим ему знаком (и тот, кому дается описание, тоже может пользоваться таблицей, переводя слова этого описания в образцы цветных квадратов). Можно было бы сказать, что здесь таблица принимает на себя ту роль, которую в других случаях играют память и ассоциации. (Выполняя приказ "Принеси мне красный цветок!", мы обычно не ищем сначала красный цвет в таблице, чтобы затем принести цветок того цвета, что найден в

таблице. Когда же речь идет о том, чтобы выбрать определенный оттенок красного или же добиться нужного оттенка, смешав краски, тогда нам случается пользоваться образцом или таблицей.)

Если назвать такую таблицу выражением правила языковой игры, то можно сказать: то, что мы называем правилом игры, может играть в ней весьма разные роли.

54. Вспомним же, в каких случаях утверждают, что игра

проводится по какому-то определенному правилу!

Правило может быть инструкцией при обучении игре. Его сообщают учащемуся и обучают его применению правила. Или же правило выступает как инструмент самой игры. Или же его не применяют ни при обучении игре, ни в самой игре; не входит оно и в перечень правил игры. Игре обучаются, глядя на игру других. Но мы говорим, что в игре соблюдаются те или иные правила, так как наблюдатель может "вычитать" эти правила из

практики самой игры как некий закон природы, которому подчиняются действия играющих. Но как в этом случае наблюдатель отличает ошибку играющего от правильного игрового действия? Признаки этого имеются в поведении игрока. Подумай о таком характерном поведении, как исправление допущенной оговорки. Распознать, что некто делает это, можно даже не понимая его языка.

55. -то, что обозначают имена в языке, должно быть неразрушимым: ведь должно быть

ВОЗМОЖНО ОПИСЫВАТЬ СОСТОЯНИЯ, В КОТОРЫХ все разрушаемое разрушено. И это описание будет тоже включать в себя слова; а то, что им соответствует, не может быть разрушаемым; ибо иначе эти слова потеряли бы значение". Не следует рубить сук, на котором сидишь.

На это, конечно, можно сразу же возразить, что должно быть исключено само это описание и разрушение. А то, что соответствует словам такого описания и, выходит, должно быть неразруσιμο, если это описание

истинно, является именно тем, что придает словам их значение, тем, без чего они не имели бы значения. Но ведь этот человек в некотором смысле и является как раз тем, что соответствует его имени. Однако он разрушим, а его имя не теряет своего значения, даже если носитель его разрушен. Тем, что соответствует определенному имени, без чего оно не имело бы значения, является, например, парадигма, употребляемая в языковой игре в связи с данным именем.

56. А что, если такой образец не принадлежит языку, если, например, цвет, обозначаемый словом, мы держим в памяти? "А если мы храним его в памяти, то, стало быть, он предстает нашему мысленному взору всякий раз при произнесении данного слова. Выходит, этот цвет должен быть сам по себе неразрушимым, если существует возможность всякий раз вспоминать его". Но в чем же тогда усматривается критерий того, что мы вспомним цвет правильно? Работая с образцом, а не с памятью, мы говорим при определенных обстоятельствах,

что его цвет изменился, и судим об этом по памяти. А разве нельзя при некоторых обстоятельствах говорить и о помутнении образов нашей памяти? Разве мы полагаемся на свою память не в той же мере, что и на образец? (Ведь кто-то мог бы сказать: "Не будь у нас памяти, мы бы полагались на образец".) Или, например, возьмем какую-нибудь химическую реакцию. Представь, что ты должен передать определенный цвет C и что это цвет, наблюдаемый при смешении химических веществ X и Y . Предположим, что однажды эта

краска показалась тебе более светлой, чем прежде. Неужели ты при этом не сказал бы: "Должно быть, я ошибся. Это наверняка такой же цвет, что и вчера?" Это показывает, что мы не всегда прибегаем к свидетельству памяти как к высшей и окончательной инстанции.

57. "Нечто красное может быть разрушено, но красное как таковое разрушено быть не может, и потому значение слова "красное" независимо от существования того или иного красного предмета". Конечно, не имеет смысла

говорить, что разорван или
истолчен в порошок красный цвет
(цвет, а не красящее вещество). Но
разве мы не говорим "Красное
исчезло"? И не цепляйся за то, что
мы способны вызвать его в нашем
воображении, даже если ничего
красного не осталось. Это все
равно что ты захотел бы сказать:
все еще существует химическая
реакция, порождающая красное
пламя. А как быть, если ты не
можешь больше вспомнить цвет?
Если мы забываем, какой цвет
обозначен данным именем, оно
утрачивает для нас значение, то
есть мы уже не можем играть с

ним в определенную языковую игру. И тогда данная ситуация сопоставима с той, в которой утрачена парадигма, входившая в качестве инструмента в наш язык.

58. "Я буду называть именем только то, что не может входить в словосочетание "X существует". Выходит, нельзя говорить "Красное существует", ибо, не существуй оно, о нем вообще нельзя было бы говорить". Вернее: если предполагается, что высказывание "X существует" означает всего лишь: "X" имеет значение, то оно не предложение, говорящее об X, а

предложение о нашем употреблении языка, то есть об употреблении слова "X".

Нам кажется, что, заявляя: слова "Красное существует" не имеют смысла, мы тем самым что-то утверждаем о природе красного. А именно что красное существует "в себе и для себя". Аналогичная идея что это высказывание представляет собой некое метафизическое утверждение о красном находит свое выражение и в том, что мы, например, говорим о красном как о вневременном, а

возможно, и еще сильнее как о "неразрушимом".

Но по сути, мы просто хотим понять слова "красное существует" как высказывание: слово "красное" имеет значение. Или, может быть, вернее: высказывание "Красное не существует" как утверждение: "красное" не имеет значения. Только мы хотим сказать не о том, что данное высказывание это говорит, а что, если оно имеет смысл, оно должно утверждать это. Что, пытаясь это сказать, оно приходит в противоречие с самим собой именно потому, что красное

существует "в себе и для себя". Между тем единственное противоречие состоит здесь лишь в том, что данное предложение выглядит так, будто оно говорит о цвете, в то время как оно призвано сообщить нечто об употреблении слова "красный". В действительности же мы не колеблясь говорим о существовании определенного цвета, а это равнозначно утверждению, что существует нечто, имеющее этот цвет. Причем первое высказывание не менее точно, чем второе; в особенности

там, где -то, что имеет цвет" не является физическим объектом.

59. "Имена обозначают лишь то, что является элементом действительности. То, что неразрушаемо, что сохраняется при всех изменениях". Но что это такое? Да ведь оно витает перед нами при произнесении предложения! Мы выражаем словами какое-то вполне сложившееся представление, особую картину, которой хотим воспользоваться. Ведь опыт же не показывает нам этих элементов. Мы видим составные части чего-то

сложного (например, стула). Мы говорим: спинка является частью стула, но и она в свою очередь составлена из различных кусков дерева; тогда как ножка стула его более простая составная часть. Мы также видим целое, которое изменяется (разрушается), в то время как его составные части остаются неизменными. Все это материалы, из которых мы конструируем такую картину реальности.

60. Когда я говорю: "Моя швабра стоит в углу", то о чем, собственно, это высказывание о палке и щетке?

Во всяком случае, его можно было бы заменить другим высказыванием о положении палки и положении щетки. А ведь это высказывание более детально проанализированная форма первого. Но почему я называю его "более детально проанализированным"? Ну, если швабра находится там, то ведь это значит, что там же должны быть и составляющие ее палка и щетка, причем в определенном положении друг к другу. И смысл первого предложения предполагал это как бы в скрытом виде. В проанализированном же

предложении это выражено явно. Так что же, тот, кто говорит, что швабра стоит в углу, по сути, имеет в виду следующее: там находятся палка и щетка и палка воткнута в щетку? Спроси мы кого-нибудь, действительно ли он так думал, он, по всей вероятности, ответил бы, что совсем не думал о палке и о щетке порознь. И это был бы верный ответ, ибо он не собирался говорить ни о палке, ни о щетке в отдельности. Представь, что вместо "Принеси мне швабру!" ты говоришь кому-то "Принеси мне палку и щетку, в которую она воткнута!". Не прозвучит ли в

ответ на это: "Ты просишь швабру? Почему же ты так странно выражаешься?" Будет ли точнее понято детально проанализированное предложение? Можно сказать, что это предложение достигает того же, что и обычное, но более обстоятельным образом. Представь себе языковую игру, в которой кому-то даются указания принести, подвинуть и т.д. предметы, состоящие из нескольких частей. И два способа игры: в одной (а) вещи, составленные из частей (швабра, стул, стол и т.д.) имеют имена, как

в (15). Во второй (б) имена даны только частям, целое же описывается с их помощью. В какой мере тогда указание во второй игре является проанализированной формой указания в первой? Заключен ли второй приказ в первом и выявляется ли он с помощью анализа? Конечно, швабра будет сломана, если отделять палку от щетки; но следует ли из этого, что приказ принести швабру тоже состоит из соответствующих частей?

61. "Но ты же не будешь отрицать, что какое-то определенное указание в случае (а) говорит о том же самом, что и в случае (б); а как же ты назовешь тогда второе указание, как не проанализированной формой первого?" Конечно, и я бы сказал, что команда в (а) имеет такой же смысл, что и команда в (б); или, как я ранее выразил это: они приводят к одному и тому же. А это значит, что, если мне покажут приказ вида (а) и спросят "Какому приказу вида (б) он равнозначен?" или же "Какому приказу вида (б) он противоречит?", я отвечу на

этот вопрос так-то. Однако этим еще не утверждается, что мы пришли к общему согласию относительно употребления выражения "иметь тот же смысл" или "приводить к тому же самому". Можно, скажем, спросить, в каких случаях мы говорим: "Это просто два разных вида одной и той же игры"?

Часть 3.

62. Предположим, например, что тот, кому даются команды в форме (а) и (б), прежде чем он

принесет требуемое, должен взглянуть на таблицу, соотносящую имена с изображениями. Делает ли он одно и то же, выполняя команду в случае (а) и соответствующую ей команду в случае (б)? И да, и нет. Ты можешь сказать: "Суть обоих указаний одна и та же". Я бы сказал тут то же самое. Но не всегда ясно, что следует называть "сутью" указания. (Так же как об определенных предметах можно сказать, что они имеют такое и такое назначение. Важно, чтобы то, что является лампой, служило освещению, а то, что она украшает

комнату, заполняет пустое пространство и т.д., несущественно. Но не всегда четко различимо существенное и несущественное.)

63. Однако, называя предложение типа (б) "проанализированной" формой предложения типа (а), мы легко поддаемся искушению считать, будто первое более фундаментально; будто оно показывает, что подразумевает другое, и т.д. Мы рассуждаем примерно так: располагая лишь непроанализированной формой,

испытываешь нехватку анализа. Зная же аналитическую форму, тем самым обладаешь всем. Но разве нельзя сказать, что и в этом, и в том случае теряется из виду та или иная сторона дела?

64. Представим себе игру (48), видоизмененную таким образом, что имена в ней обозначают не одноцветные квадраты, а прямоугольники, каждый из которых состоит из двух таких квадратов. Пусть прямоугольник, состоящий из красного и зеленого квадратов называется "у", полужелтый"полубелый

прямоугольник "ф" и т.д. Разве нельзя было бы представить себе людей, имеющих имена для таких комбинаций цветов и не имеющих их для отдельных цветов? Подумай о случаях, когда мы говорим "Это сочетание цветов (например, французское трехцветие) имеет совсем особый характер".

Насколько знаки этой языковой игры нуждаются в анализе? Да и в какой мере возможно заменить данную языковую игру игрой (48)? Ведь это же другая языковая игра, даже если и родственная игре (48).

65. Здесь мы наталкиваемся на большой вопрос, стоящий за всеми этими рассуждениями. Ведь мне могут возразить: "Ты ищешь легких путей! Ты говоришь о всех возможных языковых играх, но нигде не сказал, что существенно для языковой игры, а стало быть, и для языка. Что является общим для всех этих видов деятельности и что делает их языком или частью языка? Ты уваливаешь именно от той части исследования, которая у тебя самого в свое время вызвала сильнейшую головную боль, то есть от исследования общей формы предложения и языка".

И это правда. Вместо того чтобы выявлять то общее, что свойственно всему, называемому языком, я говорю: во всех этих явлениях нет какой-то одной общей черты, из-за которой мы применяли к ним всем одинаковое слово. Но они родственны друг другу многообразными способами. Именно в силу этого родства или же этих родственных связей мы и называем все их "языками". Я попытаюсь это объяснить.

66. Рассмотрим, например, процессы, которые мы называем

"играми". Я имею в виду игры на доске, игры в карты, с мячом, борьбу и т.д. Что общего у них всех? Не говори "В них должно быть что-то общее, иначе их не называли бы "играми", но присмотрись, нет ли чего-нибудь общего для них всех. Ведь, глядя на них, ты не видишь чего-то общего, присущего им всем, но замечаешь подобия, родство, и притом целый ряд таких общих черт. Как уже говорилось: не думай, а смотри! Присмотрись, например, к играм на доске с многообразным их родством. Затем перейди к играм в карты: ты

находишь здесь много соответствий с первой группой игр. Но многие общие черты исчезают, а другие появляются. Если теперь мы перейдем к играм в мяч, то много общего сохранится, но многое и исчезнет. Все ли они "развлекательны"? Сравни шахматы с игрой в крестики и нолики. Во всех ли играх есть выигрыш и проигрыш, всегда ли присутствует элемент соревновательности между игроками? Подумай о пасьянсах. В играх с мячом есть победа и поражение. Но в игре ребенка, бросающего мяч в стену и

ловящего его, этот признак отсутствует. Посмотри, какую роль играет искусство и везение. И как различны искусность в шахматах и в теннисе. А подумай о хороводах! Здесь, конечно, есть элемент развлекательности, но как много других характерных черт исчезает. И так мы могли бы перебрать многие, многие виды игр, наблюдая, как появляется и исчезает сходство между ними.

А результат этого рассмотрения таков: мы видим сложную сеть подобий, накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с

другом, сходств в большом и малом.

67. Я не могу охарактеризовать эти подобия лучше, чем назвав их "семейными сходствами", ибо так же накладываются и переплетаются сходства, существующие у членов одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент и т.д. и т.п. И я скажу, что "игры" образуют семью.

И так же образуют семью, например, виды чисел. Почему мы

называем нечто "числом"? Ну, видимо, потому, что оно обладает неким прямым родством со многим, что до этого уже называлось числом; и этим оно, можно сказать, обретает косвенное родство с чем-то другим, что мы тоже называем так. И мы расширяем наше понятие числа подобно тому, как при прядении нити сплетаем волокно с волокном. И прочность нити создается не тем, что какое-нибудь одно волокно проходит через нее по всей ее длине, а тем, что в ней переплетается друг с другом много волокон.

Если же кто-то захотел бы сказать: "Во всех этих конструкциях общее одно а именно дизъюнкция всех этих совокупностей", я ответил бы: ты тут просто обыгрываешь слово. Вполне можно было бы также сказать: нечто проходит через всю нить а именно непрерывное наложение ее волокон друг на друга.

68. "Прекрасно! Выходит, число определяется для тебя как логическая сумма таких отдельных, родственных друг другу

понятий: кардинальное число, рациональное число, действительное число и т.д.; и таким же образом понятие игры понимается как логическая сумма соответствующих более частных понятий". Это необязательно. Ведь я могу придать понятию числа строгие границы, то есть использовать слово "число" для обозначения строго ограниченного понятия. Однако я могу пользоваться им и таким образом, что объем понятия не будет заключен в какие-то границы. Именно так мы и употребляем слово "игра". Ибо как ограничить

понятие игры? Что еще остается игрой, а что перестает ею быть? Можно ли здесь указать четкие границы? Нет. Ты можешь провести какую-то границу, поскольку она еще не проведена. (Но это никогда не мешало тебе пользоваться словом "игра".)

"Но тогда использование данного слова не регулируется; "игра", в которую мы с ним играем, не имеет правил". Да, употребление этого слова не всецело определяется правилами, но ведь нет, например, и правил, на какую высоту и с какой силой

можно бросить теннисный мяч, а теннис это все-таки игра, и игра по правилам.

69. Как же тогда объяснить кому-нибудь, что такое игра? Я полагаю, что следует описать ему игры, добавив к этому: "Вот это и подобное ему называют "играми". А знаем ли мы сами больше этого? Разве мы только другим людям не можем точно сказать, что такое игра? Но это не неведение. Мы не знаем границ понятия игры, потому что они не установлены. Как уже говорилось, мы могли бы для каких-то специальных целей

провести некую границу. Значило бы это, что только теперь можно пользоваться данным понятием? Совсем нет! Разве что для данной особой цели. В такой же степени, в какой дефиниция "1 шаг = 75 см", вводила бы в употребление меру длины "1 шаг". Если же ты попытаешься мне возразить: "Но ведь раньше это не было точной мерой длины", я отвечу: ну и что, значит, она была неточной. Хотя ты еще задолжал мне определение точности.

70. "Но если понятие "игры" столь расплывчато, то ведь ты,

собственно, и не знаешь, что понимаешь под "игрой". Допустим, я даю следующее описание: "Земля была сплошь покрыта растениями". Хочешь ли ты сказать, что я не знаю, о чем говорю, до тех пор пока не сумею дать определения растению?

Что я имею в виду, могли бы пояснить, например, рисунок и слова: "Так приблизительно выглядела Земля". Я, может быть, даже говорю: "Она выглядела точно так". Что же, выходит, там были именно эта трава и эти листья, притом точно в таком

положении? Нет, не значит. В этом смысле я не признал бы точной ни одну картину_.

71. Можно сказать, что понятие "игры" понятие с расплывчатыми границами. "Но является ли расплывчатое понятие понятием вообще?" Является ли нечеткая фотография вообще изображением человека? Всегда ли целесообразно заменять нечеткое изображение четким? Разве неотчетливое не является часто как раз тем, что нам нужно?

Фреге сравнивает понятие с некоторой очерченной областью и говорит, что при неясных очертаниях ее вообще нельзя назвать областью. Это означает, пожалуй, что от нее мало толку. Но разве бессмысленно сказать: "Стань приблизительно там!"? Представь, что я говорю это кому-то, стоящему вместе со мной на городской площади. При этом я не очерчиваю какие-то границы, а всего лишь делаю указательное движение рукой, показывая ему на определенное место. Вот так же можно объяснить кому-нибудь что такое игра. Ему предлагают

примеры и стараются, чтобы они были поняты в определенном смысле. Однако под сказанным я вовсе не имею в виду: в этих примерах ему следует увидеть то общее, что я по каким-то причинам не смог выразить словами. Подразумевалось другое: он должен теперь применять эти примеры соответствующим образом. Приведение примеров здесь не косвенное средство пояснения, к которому мы прибегаем за неимением лучшего. Ведь любое общее определение тоже может быть неверно понято. Именно так мы играем в эту игру.

(Я имею в виду языковую игру со словом "игра".)

72. Видение общего. Представь, что я показываю кому-нибудь разноцветные картинки и говорю: "Цвет, который ты видишь на всех этих картинках, называется "охра"". Это определение, и другой человек поймет его, отыскав и увидев то общее, что есть в этих картинках. Тогда он может взглянуть на это общее, указать на него.

Сравни этот пример с таким: Я показываю ему фигуры разной формы, но окрашенные одним цветом и говорю: -то общее, что в них имеется, называется "охра"".

А сравни с этим другой случай: я показываю ему образцы разных оттенков синего и говорю: "Цвет, общий им всем, я называю "синим"".

73. Когда кто-то объясняет мне наименование цветов, показывая образцы и говоря "Этот цвет называется "синим", этот

"зеленым"...", то такой способ объяснения во многих отношениях можно сравнить с тем, когда у меня в руках таблица, где под образцами цвета стоят соответствующие слова. Хотя и данное сравнение во многих отношениях может вводить в заблуждение. Ну, а кто-то склонен расширить сравнение: понятие определение значит иметь в сознании понятие определяемой вещи, то есть образец или картину. Так, если мне показывают различные листья и говорят "Это называется "листом"", то у меня в сознании возникает представление

о форме листа, его картина. Но как выглядит образ листа, не имеющего особой формы, образ - того, что общо листьям любой формы"? Какой цветовой оттенок имеет "мыслимый образец" зеленого цвета образец того, что присуще всем оттенкам зеленого?

"Но разве не могли бы существовать такие "всеобщие" образцы? Скажем, какая-нибудь схема листа, или образец чисто зеленого цвета?" Конечно, могли бы! Но от способа применения этих образцов зависит, будет ли эта схема понята

как схема, а не как форма
определенного листа, а полоска
чисто зеленого цвета как образец
всего зеленого, а не как образец
этого чисто зеленого цвета.

Задай себе вопрос, какую форму
должен иметь образец зеленого
цвета? Должен ли он быть
четыреугольным? Или он стал бы
тогда образцом зеленого
четыреугольника? Так что же, его
форма должна быть
"неправильной"? А что помешает
нам тогда считать его образцом
неправильной формы, то есть
употреблять его таким образом?

74. К этому же относится и такая мысль: тот, кто рассматривает данный лист как образец "формы листа вообще", видит его иначе, чем тот, кто смотрит на него как на образец данной определенной формы. Ну, хоть это и не так, опыт свидетельствует: такое, конечно, возможно ибо это говорило бы лишь о том, что человек, видящий лист определенным образом, и использует его тем или иным способом, в соответствии с тем или иным правилом. Конечно, существуют те или иные способы

видения; существуют и случаи, когда тот, кто видит образец так, как правило, и применяет его таким образом, а тот, кто видит его иначе, и обращается с ним по-иному. Например, тот, кто видит в схематическом изображении куба плоскую фигуру, состоящую из квадрата и двух ромбов, пожалуй, выполнит команду "Принеси мне такой же!" иначе, чем тот, кто воспринимает это изображение объемно.

75. Что же тогда означает: знать, что такое игра? Что значит: знать это и быть не в состоянии это

сказать? Не эквивалентно ли такое знание несформулированному определению, в котором, передай я его словами, я признаю выражение моего знания? Разве мое знание, мое понятие об игре не выражается полностью в тех объяснениях, которые я мог бы привести? То есть в том, как я описываю примеры разного рода игр, показываю, как по аналогии с ними могут быть сконструированы всевозможные типы других игр, говорю, что то или это вряд ли может называться игрою, и т.д.

76. Проведи здесь кто-нибудь четкие границы, я мог бы и не признать их границами, которые мне всегда хотелось провести или которые я уже мысленно провел. Ибо я вообще не хотел проводить границ. В таком случае можно было бы сказать: его понятие не тождественно, но родственно моему. Таково родство двух изображений, одно из которых состоит из расплывчатых цветовых пятен, а другое из пятен подобной же формы, в таком же соотношении, но с четкими контурами. Сходство здесь столь же бесспорно, как различие.

И если мы продолжим это сравнение еще дальше, станет ясно, что степень возможного сходства отчетливого и размытого изображений зависит от степени неопределенности последнего. Ибо представь, что тебе нужно расплывчатое изображение передать через "соответствующее" ему отчетливое. В первом случае просматривается размытый красный прямоугольник; ты заменяешь его четким изображением. Безусловно, можно начертить несколько таких прямоугольников с четкими

контурами, которые соответствовали бы одному нечеткому. Но если в оригинале нет резких границ при переходе одного цвета в другой, то разве не становится невыполнимой задача передать расплывчатое изображение четким? Не должен ли ты в таком случае сказать: "Я мог бы здесь с тем же успехом, что и прямоугольник, изобразить круг или сердце; ведь все краски сливаются друг с другом. Изображение соответствует всему и ничему". Именно в этом положении находится тот, кто в эстетике или этике ищет

определений, соответствующих нашим понятиям.

Всякий раз, столкнувшись с такой трудностью, задай себе вопрос: как мы усвоили значение этого слова (например, "хорошо")? На каких примерах, в каких языковых играх? И тогда тебе станет легче понять, что данное слово должно иметь целое семейство значений.

78. Сравни знание и речевое выражение:

какова высота Монблана

как применяется слово "игра"

как звучит кларнет.

Удивляясь, что можно знать нечто и быть не в состоянии это выразить, вероятно, думают о первом случае. И уж, конечно, не о таком случае, как третий.

79. Рассмотрим следующий пример: Если говорят "Моисей не

существовал", это может означать разное: у израильтян при исходе из Египта не было одного вождя или их вождя звали не Моисей или вообще не было человека, совершившего все, что Библия приписывает Моисею, и т.д. и т.п. Вслед за Расселом мы могли бы сказать: имя "Моисей" можно определить с помощью разных описаний. Например, таких: "человек, проведший израильтян через пустыню"; "человек, живший в такое-то время и в таком-то месте и называвшийся тогда Моисеем", "человек, который в младенческом возрасте был

вытащен из Нила дочерью фараона" и т.д. И в зависимости от того, примем ли мы одно или другое определение, предложение "Моисей не существовал" приобретает разный смысл, как и любое иное предложение о Моисее. И если нам говорят "N не существовал", то ведь мы спрашиваем: "Что ты имеешь в виду? Не хочешь ли ты сказать, что... или что...?" и т.д.

Ну, а всегда ли я готов, высказывая нечто о Моисее, заменить имя "Моисей" одним из этих описаний? Пожалуй, я скажу:

под "Моисеем" я подразумеваю человека, содежавшего то, что Библия приписывает Моисею, или же многое из того. Но сколь многое? Решил ли я, сколь многое должно оказаться ложным, чтобы я признал мое предложение ложным? Иными словами, имеет ли для меня имя "Моисей" твердо установленное и однозначное употребление во всех возможных случаях? Не обстоит ли дело так, что у меня в распоряжении как бы целый набор подпорок, так что, лишившись одной из них, я готов опереться на другую, и наоборот? Рассмотрим еще и другой случай.

Когда я говорю "N умер", то в качестве значения имени N может быть принято следующее: я верю, что жил некий человек, которого я (1) лицезрел там-то, который (2) выглядел вот так (изображения), (3) совершил то-то и (4) в гражданской жизни носил имя N. Если бы меня спросили, что я понимаю под N, я полностью или частично перечислил бы вышесказанное, притом в разных случаях разное. Отсюда мое определение имени N могло бы звучать приблизительно так: "Человек, к которому все это относится". Ну, а как быть, если

что-то из сказанного окажется ложным? Буду ли я готов объявить предложение "N умер" ложным даже если ложными окажутся лишь кое"какие, с моей точки зрения второстепенные, детали? Где же границы второстепенного? Уже располагай я в таком случае дефиницией имени, я был бы теперь готов изменить ее.

Это можно выразить и так: я пользуюсь именем "N" без фиксированного значения. (Но его применению это наносит столь же малый ущерб, как столу то, что он

стоит на четырех, а не трех ножках и потому иногда пошатывается.)

Стоит ли говорить, что, пользуясь словом, не зная его значения, я, стало быть, говорю бессмыслицу? Говори что хочешь, до тех пор пока это не мешает тебе видеть происходящее. (А если ты это видишь, то кое"чего уже не скажешь.)

(Неустойчивость научных
дефиниций: то, что сегодня
считается эмпирически
сопутствующим признаком

феномена А, завтра может быть использовано как определение "А".)

80. Я говорю: "Там стоит стул". А что, если я подхожу к нему, собираясь его взять, а он вдруг исчезает из виду? "Значит, это был не стул, а некая иллюзия". Но через две секунды мы снова видим его и можем потрогать его рукой и т.д. -тогда все-таки это был стул, а обманчивым было его исчезновение". Но допустим, что спустя какое-то время он исчезает снова или же кажется исчезнувшим. Что тут скажешь?

Есть ли у тебя готовые правила для подобных случаев, правила, говорящие, можно ли все еще называть нечто "стулом"? Или же мы обходимся при употреблении слова "стул" без них; и должны говорить, что, по сути, не связываем с этим словом никакого значения, так как не располагаем правилами всех его возможных применений?

81. Ф.П.Рамсей в разговоре со мной однажды подчеркнул, что логика "нормативная наука". Не знаю точно, что он под этим подразумевал, но это, бесспорно,

было тесно связано с тем, что позднее осенило меня; что именно в философии мы часто сравниваем употребление слов с играми, вычислениями по строгим правилам, но не можем утверждать, что употребляющий данный язык должен играть в такую игру. Если же говорить, что наше речевое выражение только приближается к подобным исчислениям, то это граничит с непониманием. Ведь при этом может показаться, будто в логике идет речь о некоем идеальном языке. Будто наша логика является логикой как бы безвоздушного

пространства. Между тем логика рассматривает язык или мышление не в том плане, в каком естествознание изучает некое явление природы, и в крайнем случае можно сказать, что мы конструируем идеальные языки. Но при этом слово "идеальное" вводило бы в заблуждение, создавая впечатление, будто эти языки лучше, совершеннее, чем наш повседневный язык; будто задача логики показать наконец людям, как выглядит правильное предложение.

Но все это может предстать в верном свете лишь тогда, когда удастся добиться большей ясности в отношении понятий понимания, осмысления и мышления. Ибо тогда прояснится также, что может подталкивать (и прежде подталкивало меня) к мысли, что, произнося предложение и осмысливая или понимая его, человек тем самым якобы проводит исчисление по определенным правилам.

82. Что я называю "правилom, по которому он действует"? Гипотезу,

удовлетворительно описывающую наблюдаемое нами его употребление слов; или правило, которым он руководствуется при употреблении знаков; или же то, что он говорит нам в ответ на наш вопрос о его правиле? Но что, если наблюдение не позволяет четко установить правило и не способствует прояснению вопроса? Ведь, дав мне, например, на мой вопрос, что он понимает под N, ту или иную дефиницию, он тотчас же был готов взять ее обратно и как-то изменить. Ну, а как же определить правило, по которому он играет? Он сам его не

знает. Или вернее: что же в данном случае должна означать фраза "Правило, по которому он действует"?

83. А не проясняет ли здесь что-то аналогия между языком и игрой? Легко представить себе людей, развлекающихся на лужайке игрой в мяч. Начиная разные известные им игры, часть из них они не доводят до конца, бесцельно подбрасывают мяч, гоняются в шутку друг за другом с мячом, бросают его друг другу и т.д. И вот кто-то говорит: все это время они играли в мяч, при

каждом броске следуя
определенным правилам.

А не случается ли, что и мы иногда играем, "устанавливая правила по ходу игры"? И даже меняя их "по ходу игры".

84. Я говорил об употреблении слова: оно не всецело очерчено правилами. Но как выглядит игра, полностью ограниченная правилами, не допускающими ни тени сомнения, игра, которую всякое отклонение заклинивает? Разве нельзя представить себе

правило, регулирующее
применение данного правила? А
также сомнение, снимающие это
правило, и так далее?

Но это не говорит о том, что мы
сомневаемся, потому что
способны представить себе
сомнение. Я вполне могу
представить себе, что кто-то,
отворяя дверь своего дома, всякий
раз опасается, не разверзнется ли
за нею пропасть и не свалится ли
он в нее, переступив порог (и
может статься, что когда-нибудь он
окажется прав). Но из-за этого я

ведь не стану сомневаться в подобных же случаях.

85. Правило выступает здесь как дорожный указатель. Разве последний не оставляет никаких сомнений относительно пути, который я должен избрать? Разве он указывает, когда я прохожу мимо него, в каком направлении мне идти по дороге ли, тропинкой или прямо через поле? А где обозначено, в каком смысле нужно следовать ему: в направлении ли его стрелки или же (например) в противоположном? А если бы вместо одного дорожного

указателя имелась замкнутая цепь
путевых знаков или меловых меток
на земле, разве в этом случае
проигрывалась лишь одна их
интерпретация? Итак, можно
говорить, что дорожный знак все-
таки не оставляет места
сомнению. Или вернее: он иногда
оставляет место сомнению, а
иногда нет. Ну, а это уже не
философское, а эмпирическое
предложение.

86. Такая языковая игра, как (2),
играется с помощью таблицы.
Знаки, которые А дает В, в данном
случае письменные. У В имеется

таблица. В первом ее столбце стоят используемые в игре письменные знаки, во втором изображения видов строительных камней. А показывает В такой письменный знак; В ищет его в таблице, смотрит на соотнесенный с ним рисунок и т.д. Выходит, таблица и служит правилом, подчиняясь которому он выполняет приказ. Поиску рисунка в таблице учатся путем тренировки, причем частично такая тренировка состоит, например, в том, что ученик обучается горизонтально водить пальцем в таблице слева направо;

то есть как бы учиться проводить ряд горизонтальных линий.

Представь"ка себе, что введены различные способы чтения таблицы.

Один их них описан выше и соответствует данной схеме:

а другой осуществляется по такой схеме:

или еще по какой-то иной. Такая схема прилагается к таблице в

еще, кроме этого, он, возможно, ни совершил. Усомниться же можно не только в имени "Моисей", но и в других словах этого пояснения (что называть "Египтом", кого "израильтянами", и т.д.). Да, эти вопросы не иссякнут и при обращении к таким словам, как "красное", "темное", "сладкое". "А тогда как такое объяснение способствует пониманию, если оно не является окончательным? Ведь в таком случае объяснение никогда не завершается; и получается, что я все же не понимаю и никогда не пойму, что имеется в виду!" Объяснение как

бы повисает в воздухе до тех пор, пока его не подкрепит другое. Между тем объяснение, хотя и может основываться на другом, располагай мы таковым, отнюдь не требует этого другого если мы не нуждаемся в нем во избежание непонимания. Можно сказать: объяснение служит устранению или предотвращению непонимания причем того непонимания, которое возникло бы без этого объяснения; не любого непонимания, какое только можно себе представить.

Вполне может показаться, будто каждое сомнение просто обнаруживает некий пробел в основаниях, так что достоверное понимание возможно лишь в том случае, если сперва усомниться во всем, в чем можно усомниться, а затем устранить все эти сомнения.

Дорожный знак в порядке, если он в нормальных условиях выполняет свою задачу.

88. Я говорю кому-то: "Стань приблизительно там!" разве это разъяснение не может успешно

сработать? И разве не может не
сработать и любое другое?

"А не является ли это
разъяснение неточным?" Ну
почему бы и не назвать его
"неточным"! Только разберемся,
что означает слово "неточный".
Ведь оно не означает
"неприменимый". И подумаем над
тем, что, наоборот, называется -
точным" разъяснением! Что-то
вроде очерченной мелом области?
Тут сразу же приходит в голову, что
проведенная мелом линия имеет
толщину. Так что точнее была бы
цветовая граница. Но сработает ли

в данном случае большая точность, не будет ли это работой вхолостую? Да мы еще не определили и что считать выходом за пределы точно заданных границ, не установили, как, с помощью каких инструментов их следует фиксировать. И так далее.

Мы понимаем, что значит поставить точное время на карманных часах или же отрегулировать их, чтобы они шли точно. Ну, а если бы нас спросили: идеальна ли эта точность или насколько она приближается к идеальной? Конечно, можно

говорить об измерении времени с иной, скажем большей, точностью, чем его измерение с помощью карманных часов. Тогда слова "Поставь часы на точное время" имели бы другое, хотя и сходное значение, а выражение "отсчитывать время" было бы связано с другим процессом и т.д. Ну, а если я говорю кому-нибудь: "Тебе следовало бы приходить к обеду более пунктуально, ты знаешь, что он начинается ровно в час", разве при этом, по сути, не идет речь о точности? Ведь можно сказать: "Подумай об определении времени в лаборатории или в

обсерватории: вот там ты увидишь, что означает -точность"".

"Неточный" по сути дела, упрек, а -точный" похвала. То есть предполагается: неточное достигает своей цели с меньшим совершенством, чем более точное. Таким образом, здесь дело сводится к тому, что мы называем "целью". Значит ли, что я неточен, если указываю расстояние от нас до Солнца с допуском до 1 метра или заказываю столяру стол, ширина которого имеет допуск более 0,001 м.

Единый идеал точности не предусмотрен; мы не знаем, что нужно понимать под ним, пока сами не установим, что следует называть таковым. Но найти такое решение, которое бы тебя удовлетворяло, довольно трудная задача.

89. Эти рассуждения вплотную подводят нас к постановке проблемы: в каком смысле логика нечто сублимированное?

Ведь нам кажется, что логике присуща особая глубина

универсальное значение. Представляется, что она лежит в основе всех наук. Ибо логическое исследование выявляет природу всех предметов. Оно призвано проникать в основания вещей, а не заботиться о тех или иных фактических событиях. Логика вырастает не из интереса к тому, что происходит в природе, не из потребности постичь причинные связи, а из стремления понять фундамент или сущность всего, что дано в опыте. А для этого не надо устремляться на поиски новых фактов: напротив, для нашего исследования существенно

то, что мы не стремимся узнать с их помощью что-то новое. Мы хотим понять нечто такое, что уже открыто нашему взору. Ибо нам кажется, что как раз этого мы в каком-то смысле не понимаем.

Августин в Исповеди (XI/14) говорит: "quid est ergo tempus? si nemo ex me quaerat scio; si quarenti explicare velim, nescio" [Что такое время? Если никто меня не спрашивает, знаю; если же хочу пояснить спрашивающему, не знаю".]

Этого нельзя было бы сказать о каком-нибудь вопросе естествознания (например, об удельном весе водорода). Что человек знает, когда никто его об этом не спрашивает, и не знает, когда должен объяснить это кому-то, и есть то, о чем нужно напоминать себе. (А это явно то, о чем почему-то вспоминается с трудом.)

90. Нам представляется, будто мы должны проникнуть в глубь явлений, однако наше исследование направлено не на

явления, а, можно сказать, на "возможности" явлений. То есть мы напоминаем себе о типе высказывания, повествующего о явлениях. Отсюда и Августин припоминает различные высказывания о длительности событий, об их прошлом, настоящем, будущем. (Конечно, это не философские высказывания о времени, о прошлом, настоящем и будущем.)

Поэтому наше исследование является грамматическим. И это исследование проливает свет на нашу проблему, устраняя

недоразумения, связанные с употреблением слов в языке, недопонимание, порождаемое в числе прочего и определенными аналогиями между формами выражения в различных сферах нашего языка. Некоторые из них можно устранить, заменив одну форму выражения другой, такую замену можно назвать "анализом" наших форм выражения, ибо этот процесс иногда напоминает разложение на составные элементы.

91. При этом может создаваться впечатление, будто существует

нечто подобное окончательному анализу наших языковых форм, следовательно, единственная полностью разобранная на элементы (zerlegte) форма выражения. То есть впечатление таково, будто наши общепринятые формы выражения, по сути, еще не проанализированы, будто в них скрывается нечто такое, что нам следует выявить. Кажется, сделай мы это выражение совершенно ясным, наша задача будет решенной.

Это можно сформулировать и так: мы устраняем недоразумения,

делая наше выражение более точным. Но при этом может показаться, будто мы стремимся к особому состоянию, состоянию полной точности; и будто именно в этом состоит подлинная цель нашего исследования.

92. Это находит свое выражение в вопросе о сущности языка, предложения, мышления. Что касается наших исследований, в которых мы тоже пытаемся понять сущность языка его функцию, его структуру, то в них под сущностью все же имеется в виду не то, что в приведенном вопросе. Дело в том,

что вышеназванный вопрос не предполагает, что сущность нечто явленное открыто и делающееся обозримым при упорядочивании. Напротив, подразумевается, что сущность нечто скрытое, не лежащее на поверхности, нечто, заложенное внутри, видимое нами лишь тогда, когда мы проникаем в глубь вещи, нечто такое, до чего должен докопаться наш анализ.

"Сущность скрыта от нас" вот форма, которую тогда принимает наша проблема. Мы спрашиваем: "Что такое язык?", "Что такое предложение?". И ответ на эти

вопросы нужно дать раз и навсегда; притом независимо от любого будущего опыта.

93. Один может сказать: "Предложение да ведь это самое обычное, что есть на свете!", а другой: "Предложение нечто весьма странное!". И этот второй просто не может проследить, как функционируют предложения. Потому что ему мешают формы наших высказываний о предложениях, мышлении.

Почему мы говорим, что предложение нечто удивительное? С одной стороны, из-за той огромной роли, какую оно играет. (И это верно.) С другой стороны, эта его роль плюс непонимание логики языка побуждают думать, будто предложению должны быть присущи какие-то необычайные, исключительные деяния. Впечатление, будто предложение совершает нечто необычайное, следствие недопонимания.

Часть 4.

94. "Предложение вещь странная!": уже в этом кроется сублимация речевого представления (Darstellung) в целом, склонность признавать наличие чистой сущности посредника между знаком предложения и фактом. Или даже стремление очистить, сублимировать сам знак предложения. Дело в том, что наши формы выражения всячески мешают видеть, что происходят обычные вещи, отправляя нас в погоню за химерами.

95. "Мышление должно быть чем-то уникальным". Говоря, полагая, что происходит то-то, мы с этим нашим полаганием не останавливаемся где-то перед фактом, но имеем в виду: это происходит так. А этот парадокс, конечно же, имеющий форму трюизма, можно выразить и так: "мыслимо и то, что не происходит".

96. К своеобразной иллюзии, о которой идет речь, с разных сторон примыкают и другие. Мышление, язык кажутся нам теперь

единственным в своем роде коррелятом, картиной мира. Понятия "предложение", "язык", "мышление", "мир" представляются рядоположенными и эквивалентными. (Но для чего же тогда использовать эти слова? Недостает языковой игры, в которой их следует применять.)

97. Мышление окружено неким ореолом. Его сущность, логика, представляет (darstellt) порядок мира, притом порядок априорный, то есть порядок возможностей, который должен быть общим для мира и мышления. Но кажется, что

этот порядок должен быть крайне прост. Предваряя всякий опыт, он должен всецело пронизывать его; сам же он не может быть подвластен смутности или неопределенности опыта. Напротив, он должен состоять из чистейшего кристалла. Но кристалла, явленного не в абстракции, а как нечто весьма конкретное, даже самое конкретное, как бы наиболее незыблемое (Harteste) из всего существующего. (ЛФТ, 5.5563.)

Нами владеет иллюзия, будто
своеобразное, глубокое,

существенное в нашем исследовании заключено в стремлении постичь ни с чем не сравнимую сущность языка, то есть понять порядок соотношения понятий: предложение, слово, умозаключение, истина, опыт и т.д. Этот порядок есть как бы сверх" порядок сверх"понятий. А между тем, если слова "язык", "опыт", "мир" находят применение, оно должно быть столь же непритязательным (niedrige), как и использование слов "стол", "лампа", "дверь".

98. С одной стороны, ясно, что каждое предложение нашего языка "уже в том виде, как оно есть, в порядке". То есть мы не стремимся к идеалу: как если бы наши обычные, расплывчатые предложения еще не имели своего вполне безупречного смысла и требовалось конструировать совершенный язык. С другой стороны, кажется очевидным: там, где есть смысл, должен быть совершенный порядок. Выходит, даже в самом расплывчатом предложении должен быть совершенный порядок.

99. Конечно, смысл предложения может скажем так оставлять открытым то или другое, однако предложение должно иметь какой-то определенный смысл. Неопределенный смысл, по сути, вообще не был бы смыслом. Так же как нечеткая граница, собственно говоря, вовсе не граница. Ведь, заяви я, что "крепко запер человека в комнате, оставив открытой только одну дверь", подумали бы: выходит, он его вообще не запер. Его закрыли в комнате лишь для виду. Мне в таком случае могли бы сказать: "Ты вообще ничего не сделал".

Ограждение с дырою это то же самое, что и полное отсутствие ограды. Но так ли это?

100. "Но это же не игра, если в правилах есть какая-то неопределенность". А действительно ли это совсем не игра? "Может быть, ты и будешь называть ее игрой, но, во всяком случае, это же не совершенная игра". Это значит, что такая игра не может считаться вполне "чистой" игрой, меня же сейчас интересует данное явление в его "чистом виде". Но я хочу сказать: мы превратно понимаем роль,

какую играет идеал в наших способах выражения. То есть: мы и это назвали бы игрой, только нас ослепляет идеал и поэтому мы неясно понимаем действительное употребление слова "игра".

101. Мы хотим сказать, что в логике не может быть неопределенности. Нами тут владеет представление: идеал должен обнаружиться в действительности. И в то же время мы не видим, каким образом он может там обнаружиться, и не понимаем природы этого "должен". Мы верим: идеал

должен скрываться в реальности, ибо полагаем, что уже усматривали его там.

102. Строгие и ясные правила логической структуры предложения представляются нам чем-то скрывающимся в глубине, в сфере понимания. Я их уже вижу (хотя и через посредничество понимания): ведь я же понимаю знак, мыслю нечто с его помощью.

103. Этот идеал, по нашим представлениям, непоколебим. Ты не можешь выйти за его пределы.

Ты всегда должен возвращаться к нему. Нет ничего вне его; в этом вне не хватает воздуха для дыхания. Откуда пришло к нам такое представление? Похоже, оно сидит в нас, как очки на носу, на что бы мы ни смотрели, мы смотрим через них. Нам никогда не приходит в голову снять эти очки.

104. Мы делаем предикатами вещей то, что заложено в наших способах их представления. Под впечатлением возможности сравнения мы принимаем эти

способы за максимально всеобщее фактическое положение дел.

105. Когда мы считаем, что должны найти вышеуказанный порядок, идеал в действительном языке, нас перестает удовлетворять то, что в обыденной жизни называется "предложением", "словом", "знаком".

Предложение, слово с точки зрения логики должны быть чем-то чистым, четко очерченным. И мы тут ломаем голову над сущностью подлинного знака.

Является ли она представлением о знаке как таковом или же представлением, связанным с данным моментом?

106. При этом, как бы витая в облаках, с трудом понимаешь, что надлежит оставаться в сфере предметов повседневного мышления, а не сбиваться с пути, воображая, будто требуется описать крайне тонкие вещи, не имея в своем распоряжении средств для такого описания. Нам как бы выпадает задача восстановить разорванную

паутину с помощью собственных пальцев.

107. Чем более пристально мы приглядываемся к реальному языку, тем резче проявляется конфликт между ним и нашим требованием. (Ведь кристальная чистота логики оказывается для нас недостижимой, она остается всего лишь требованием.) Это противостояние делается невыносимым; требованию чистоты грозит превращение в нечто пустое. Оно заводит нас на гладкий лед, где отсутствует трение, стало быть, условия в

каком-то смысле становятся идеальными, но именно поэтому мы не в состоянии двигаться. Мы хотим идти: тогда нам нужно трение. Назад, на грубую почву!

108. Мы узнаем: то, что называют "предложением", "языком", это не формальное единство, которое я вообразил, а семейство более или менее родственных образований. Как же тогда быть с логикой? Ведь ее строгость оказывается обманчивой. А не исчезает ли вместе с тем и сама логика? Ибо как логика может поступиться

своей строгостью? Ждать от нее послаблений в том, что касается строгости, понятно, не приходится. Предвзвешенность кристальной чистоты логики может быть устранен лишь в том случае, если развернуть все наше исследование в ином направлении. (Можно сказать: исследование должно быть переориентировано под углом зрения наших реальных потребностей_.)

Философия логики трактует о предложениях и словах в том же смысле, как это делают в повседневной жизни, когда мы

говорим, например: "Вот предложение, написанное по-китайски"; "Нет, это лишь похоже на письмо, на самом же деле это орнамент".

Мы говорим о пространственном и временном феномене языка, а не о каком-то непространственном и невременном фантоме. [Замечание на полях рукописи: иное дело, что интересоваться неким феноменом можно по-разному.] Мы же говорим о нем так, как говорят о фигурах в шахматной игре, устанавливая правила игры с

ними, а не описывая их физические свойства.

Вопрос "Чем реально является слово?" аналогичен вопросу "Что такое шахматная фигура?".

109. Что верно, то верно: нашим изысканиям не обязательно быть научными. У нас не вызывает интереса опытное знание о том, что "вопреки нашим предубеждениям нечто можно мыслить так или этак", что бы это ни означало. (Понимание мышления как особого духовного

посредника.) И нам не надо
развивать какую-либо теорию. В
наших рассуждениях
неправомерно что-то
гипотетическое. Нам следует
отказаться от всякого объяснения и
заменить его только описанием.
Причем это описание обретает
свое целевое назначение
способность прояснять в связи с
философскими проблемами.
Таковые, конечно, не являются
эмпирическими проблемами, они
решаются путем такого
всматривания в работу нашего
языка, которое позволяет осознать
его действия вопреки склонности

истолковать их превратно. Проблемы решаются не через приобретение нового опыта, а путем упорядочения уже давно известного. Философия есть борьба против зачаровывания нашего интеллекта средствами нашего языка.

110. Утверждение "Язык (или мышление) есть нечто уникальное" оказывается неким суеверием (а не ошибкой!), порождаемым грамматическими иллюзиями.

Его патетика ответ именно этих иллюзий, этой проблемы.

111. Проблемы, возникающие в результате превратного толкования форм нашего языка, носят глубокий характер. Это глубокие беспокойства; они столь же глубоко укоренены в нас, как и формы нашего языка, и их значение столь же велико, сколь велика для нас важность языка. Зададимся вопросом, почему грамматическая шутка воспринимается нами как

глубокая. (А это как раз и есть философская глубина.)

112. Обманчивое впечатление производит закрепившееся в формах нашего языка подобие облика [выражений]; оно нас беспокоит. "Это же не так!" говорим мы. "Но это должно быть так!"

113. "Однако это так", повторяю я себе вновь и вновь. Мне кажется: сумей я полностью сосредоточиться на этом факте,

сфокусировать на нем все свое внимание, я понял бы суть дела.

114. (Логико"философский трактат 4.5): "Общая форма предложения такова: дело обстоит так". Предложение такого рода люди повторяют бесчисленное множество раз, полагая при этом, будто вновь и вновь исследуют природу. На самом же деле здесь просто очерчивается форма, через которую мы воспринимаем ее.

115. Нас берет в плен картина. И мы не можем выйти за ее пределы,

ибо она заключена в нашем языке
и тот как бы нещадно повторяет ее
нам.

116. Когда философы
употребляют слово "знание",
"бытие", "объект", "я",
"предложение", "имя" и пытаются
схватить сущность вещи, то всегда
следует спрашивать: так ли
фактически употребляется это
слово в языке, откуда оно родом?

Мы возвращаем слова от
метафизического к их
повседневному употреблению.

117. Мне говорят: "Ты понимаешь это выражение, не так ли? Выходит, я использую его в том значении, которое тебе знакомо". Как будто значение это некая аура, присущая слову и привносимая им с собой в каждое его употребление.

Если, например, кто-то говорит, что предложение "Это здесь" (причем показывает на предмет перед собой) имеет для него смысл, то ему следует спросить себя, при каких особых обстоятельствах фактически

пользуются этим предложением. При этих обстоятельствах оно и имеет смысл.

118. В чем же значимость нашего исследования, ведь оно, по-видимому, лишь разрушает все интересное, то есть все великое и важное. (Как если бы оно разрушало все строения, оставляя лишь обломки, камни и мусор.) Но разрушаются лишь воздушные замки, и расчищается почва языка, на которой они стоят.

119. Итог философии обнаружение тех или иных явных несуразиц и тех шишек, которые набивает рассудок, наталкиваясь на границы языка. Именно эти шишки и позволяют нам оценить значимость философских открытий.

120. Говоря о языке (слове, предложении и т.д.), я должен говорить о повседневном языке. Не слишком ли груб, материален этот язык для выражения того, что мы хотим сказать? Ну, а как тогда построить другой язык? И как

странно в таком случае, что мы вообще можем что-то делать с этим своим языком!

В рассуждениях, касающихся языка, я уже вынужден был прибегать к полному (а не к какому-то предварительному, подготовительному) языку. Само это свидетельствует, что я в состоянии сообщить о языке лишь нечто внешнее [наружное] (|uerliches).

Да, но как могут удовлетворить нас подобные пояснения? Так ведь

и твои вопросы сформулированы на этом же языке; и если у тебя было что спросить, то это следовало выразить именно этим языком!

А твои сомнения плод непонимания.

Твои вопросы относятся к словам; следовательно, я должен говорить о словах.

Говорят: речь идет не о слове, а о его значении; и при этом представляют себе значение как

предмет того же рода, что и слово, хоть и отличный от него. Вот слово, а вот его значение. Деньги и корова, которую можно купить на них. (Но с другой стороны: деньги и их использование.)

121. Можно подумать: коли философия трактует об употреблении слова "философия", то должна существовать некая философия второго порядка. Но это как раз не так; данная ситуация скорее уж соответствует случаю с орфографией, которая должна заниматься и правописанием слова

"орфография", не превращаясь при этом в нечто, относящееся ко второму порядку.

122. Главный источник нашего недопонимания в том, что мы не обзираем употребления наших слов. Нашей грамматике недостает такой наглядности. Именно наглядное действие (*bersichtliche Darstellung*) рождает то понимание, которое заключается в "усмотрении связей". Отсюда важность поисков и изобретения промежуточных звеньев.

Понятие наглядного взору действия (der bersichtlichen Darstellung) имеет для нас принципиальное значение. Оно характеризует тип нашего представления, способ нашего рассмотрения вещей. (Разве это не "мировоззрение"?)

123. Философская проблема имеет форму: "Я в тупике".

124. Философия никоим образом не смеет посягать на действительное употребление

языка, в конечном счете она может только описывать его.

Ведь дать ему вместе с тем и какое-то обоснование она не может.

Она оставляет все так, как оно есть.

И математику она оставляет такой, как она есть, не может продвинуть ни одно математическое открытие. "Ведущая проблема математической логики" остается

для нас проблемой математики, как и любая другая.

125. Не дело философии разрешать противоречие посредством математического, логико"математического открытия. Она призвана ясно показать то состояние математики, которое беспокоит нас, состояние до разрешения противоречия. (И это не значит уйти от трудностей.)

Главное здесь вот что: мы устанавливаем правила и технику игры, а затем, следуя этим

правилам, сталкиваемся с тем, что не все идет так, как было задумано нами. Что, следовательно, мы как бы запутались в наших собственных правилах.

Именно эту "запутанность в собственных правилах" мы и хотим понять, то есть ясно рассмотреть.

Это проливает свет на наше понятие полагания (Meinens). Ибо в таких случаях дело идет иначе, чем мы полагали, предвидели. Ведь говорим же мы, например,

столкнувшись с противоречием: "Я этого не предполагал".

Гражданское положение противоречия, или его положение в гражданском обществе, вот философская проблема.

126. Философия просто все предъявляет нам, ничего не объясняя и не делая выводов. Так как все открыто взору, то нечего и объяснять. Ведь нас интересует не то, что скрыто.

"Философией" можно было бы назвать и то, что возможно до всех новых открытий и изобретений.

127. Труд философа это [осуществляемый] с особой целью подбор припоминаний.

128. Пожелай кто-нибудь сформулировать в философии тезисы, пожалуй, они никогда не смогли бы вызвать дискуссию, потому что все согласились бы с ними.

129. Наиболее важные для нас аспекты вещей скрыты из-за своей простоты и повседневности. (Их не замечают, потому что они всегда перед глазами.) Подлинные основания исследования их совсем не привлекают внимания человека. До тех пор пока это не бросится ему в глаза. Иначе говоря: то, чего мы [до поры] не замечаем, будучи увидено однажды, оказывается самым захватывающим и сильным.

130. Наши ясные и простые языковые игры не являются подготовительными

исследованиями для будущей регламентации языка, как бы первыми приближениями, не принимающими во внимание трение и сопротивление воздуха. Скорее, уже эти языковые игры выступают как некие модели, которые своими сходствами и несходствами призваны пролить свет на возможности нашего языка.

131. Избежать неправильности или пустоты наших утверждений можно, лишь представляя образец тем, что он есть, то есть в качестве модели как бы некоего мерила, а

не заведомо верной идеи, которой должна соответствовать действительность. (Догматизм, в который мы столь легко впадаем, занимаясь философией.)

132. Свои познания об употреблении языка мы стремимся привести в порядок: порядок, служащий определенной цели, один из множества возможных порядков, а не единственно возможный порядок как таковой. С этой целью мы вновь и вновь подчеркиваем различия, которые легко упускаются из виду в наших обычных языковых формах. При

ЭТОМ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, БУДТО БЫ НАШЕЙ
ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ РЕФОРМА ЯЗЫКА.

Подобная реформа, служащая
определенным практическим
целям усовершенствованию нашей
терминологии во избежание
недоразумений в практике
словоупотребления, конечно,
возможна. Но не такие случаи
служат предметом нашего
рассмотрения. Путаницы,
занимающие нас, возникают тогда,
когда язык находится на холостом
ходу, а не тогда, когда он работает.

133. Мы не собираемся каким-то неслыханным образом очищать или дополнять систему правил употребления наших слов.

Ибо ясность, к которой мы стремимся, это, право же, исчерпывающая ясность. А это просто"напросто означает, что философские проблемы должны совершенно исчезнуть.

Подлинное открытие заключается в том, что, когда захочешь, обретаешь способность перестать философствовать. В том,

что философия умиротворяется, так что ее больше не лихорадят вопросы, ставящие под сомнение ее самое. Вместо этого мы на примерах покажем действие того или иного метода, причем череду этих примеров можно прерывать. Решается не одна проблема, а проблемы (устраняются трудности).

Пожалуй, нет какого-то одного метода философии, а есть методы наподобие различных терапий.

134. Рассмотрим предложение: "Дело обстоит так-то". На каком основании о нем можно говорить как об общей форме предложения? Прежде всего, оно само является предложением, русским [в оригинале, соответственно немецким] предложением, в нем есть подлежащее и сказуемое. Но как применяется это предложение в нашем повседневном языке? Ведь я взял его именно оттуда.

Мы говорим, например: "Он объяснил мне свою ситуацию, сказал, что дело обстоит вот так, и

поэтому он нуждается в задатке". В таком случае выходит, можно утверждать: вышеприведенное предложение соответствует любому высказыванию. Оно применяется как предложение"схема, но только потому, что имеет структуру немецкого предложения. Вместо него можно просто сказать: "Случилось то-то" или же "Ситуация такова" и т.д. И можно, как в символической логике, просто воспользоваться какой-то буквой, некой переменной. Однако букву р никто бы не назвал общей формой предложения. Как уже

говорилося, предложение "Дело обстоит так-то" было признано такой формой лишь потому, что и оно само является тем, что называют предложением. Но, будучи предложением и само по себе, оно при всем том используется только как предложение"переменная.

Утверждать, что это предложение соответствует (или не соответствует) действительности, было бы явной бессмыслицей. Тем самым иллюстрируется, что одним из признаков нашего понятия о предложении является звучание его как предложения.

135. Но разве у нас нет понятия о том, что такое предложение, что мы понимаем под "предложением"? Ну разумеется, есть, так же как есть и понятие о том, что понимается под "игрой". В ответ на вопрос, что такое предложение отвечаем ли мы другим или самим себе, мы приведем примеры и включим в них то, что можно назвать индуктивным рядом предложений. Вот таким-то вот образом мы и имеем некое понятие предложения. (Сравни понятие предложения с понятием числа.)

136. Представить фразу: "Дело обстоит так-то" как общую форму предложения в принципе все равно что заявить: "Предложением является все то, что может быть истинным или ложным". Ведь вместо "Дело обстоит..." можно сказать: -то-то истинно". (А также сказать: -то-то ложно"). Но здесь имеет место следующая зависимость: p истинно $= p$

p ложно $= \text{не} p$.

А значит, фраза: предложение есть все то, что может быть

истинным или ложным,
равносильна утверждению:
предложением называется то, к
чему в нашем языке применяется
исчисление функций истинности.

При этом может показаться,
будто данная дефиниция
предложение есть то, что может
быть либо истинным, либо
ложным, устанавливает, что такое
предложение, ибо она гласит:
предложение это то, к чему
применимо понятие "истинный"
или что соответствует понятию
"истинный". То есть у нас уже как
бы имеется какое-то понятие

ИСТИННОГО И ЛОЖНОГО,
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ, ЧТО
ЯВЛЯЕТСЯ, А ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТО,
ЧТО СЦЕПЛЕНО С ПОНЯТИЕМ
"ИСТИННЫЙ" (как зубчатое колесо).

Но это неудачная картина. Она
как бы равносильна вот такому
утверждению: "Король в шахматах
это та фигура, которой можно
объявить шах". А это всего лишь
означает, что в нашей шахматной
игре шах можно объявить только
королю. Равным образом
утверждение, что только
предложение может быть

истинным, говорит нам не более того, что предикаты "истинный" и "ложный" мы приписываем лишь тому, что называем предложением. А что есть предложение, определяется, с одной стороны, правилами его построения (скажем, правилами немецкого языка), а с другой употреблением знака в языковой игре. И применение слов "истинный" или "ложный" также может быть составной частью этой игры; и в этом случае такое употребление характеризует для нас предложение, но отнюдь не совпадает с ним. Точно так же

можно сказать, что объявление шаха принадлежит нашему понятию шахматного короля (как бы является его составляющей). Сказать же, что объявление шаха не соответствует нашему понятию пешки, означало бы, что игра, где пешке объявляют шах, где проигрывает потерявший все пешки, была бы неинтересной, примитивной или слишком усложненной и т. п.

137. А как обстоит дело, когда мы учимся определять подлежащее в предложении с помощью вопроса: "Кто или что...?" Ведь тут

есть некое соответствие ("Passen") подлежащего данному вопросу; иначе как с помощью этого вопроса можно было бы узнать, что в предложении служит подлежащим? Способ, каким мы узнаем это, весьма схож с тем, как отыскивают букву в алфавите, следующую за буквой "К", произнося про себя буквы алфавита вплоть до "К". Ну, а в каком смысле "Л" соответствует этому буквенному ряду? Именно в таком смысле можно было бы сказать, что "истинное" и "ложное" соответствуют предложению. Даже ребенка можно научить

отличать предложение от других выражений, подсказав ему: "Спроси себя: можешь ли ты после фразы добавить: "Это истинно"? Если эти слова уместны, то ты имеешь дело с предложением".

(И точно так же можно было бы рекомендовать: "Спроси себя, можешь ли ты предпослать эту фразу словами: "Дело обстоит именно так"".)

138. А не может ли тогда понятное мне значение слова соответствовать понятному для

меня смыслу предложения? Или же значение одного слова соответствовать значению другого? Конечно, если значение слова и есть то употребление, каким мы его наделяем, то нет смысла говорить о соответствии. Но ведь мы понимаем значение слова, стоит нам его услышать или произнести, это значение схватывается мгновенно, и то, что мы таким образом схватываем, есть нечто иное, нежели развертываемое во времени "употребление"!_

Часть 5.

139. Так, когда мне говорят слово "куб", я знаю, чт оно означает. Но разве при этом, когда я так понимаю слово, в моем сознании возникает его употребление во всем объеме?

Ну, а с другой стороны, разве значение слова не определяется и этим его употреблением? Могут ли эти способы определения значения противоречить друг другу? Может ли "значение", схватываемое

мгновенно, совпадать с употреблением, соответствовать или не соответствовать ему? И как может то, что дано нам в одно мгновение, что моментально возникает в нашем сознании, соответствовать его употреблению?

Что же, собственно, нам представляется при понимании слова? Не напоминает ли оно собою некую картину? Разве оно не может быть картиной?

Ну, предположим, что ты услышал слово "куб" и в твоём сознании возникла картина. Скажем, рисунок куба. Насколько это изображение соответствует или не соответствует употреблению слова куб? Возможно, ты мне возразишь: "Да это же очень просто: если у меня в сознании возникает эта картина, а я указываю, скажем, на трехугольную призму и заявляю, что это куб, то такое употребление слова не соответствует картине". А действительно ли не соответствует? Я сознательно подобрал такой пример, чтобы

можно было легко представить себе метод проекции, согласно которому образ все-таки будет соответствовать реально видимому.

Образ куба, безусловно, предлагает нам определенное его употребление, но я могу употреблять его и иначе_.

140. Какого же рода ошибку я в таком случае допустил: ту ли, что склонен выразить так: я счел, что картина навязывает мне определенное использование? Как

мог я это полагать? Что, собственно, я полагал? Если существует некая картина или нечто подобное картине, побуждающее к определенному употреблению, так не связана ли моя ошибка со смешением [картин]? Ведь, возможно, мы склонны выражаться и так: мы находимся самое большее под психологическим, а не логическим воздействием. При этом у нас возникает полная иллюзия, будто мы знали о случаях двоякого рода.

Что же дает тогда мой аргумент? Он привлек внимание к тому

(напомнил о том), что при некоторых обстоятельствах мы вполне готовы назвать "применением образа куба" и иной процесс, отличный от того, о котором подумали первоначально. Итак, "мнение, что именно картина побудила нас к определенному применению" состояло в том, что мы обращали внимание лишь на этот случай, и ни на какой иной. Высказывание "имеется и другое решение" означает: имеется также еще что-то, что я готов назвать "решением", к чему готов применить такую-то картину, такую-то аналогию и т.д.

При этом важно понимать, что, хотя услышанное слово может вызывать один и тот же [образ] в нашем сознании, его применение, однако, может быть разным. Имеет ли слово одно и то же значение в обоих этих случаях? Я думаю, что следовало бы сказать нет.

141. А как быть, если в нашем сознании возникает не просто образ куба, но и метод проекции? Как можно себе это представить? Например, так: передо мной схема данного вида проекции скажем, изображение двух кубов,

связанных линиями проекции. Но позволяет ли такой ответ существенно продвинуться вперед? А нельзя ли представить себе и различные применения такой схемы? Да разве возможно мысленно представлять себе и применение? Вполне, только нужно более отчетливо определиться с тем, как мы применяем это выражение. Допустим, я разъясняю кому-нибудь различные методы проекции, чтобы научить его применять их. Спрашивается, в каком случае мы бы сказали, что ему мысленно представляется

именно тот метод, который я имел в виду.

Ну, мы узнаем об этом, пользуясь двумя разными критериями. С одной стороны, это определенная картина (любого рода), которая мысленно представляется ему в то или иное время. С другой же стороны, это применение данного представления, осуществляемое им с течением времени. (И разве не ясно, что в данном случае совершенно безразлично, представляется ли ему эта картина в его фантазии, а не в виде

лежащего перед ним рисунка или модели; либо даже в виде модели, им самим сконструированной?)

Ну, а могут ли образ и его применение вступать в конфликт? Да, такой конфликт возможен, коль скоро от образа ожидают другого применения, потому что, как правило, люди применяют этот образ так.

Я хочу сказать: тут есть типичный случай и нетипичные случаи.

142. Лишь в типичных случаях нам четко предписано определенное употребление слова; мы знаем, у нас нет никаких сомнений, что сказать в том или ином случае. Чем менее типичен случай, тем более сомнительно, что при этом следует сказать. Если бы вещи вели себя совсем иначе, чем они ведут себя в действительности (не существуй, например, характерных выражений для страха, боли, радости; стань правило исключением, а исключение правилом; стань их частота приблизительно одинаковой), то

наша привычная языковая игра потеряла бы свой смысл. Процедура взвешивания куска сыра: укладка его на весы, отклонение стрелки, указывающее его вес и, следовательно, цену, потеряла бы всякий смысл, если бы мы часто сталкивались с тем, что сыр внезапно и без всякой видимой причины разбухал бы или же усыхал. Это замечание станет яснее потом, когда речь пойдет о таких вещах, как отношение выражения к чувству и т.п. _

143. Рассмотрим теперь следующий вид языковой игры:

Некто В по указанию А должен записывать знаковый ряд согласно определенному закону построения.

Пусть таким рядом прежде всего будет ряд натуральных чисел в десятичной системе. Как он учится понимать эту систему? Сначала ему предъявляют запись числового ряда, а затем велят скопировать ее. (Пусть не покажется тебе странным выражение "числовой ряд"; в таком его применении нет ошибки!) И уже здесь мы сталкиваемся с типичной и нетипичной реакцией обучаемого.

Сначала при копировании ряда от 0 до 9 мы, может быть, водим его рукой. А далее возможность взаимопонимания сопряжена с тем, как он будет продолжать запись самостоятельно. Причем можно себе представить, например, что он, самостоятельно копируя цифры, располагает их не по порядку, не соблюдая правила: иногда записывает одну цифру, иногда же на ее место ставит другую. И тогда взаимопонимание в данном пункте нарушается. Или же он делает ошибки в последовательности записи цифр. Понятно, что этот случай отличает

от предыдущего частотность [неверных записей]. Обучаемый может допускать систематическую ошибку, всегда записывая, например, лишь каждое второе число, или копировать ряд 0, 1, 2, 3, 4, 5,... так: 1, 0, 3, 2, 5, 4,... В этом случае мы почти наверняка склонны будем сказать, что он неверно нас понял.

Но заметь: не существует резкой границы между нерегулярной и систематической ошибками, то есть между тем, что ты склонен называть "беспорядочной", а что "систематической ошибкой".

Ученика, пожалуй, можно отучить от систематической ошибки (как от дурной привычки). Или же можно что-то одобрить в его способе записи и попытаться научить его нормальному, как определенной разновидности, варианту его собственного. И в этом случае обучаемость нашего ученика может иметь предел.

144. Что я имею в виду, говоря "здесь может наступить предел обучаемости ученика"? Говорю ли я это на основании моего собственного опыта? Конечно, нет.

(Даже если у меня и был такой опыт.) Тогда чего же я добиваюсь этим предложением? Ну допустим, что ты сказал: "Да, верно, это можно себе представить, это может случиться!" Но стремился ли я привлечь его внимание к тому, что он в состоянии себе это представить? Я хотел вызвать в его воображении определенную картину, признание же им этой картины заключается в его готовности рассматривать данный случай иначе: а именно в его сопоставлении с этим рядом картин. Я изменил его способ

созерцания. (Индийский математик: "Посмотри на это!")

145. Теперь ученик записывает ряд цифр от 0 до 9 так, как положено. А это бывает лишь в том случае, если правильная запись у него получается часто, а не один раз из ста проб. Ну, а я продолжаю развертывать ряд и обращаю его внимание на воспроизведение первого ряда в единицах, затем на его повторение в десятках. (Что означает лишь, что я использую определенные акценты, подчеркиваю цифры, таким-то образом записываю их

друг над другом и т.п.) И вот с какого-то момента он самостоятельно продолжает этот ряд или же этого не происходит. Но зачем ты все это говоришь; ведь это самоочевидно! Ну разумеется. Я хотел сказать всего лишь: эффект каждого последующего объяснения зависит от реакции ученика.

Допустим же, что после некоторых усилий учителя учащийся продолжает ряд чисел правильно, то есть так, как это делаем мы. Стало быть, теперь мы могли бы сказать, что он овладел системой. Но как далеко ему

следует продолжать этот ряд, чтобы мы могли это утверждать с полным правом? Очевидно, здесь нельзя указать никаких пределов.

146. Ну, а если я спрошу: "Понял ли он систему, если ему удастся продолжить ряд до сотого члена?" Или (если в нашей элементарной языковой игре не обязательно говорить о "понимании") спрошу иначе: "Усвоил ли он эту систему, если он верно доводит запись до этого места?" На это ты, вероятно, ответишь: усвоение (или же понимание) системы не может состоять в том, чтобы продолжить

ряд до того или иного числа; это лишь применение понимания. Само же это понимание некое состояние, из которого вытекает правильное применение.

А о чем же здесь, собственно, думают? Разве не о выведении некоторого ряда из его алгебраической формулы? Или же о чем-то подобном? Но тут мы возвращаемся к уже сказанному. Ведь мы в состоянии думать более чем об одном применении алгебраической формулы; и каждый тип применения может быть в свою очередь выражен

алгебраически. Однако, само собой разумеется, это нас не продвигает далее. Применение все еще остается критерием понимания.

147. "Но как же это возможно? Когда я говорю, что понимаю закон образования ряда, то ведь я утверждаю это не на основании накопленного мною к настоящему моменту опыта именно такого применения определенного алгебраического выражения! Во всяком случае, о самом-то себе я знаю, что имею в виду такой-то ряд, безотносительно к тому, как

далеко продвинулся я в его фактическом построении".

Итак, тобою владеет мысль, что ты знаешь применение закона построения ряда совершенно независимо от каких бы то ни было воспоминаний о его фактическом применении к определенным числам. И ты, пожалуй, скажешь: "Само собой разумеется! Ибо ряд бесконечен, а отрезок ряда, который я мог бы построить, конечен".

148. Но в чем состоит это знание? Позволь спросить: когда ты знаешь это применение? Всегда? Днем и ночью? Или же только тогда, когда действительно думаешь о законе ряда? То есть знаешь ли ты его так же, как знаешь алфавит и таблицу умножения? Или ты называешь "знанием" некое состояние сознания либо процесс скажем, размышление о чем-то (An"etwas"denken) или нечто подобное?

149. Когда говорят, что знание алфавита душевное состояние, то думают при этом о состоянии нашего ментального аппарата (скажем, мозга), посредством которого мы объясняем определенные проявления этого знания. Такого рода состояние называется диспозицией [предрасположением]. Но в данном случае не вполне корректно говорить о душевном состоянии, поскольку для этого мы должны располагать двумя критериями такого состояния. А именно: знанием устройства мыслительного аппарата, не говоря

уже о его действии. (Ничто не могло бы здесь сбить с толку больше, чем употребление слов "сознательное" и "бессознательное" для противопоставления состояния сознания и диспозиции. Ибо эти два слова затушевывают некое грамматическое различие.)

150. Грамматика слова "знать" явно родственна грамматике слов "мочь", "быть в состоянии", но она родственна и грамматике слова "понимать". ("Владеть" техникой.)

151. Однако имеется и такое употребление слова "знать": мы говорим "Теперь я знаю это!" и равным образом "Теперь я могу это!" и "Теперь я понимаю это!".

Представим себе следующий пример: А записывает ряд чисел; В смотрит на это и пытается найти в этой последовательности чисел некий закон. Если это ему удастся, он восклицает: "Теперь я могу продолжить!" Стало быть, эта способность, это понимание является чем-то таким, что наступает в некий момент. Итак,

приглядимся к тому, что же это такое, что здесь наступило? А записывал числа 1, 5, 11, 19, 29. И тут В сказал: теперь он знает, что будет дальше. Что же здесь произошло? Тут могли произойти самые разные вещи. Например, когда А медленно записывал число за числом, В применял различные алгебраические формулы к написанным числам. Когда А записал число 19, В испытал формулу $a_n = n^2 + n + 1$; и следующее число подтвердило его предположение_.

Или же В не думает о формулах. Он напряженно следит за тем, как А выписывает числа; самые разные смутные мысли при этом блуждают в его голове. Наконец он спрашивает себя: чем будет последовательность разностей этих же чисел? Он находит, что она такова: 4, 6, 8, 10, и говорит: теперь я могу продолжить этот ряд.

Или же он вглядывается и говорит: "Да, я знаю этот ряд" и продолжает его, так же как он делал бы это и в том случае, если

бы А записал ряд 1, 3, 5, 7, 9. Или же он вообще не говорит ничего и просто продолжает записывать ряд. По-видимому, при этом он испытывает чувство, которое можно охарактеризовать так: "О, это легко!" (Чувство, напоминающее внезапный вздох облегчения, наступающий после утихшего испуга.)

152. Но являются ли эти описанные мною процессы пониманием?

"В понимает принцип образования ряда" все же не означает буквально: "В пришла в голову формула $a_n = \dots$ ". Ибо вполне можно себе представить, что ему пришла бы в голову эта формула, а понимания все-таки не было бы. Выражение "он понимает" должно включать в себя нечто большее, чем то, что ему пришла в голову соответствующая формула. Так же как и нечто большее, чем любое более или менее характерное сопровождение или проявление понимания.

153. Мы пытаемся тут проникнуть в умственный процесс понимания, который как бы скрыт за этими более грубыми и потому легко бросающимися в глаза его сопровождениями. Но это нам не удастся. Или, выражаясь точнее, до реального изыскания дело вовсе не доходит. Ибо если даже удалось бы выявить, что имеет место во всех тех случаях понимания, то все же почему обязательно это составляло бы искомое понимание? Да и как процесс понимания мог бы носить скрытый характер при том, что я ведь заявил "Теперь понимаю", потому что понял?! Если же я

утверждаю, что этот процесс скрыт, то как мне узнать, что следует искать? Я в замешательстве.

154. Но погоди! Если слова "я теперь понимаю принцип" говорят не о том же самом, что и слова "мне пришла в голову формула..." (или же "я произношу формулу", "я записываю формулу" и т.д.), то вытекает ли из этого, что я употребляю предложение "я теперь понимаю..." или "теперь я могу продолжить" как описание некоего процесса, следующего за

произнесением формулы или сопровождающего его?

Если что-то и должно стоять "за произнесением формулы", так это определенные обстоятельства, позволяющие мне сказать, что я могу продолжить начатое действие, ухватив формулу.

Не думай вовсе о понимании как об "умственном процессе"! Ибо это лишь оборот речи, который тебя сбивает с толку. А спроси себя, в каком случае, при каких обстоятельствах мы говорим:

"Теперь я знаю, как продолжить",
когда мне пришла в голову
формула.

В том смысле, в каком
существуют характерные для
понимания процессы (включая
душевные процессы), понимание
не есть душевный процесс.

(Душевные процессы:
ослабевающие или усиливающиеся
болевые ощущения, слуховое
восприятие мелодии, предложения
и др.)

155. Итак, я хочу сказать: когда он вдруг сообразил, как продолжить ряд, понял принцип, то, может быть, при этом он и испытал какое-то особое переживание которое он, пожалуй, описал бы, спроси мы его: "Как это было, что произошло, когда ты вдруг постиг принцип?" подобно тому как мы попытались сделать это выше. Для нас же его слова о понимании, о том, что он знает, как продолжить ряд, оправдываются обстоятельствами, при которых он испытал это переживание.

156. Это станет яснее, если мы включим в сферу нашего рассмотрения другое слово, а именно слово "читать". Прежде всего нужно заметить, что я в данном случае не отношу к "чтению" понимание смысла читаемого. Чтение здесь выступает как деятельность озвучивания написанного или напечатанного; а также письма под диктовку, переписывания напечатанного, игры по нотам и т.п.

Конечно, нам хорошо знакомо употребление этого слова в

обычных жизненных ситуациях. Роль же, которую оно играет в жизни, а тем самым ту языковую игру, в которой мы его используем, нелегко представить даже в самых общих чертах. Человек, скажем немец, прошел в школе или дома обычный курс обучения. В процессе учебы он освоил навык чтения на своем родном языке. Впоследствии он читает книги, письма, газеты и т.д.

Что же происходит, когда он, например, читает газеты? Его глаза как мы говорим прослеживают напечатанные слова, он

произносит их вслух или же выговаривает про себя. При чем определенные слова он прочитывает, схватывая их печатные формы в целом, в других ему достаточно узреть первый слог, некоторые читаются по слогам, а отдельные слова, может быть, и по буквам. Мы бы сказали, что он прочел предложение и в том случае, если бы по ходу чтения он не произносил его ни вслух, ни про себя, но после был бы в состоянии воспроизвести это предложение дословно или близко к тексту. Он может вникать в то, что читает, или же действовать,

скажем, просто как читающая машина, то есть читать громко и правильно, не вникая в читаемое. Может быть, при этом его внимание будет направлено на что-то совсем другое (так что, спроси его кто-нибудь сразу же, он не сможет сказать, о чем читал).

Сравним теперь с этим читателем какого-нибудь новичка, только усваивающего навыки чтения. Он читает слова, с трудом складывая их по буквам. Однако некоторые слова он угадывает по контексту; или же, может быть, уже частично знает отрывок

наизусть. Учитель говорит ему тогда, что он на самом деле не читает слов (а в определенных случаях что он лишь притворяется читающим).

Если, имея в виду чтение такого рода, чтение начинающего, задаться вопросом, в чем состоит чтение, то мы будем склонны сказать: это особая сознательная умственная деятельность.

Мы также говорим об ученике: "Конечно, только он знает, действительно ли он читает или

просто говорит слова наизусть".
(Об этом предложении -только он
знает..." нужно будет еще
высказаться.)

Но я хочу сказать: приходится
признать, что при произнесении
какого-либо из напечатанных слов
в сознании ученика,
"притворяющегося", будто он
читает слово, может происходить
то же самое, что и в сознании
опытного читателя, который его
"читает". Говоря о новичке и об
опытном читателе, мы по-разному
применяем слово "читать".
Конечно, так и хочется сказать: не

может быть, чтобы в сознании опытного читателя и новичка, когда они произносят данное слово, происходило одно и то же. И если нет различия в том, что они сознают, то должно быть различие в бессознательной работе их умов, а то и мозга. Итак, нас тянет сказать, что тут во всяком случае имеется два различных механизма! И их действие должно отличать чтение от нечтения. Но ведь эти механизмы всего лишь гипотезы, модели для объяснения, обобщения того, что ты наблюдаешь.

157. Обдумай следующий случай: люди или иные существа используются нами в качестве читающих машин. Они обучены для этого. По словам тренера, одни из них уже могут читать, другие же еще нет. Представим себе еще не вышколенного ученика: если ему показывают написанное слово, он при этом иногда издает какие-то звуки, и время от времени звучание "случайно" оказывается более или менее верным. Наблюдающий эту сцену слушает этого ученика и говорит: "Он читает". Но учитель отвечает: "Нет, он не читает; это чистая случайность". А

представим себе, что далее этот ученик продолжает правильно реагировать на предлагаемые ему слова. Спустя какое-то время учитель говорит: "Теперь он может читать!" Ну, а как было дело с тем первым словом? Должен ли теперь учитель сказать: "Я ошибся, он все-таки прочел его" или же: "Он только позднее действительно начал читать"? Когда же он начал читать? Какое первое слово он прочел? Этот вопрос здесь не имеет смысла. Он обретает смысл разве что при таком (или подобном ему) определении: "Первое слово, которое некто

"читает" это первое слово первой

группы из 50 слов, которые он читает правильно".

Если же мы не прочь применять слово "чтение" для обозначения особого переживания перехода от письменного знака к произнесенному звуку, то, конечно, имеет смысл говорить о первом слове, которое он прочел. При этом человек может, например, сказать: "На этом слове я впервые почувствовал: "Теперь я читаю"".

Но и в случае, отличном от вышеприведенного, в случае

читающей машины, переводящей знаки в звуки наподобие пианолы, можно было бы сказать: -только после того, как в машине произошло то-то такие-то части соединились проводами, машина начала читать, и первыми знаками, прочтенными ею были..."

В случае же живой читающей машины слово "читать" означает: таким-то образом реагировать на письменные знаки. Это понятие, следовательно, совершенно независимо от понятия мыслительных и иных механизмов. И учитель не может здесь сказать

об ученике: "Возможно, он и прочел то слово". Ибо здесь нет никакого сомнения относительно того, что было сделано. Изменение, происшедшее, когда обучаемый стал читать, было изменением его поведения; и говорить о "первом слове, прочитанном им в его новом состоянии" здесь не имеет смысла.

158. А может быть, дело в том, что мы просто очень мало знаем о процессах, происходящих в головном мозгу и нервной системе? Знай мы их более основательно, мы бы поняли,

какие связи были выработаны обучением, и смогли бы тогда, заглянув в мозг учащегося, сказать: "Сейчас он прочел это слово, теперь пошло связное чтение". И предполагается, что дело должно обстоять таким образом, иначе как могли бы мы быть столь уверены в существовании такой связи? Но априорно или же только вероятно предположение, что это так? И насколько вероятно? Спроси"ка себя, что ты знаешь об этих вещах? Если же оно априорно, то значит, это очень убедительный для нас вид представления (Darstellungsform).

159. Но если вдуматься в это, испытываешь искушение сказать: единственным реальным критерием того, что кто-то читает, является сознательный акт чтения, акт считывания звуков по буквам. "Человек ведь знает, читает ли он или лишь притворяется, что читает!" Предположим, А хочет заставить В поверить в то, что он умеет читать кириллицу. Он выучил наизусть какое-то русское предложение и затем проговаривает его, глядя на напечатанные слова, как будто читая их. Здесь мы определенно скажем: А знает, что он не читает,

и внутренне чувствует именно это, притворяясь читающим. Ибо, конечно, существует уйма более или менее характерных переживаний, возникающих при чтении напечатанного предложения; их нетрудно припомнить: подумай о переживаниях, связанных с неуверенностью, более пристальным разглядыванием знаков, ошибочным прочтением, более или менее беглым чтением и т.д. Существуют также характерные переживания воспроизведения чего-то, выученного наизусть. В нашем

примере А не будет переживать ничего такого, что характерно для чтения, а, по-видимому, испытает целый ряд переживаний, присущих обману.

160. А представь себе такой случай. Человеку, умеющему свободно читать, мы даем для чтения никогда не встречавшийся ему до этого текст. Он читает его нам но с таким чувством, словно произносит что-то заученное наизусть (это могло бы происходить под воздействием какого-то препарата). Сказали бы мы в этом случае, что на самом

деле он не читает текст? То есть сочли бы мы его переживания критерием того, что он читает или не читает текст?

Или еще один случай. Человеку, находящемуся под действием какого-то лекарства, предлагается набор письменных знаков, которые не обязательно принадлежат какому бы то ни было из существующих алфавитов. И вот он, сочетая несколько таких знаков, произносит слово, как если бы знаки были буквами, притом произносит их со всеми внешними признаками и

ощущениями, сопровождающими чтение. (Подобное нам случается испытать во сне. Проснувшись, человек в таком случае может, например, сказать: "Мне представилось, будто я читал какие-то знаки, хотя они вовсе и не были знаками".) В этом случае некоторые будут склонны утверждать, что человек читал эти знаки, другие же будут это отрицать. Предположим, что таким образом человек прочел (или же истолковал) группу из четырех знаков как О Б Е Н. Теперь мы показываем ему эти четыре знака в обратной

последовательности, и он читает Н
Е Б О. И во всех последующих
текстах он всегда сохраняет одну и
ту же интерпретацию знаков: тогда
мы, конечно, были бы склонны
сказать, что он разработал для себя
алфавит и читает в соответствии с
ним.

161. Ну, а вспомни также, что
имеется непрерывный ряд
переходов между случаем, когда
человек произносит наизусть то,
что он должен был прочесть, и
случаем, когда он читает каждое
слово по буквам, не опираясь ни на

догадки с помощью контекста, ни на заученный текст.

Проведи следующий эксперимент: назови ряд чисел от 1 до 12. Затем посмотри на циферблат своих часов и прочти этот же ряд. Что ты назвал в этом случае "чтением"? То есть что ты сделал такого, чтобы это стало "чтением"?

162. Попробуем дать такое определение: некто читает, если он осуществляет воспроизведение оригинала. А "оригиналом" я

называю текст, который читают или переписывают; диктант, который пишут, партитуру, по которой играют, и т.д. Ну, например, если мы обучили кого-нибудь кириллице и тому, как произносится каждая буква, а затем даем ему отрывок для чтения и он читает его, произнося каждую букву так, как мы его обучили, то мы, скорее всего, скажем, что он извлекает звучание слова из его письменного изображения по правилам, которые мы ему дали. Притом это чистый случай чтения. (Можно было бы сказать, что мы научили его "правилу алфавита".)

Но почему мы говорим, что он воспроизводит произносимое слово из напечатанного? Знаем ли мы нечто большее, чем то, что мы его научили, как произносить каждую букву, и что он после этого стал вслух читать слова? На этот вопрос мы, пожалуй, ответили бы так: ученик показывает, что он совершает переход от напечатанного к произносимому по правилам, которыми мы его вооружили. Как это можно показать, проясняется, если видоизменить наш пример: ученик получает задание не прочесть текст, а переписать его, перевести

печатный текст в рукописный. В этом случае мы смогли бы задать ему правило в виде некой таблицы. В одной колонке этой таблицы стояли бы печатные буквы, в другой рукописные. А то, что письмо ученик здесь воссоздает на основе напечатанного, видно из его обращения с таблицей.

163. Ну, а если, переписывая, он всегда передавал бы букву A через b, B через c, C через d и т.д. и Z через a? Ведь и этот случай мы назвали бы воспроизведением (Ableiten) по таблице. Можно было бы сказать, что он здесь

пользуется вместо первой схемы "86 второй схемой.

И этот случай все еще был бы воспроизведением по таблице, пусть и не с прямой, а со смещенной схемой"правилом.

А представим, что он не придерживается какого-то единого способа транскрибирования, а меняет его по следующему простому правилу. Записав однажды А как п, он следующее А запишет как о, следующее как р и

т.д. Так где же граница между этой процедурой и случайной?

Разве же это не означает, что слово "воспроизводить" тут, по сути, теряет значение, ибо оказывается, что при его разъяснении оно расползается в ничто.

164. В случае (162) значение слова "воспроизводить" было понятно для нас. Но мы тогда сказали себе, что это всего лишь совершенно особый случай воспроизведения, его весьма

необычное облачение; необходимо это облачение снять, если мы хотим познать сущность воспроизведения. И вот мы сняли с него этот особый покров, но при этом исчезло само воспроизведение. Для того чтобы добраться до настоящего артишока, мы ободрали с него все листья. Ибо пример (162), безусловно, был особым случаем воспроизведения, но сущность воспроизведения не скрывалась за внешними проявлениями данного случая, а само это "внешнее" принадлежало к семейству случаев воспроизведения.

И слово "читать" мы также употребляем применительно к семейству случаев. А при различных обстоятельствах употребляем различные критерии того, что некто читает.

165. Но все-таки чтение так и хочется сказать совершенно особый процесс! Прочти страницу печатного текста, и ты сможешь в этом убедиться; здесь происходит что-то особенное, что-то весьма характерное. Так что же происходит, когда я читаю? Я вижу напечатанные слова и произношу

слова. Но это, естественно, не все, ибо я мог бы видеть напечатанные слова и произносить слова, однако это все же не было бы чтением. Как не было бы и в том случае, если бы я произносил именно те слова, которые по правилам принятого алфавита полагается считывать с данного печатного текста. Если же ты говоришь, что чтение определенное переживание, то совершенно неважно, соблюдаешь ли ты при этом общепринятые правила алфавита или нет. В чем же состоит тогда характерное переживание при чтении?

Напрашивается ответ:
"Произносимые мною слова
явлены мне особым образом". То
есть они приходят не так, как это
было бы, если бы я придумывал их.
Они следуют сами собой. Но и
этого недостаточно; ведь при виде
напечатанного слова мне может
представляться его звучание, но
это еще не значит, что я прочел его.
К этому я мог бы еще добавить,
что звучания слов возникают в
моем сознании не так, как если бы
мне что-то напоминало о них. Я
бы не сказал, например, что
печатное слово "ничто" всегда
напоминает мне о звучании

"ничто". Происходит иное: при чтении звучание слов как бы прокрадывается в мое сознание. В самом деле, стоит мне увидеть немецкое печатное слово, как возникает особый процесс: я внутренне слышу его звучание.

166. Я бы сказал, что при чтении произносимые слова возникают в сознании "особым образом" _.

Но каким образом? Не плод ли это нашего воображения? Приглядимся к отдельным буквам и обратим внимание на то, каким

образом на ум приходит звучание этой буквы. Прочитай букву А. Как же пришел звук? Мы не в состоянии что-либо сказать об этом. Ну, а напиши строчное латинское а! Как пришло к тебе движение руки при письме? Иначе, чем звук в первом опыте? Глядя на печатную букву, я изобразил письменную букву. Вот и все, что я знаю. Ну, а взгляни на

знак \$\$\$, и пусть при этом тебе придет в голову какой-нибудь звук; произнеси его. Мне пришел на ум звук "Y", но я бы не сказал, что в способе появления этого звука

было какое-то существенное отличие. Отличие заключалось в несколько иной ситуации. Я заранее сказал себе: пусть в моем сознании возникает некий звук. Прежде чем этот звук пришел, я испытал определенное напряжение. Причем при произнесении звука "Y" у меня не было того автоматизма, как при взгляде на букву Y. Этот знак не был мне знаком, как знакомы буквы. Я разглядывал его как бы с напряжением, с определенным интересом к его форме. Я думал при этом о перевернутой сигме. Ну, а представь себе, что тебе

нужно пользоваться этим знаком регулярно, как буквой. И вот ты привыкаешь при виде его произносить определенный звук, например звук "ш". Надо ли говорить, что по истечении некоторого времени этот звук будет автоматически возникать в твоём сознании при виде этого знака? То есть я перестану, увидев его, спрашивать себя "Что это за буква?"; не буду, конечно, и мысленно говорить "Этот знак побуждает меня произнести звук "ш""; или: "Этот знак чем-то напоминает мне звук "ш"".

(Сравни с этим представление о том, что образы памяти отличаются от других мысленных образов какими-то особыми чертами.)

167. Ну, а как быть с предложением, гласящим, что чтение "вполне определенный процесс"? Вероятно, это должно означать, что при чтении имеет место один определенный, узнаваемый нами процесс. Но если я первый раз читаю предложение в печатном тексте, а второй раз записанным азбукой

Морзе, то действительно ли при этом выявляется один и тот же умственный процесс? С другой стороны, безусловно, существует единообразие в опыте чтения печатной страницы. Ибо этот процесс действительно единообразен. И его так легко отличить, например, от такого, в котором слова при взгляде на них представляются какими-то произвольными штрихами. Ведь уже сам по себе вид печатной строки столь характерен, то есть имеет совершенно особый облик: все буквы в ней приблизительно одной высоты и сходны по форме;

они постоянно повторяются. То и дело повторяются и слова, и они нам довольно известны, как лица хорошо знакомых людей. Вспомни о неудобствах, испытываемых нами, когда меняется правописание слов (или о еще более сильных переживаниях, когда встает вопрос о способе записи слов). Безусловно, не всякая знаковая форма глубоко запечатлена в нас. Знаки, например, в алгебре логики могут быть заменены любыми другими, и мы не станем глубоко переживать это.

Задумайся над тем, что зрительный образ слова столь же привычен для нас, как и слуховой.

168. Печатную строку взгляд и пробегает иначе, чем ряд произвольных крючков и завитушек. (Но я говорю здесь не о том, что можно установить наблюдением за движением глаз читающего.) Взгляд, можно сказать, пробегает строку без особого сопротивления, нигде не застревая и вместе с тем не соскальзывая с нее. При этом происходит и непроизвольное

внутреннее проговаривание. Это наблюдается при чтении по-немецки или на другом языке печатных или рукописных текстов независимо от формы шрифта. Но что из всего этого существенно для чтения как такового? Нет ни одной черты, которая была бы общей всем видам чтения! (Сравни с процессом чтения обычного печатного текста чтение слов, напечатанных одними заглавными буквами, как иногда даются ответы на загадки. Как отличается этот процесс! Или же чтение нашего письма справа налево.)

169. А разве в процессе чтения мы не испытываем какого-то воздействия графических образов слов на то, как мы их проговариваем? Прочти какое-нибудь предложение! А затем посмотри этот ряд:

&8" | " | ? "% 8! "" *

и произнеси при этом какое-то предложение. Разве не чувствуется, что в первом случае высказывание было связано с видом знаков, во втором же оно проходило вне

такой связи, параллельно видению знаков?

Но почему ты говоришь, что мы испытываем некое причинное воздействие? Причинность это то, что устанавливается в эксперименте, скажем когда наблюдается регулярное совпадение процессов. Как же в таком случае можно заявлять, что чувствуешь то, что устанавливается опытом? (Правда, причинность устанавливается не только путем наблюдения регулярных совпадений.) Уж скорее, можно было бы сказать: я чувствую, что

буквы служат основанием того, почему я читаю таким образом. Ведь если бы меня кто-то спросил: "Почему ты читаешь так?" то я бы оправдал это ссылкой на имеющиеся буквы.

Но что значит чувствовать это основание для высказанного или мыслимого? Я сказал бы: при чтении я чувствую какое-то влияние на меня букв но не влияние ряда завитушек произвольной формы на то, что я говорю. Сравним еще раз отдельную букву с такой загогулиной. Стал бы я говорить,

что чувствую влияние "i", читая эту букву? Конечно, есть разница между тем, произношу ли я звук i, глядя на букву "i", или же произношу тот же звук, глядя на знак "i". Различие состоит, например, в том, что при виде буквы в моем внутреннем слухе автоматически, даже вопреки моей воле возникает ее звучание; при прочтении же этой буквы вслух она произносится с куда меньшим усилием, чем при взгляде на знак "i". То есть так обстоит дело, когда я провожу эксперимент, а, конечно, не тогда, когда, произнося какое-то

слово, в котором имеется звук *i*, я случайно взгляну на знак ""

170. Ведь нам никогда не пришло бы в голову думать о том, что мы чувствовали влияние букв на нас при чтении, если бы мы не сравнивали букв с произвольными штрихами. А здесь мы в самом деле замечаем некоторое различие. И мы интерпретируем это различие как присутствие влияния или же отсутствие такового.

Причем к этой интерпретации мы особенно склонны при

намеренно медленном чтении скажем, с целью понять, что происходит, когда мы читаем. Когда мы, так сказать, совершенно сознательно позволяем буквам нас вести. Но это "позволять себя вести" состоит опять-таки только в том, что я пристально вглядываюсь в буквы возможно, стараясь исключить иного рода мысли.

Нам представляется, будто с помощью некоего чувства мы воспринимаем как бы связующий механизм между зрительным образом слова и звуком, который

мы произносим. Ибо если я говорю о переживании влияния, о причинной связи, о том, что текст меня ведет, то все это должно означать, что я как бы ощущаю движение рычага, связывающего облик буквы с ее произнесением.

171. То переживание, которое возникает у меня при чтении слова, я мог бы передать словами на разные лады.

Так, я мог бы сказать, что написанное внушает мне звук. А мог бы выразиться и так: буква и

звук при чтении образуют единство как бы сплав. (Подобным же образом сливаются, например, лица знаменитых людей и звучание их имен. Нам представляется, будто это имя единственно верно выражает это лицо.) Чувствуя это единство, можно сказать: я вижу или слышу звучание в написанном слове.

Ну, а теперь прочти несколько печатных предложений, как ты это обычно делаешь, когда не думаешь о понятии чтения, и поинтересуйся, испытал ли ты при этом такое ощущение единства,

влияния и т.д. Не говори, что ты испытал их неосознанно! И да не собьет нас с толку образное выражение: "при ближайшем рассмотрении" эти явления обнаруживаются! Если я должен описать, как предмет выглядит издалека, то это описание не станет точнее, если я расскажу о том, что в нем можно заметить вблизи.

172. Задумаемся о том, что мы испытываем, когда приходится "быть ведомыми"! Спросим себя, что мы переживаем, когда, например, бывает задано

направление нашего движения.
Представь себе следующие случаи:

Ты находишься на игровом поле с завязанными глазами, и кто-то ведет тебя за руку то вправо, то влево; ты всегда должен быть готов воспринять направляющее движение его руки и быть внимательным, чтобы не споткнуться при неожиданном повороте.

Или же: кто-то с силой тянет тебя за руку, заставляя идти туда, куда ты не хочешь.

Или: в танце тебя ведет партнер; ты стараешься стать максимально восприимчивым, чтобы угадывать его намерения и тем самым избегать малейшего принуждения.

Или: кто-то взял тебя с собой на прогулку; вы беседуете, и ты идешь туда, куда идет он.

Или: ты идешь полевой дорогой, позволяя ей себя вести.

Все эти ситуации схожи одна с другой; но что общего во всех

сопутствующих им переживаниях?

Часть 6.

173. "Но быть ведомым это же и есть определенное переживание!"
Ответ на это: ты думаешь сейчас об особом переживании "быть ведомым".

Желая воссоздать переживание человека, чьи действия при переписывании как в одном из ранее приведенных примеров, направлялись печатным текстом

или же таблицей, я представляю себе "добросовестный" вид и т.д. При этом я придаю своему лицу особое выражение (скажем, добросовестного бухгалтера). В этом образе очень существенна, например, тщательность, в другом было бы важно полное исключение собственной воли. (Ну, а представь себе, что некий субъект с выражением внимания а почему бы и не с переживанием? выполняет то, что обычно люди делают, не выказывая признаков внимания. Но внимателен ли он? Представь себе, скажем, лакея, с показным усердием роняющего

под ноги поднос со всем содержимым. Если я представляю себе какое-то особое переживание такого рода, то мне кажется, что существует и такое переживание, как "быть ведомым" (скажем, чтение). Но я тут же спрашиваю себя: что ты делаешь? Ты смотришь на каждый знак, твое лицо приобретает такое выражение, ты внимательно выписываешь буквы (и т.п.). Так это и есть переживание "быть ведомым"? Тут напрашивается ответ: "Нет, это не оно. То переживание нечто более внутреннее, более существенное".

Кажется, будто сначала все эти, в общем-то, незначительные процессы были как бы окутаны особой аурой; я всмотрелся в них, и эта аура рассеялась.

174. Поинтересуйся, каким образом ты "обдуманно" чертишь линию, параллельную данной, а в другой раз, обдуманно, под углом к ней? В чем состоит переживание обдумывания? Здесь тебе сразу же приходят в голову особое выражение лица, поза и как бы тянет сказать: "Это и есть особое внутреннее переживание". (Но

ведь этим ты ничего не добавил к сказанному раньше.)

(Здесь имеется взаимосвязь с проблемой природы намерения, волевого акта.)

175. Изобрази на бумаге произвольную загогулину. А теперь копируй ее, пусть она тебя направляет. Я бы сказал: "Верно! Я здесь в роли ведомого. Но произошло ли при этом нечто характерное, специфическое? Стоит мне рассказать, что

произошло, как оно уже не кажется мне характерным".

Ну, а теперь заметь вот что. Пока я являюсь ведомым, все очень просто, я не замечаю ничего особенного. Но после, когда я спрашиваю себя, что же произошло, оно мне представляется чем-то не поддающимся описанию. После этого я не удовлетворяюсь никаким описанием. Мне словно не верится, что я просто смотрел, с таким вот выражением лица проводил линию. Но тогда, может быть, я вспоминаю о чем-то

другом? Нет. И все же мне кажется, что должно было быть и еще что-то; особенно я чувствую это тогда, когда плюс ко всему подсказываю себе такие слова, как вести, влияние и т.п. "Но я же был ведом", говорю я себе. Тут-то и возникает представление о некоем эфемерном, неуловимом влиянии.

176. Когда я ретроспективно думаю об этом переживании, у меня возникает такое чувство, что для него существенно "переживание некоего влияния", связи явлений в противоположность их простой

одновременности. Но при всем том мне бы не хотелось любое проявление внутреннего опыта называть "переживанием влияния". (Здесь корни идеи: воля не есть явление.) Так и хочется сказать: я испытывал "потому что"; и все-таки не в состоянии назвать ни одного проявления этого "потому" что "переживания".

177. Я бы сказал: "Я переживаю "потому что" (das Weil)". Но не потому, что помню об этом переживании, а потому, что, думая ретроспективно о пережитом в том случае, я смотрю на это

опосредованно, через понятие "потому что" (или "влияние", или "причина", или "связь"). Ведь правильно же утверждение, что я прочертил эту линию под влиянием образца: но это заключается не просто в том, что я испытывал, чертя линию, а в обстоятельствах, в том, например, что я чертил ее параллельно другой. Хотя и это, в общем-то, несущественно для такого переживания, как "быть ведомым".

178. Мы говорим также: "Ты же видишь, что это направляет меня", а что видит тот, кто это видит?

Говоря самому себе: "Но ведь я управляю я могу жестом руки выражать это "управление" (das Führen)". Сделай подобный жест рукой, как если бы ты вел кого-нибудь, и полюбопытствуй, в чем состоит направляющий характер этого движения. Ведь ты при этом никого не вел. И, несмотря на это, тебе хочется назвать это движение "направляющим". Следовательно, ни в этом движении, ни в этом переживании не заключалась сущность "управления", и тем не менее что-то побуждает тебя использовать данное обозначение.

И тем, что навязывает нам это выражение, служит именно впечатление от единой формы проявления управления.

179. Вернемся к нашему случаю (151). Ясно, что мы не могли бы сказать, что В был вправе произнести слова "Теперь я знаю, как продолжить", поскольку ему в голову пришла формула ряда чисел, если бы не была установлена эмпирическая связь между возникновением в его сознании формулы (ее проговариванием, записью) и действительным продолжением

ряда. А такая связь явно существует. Так что можно было бы считать, что предложение "Я могу продолжить ряд" равнозначно предложению "Я испытываю переживание, которое, в соответствии с опытом, ведет меня к продолжению ряда". Но это ли имеет в виду В, говоря, что может продолжить ряд? Возникает ли у него в сознании это предложение или же он готов произвести его для объяснения того, что он имеет в виду?

Вовсе нет. Слова "Теперь я знаю, как продолжить" были правильно

употреблены, когда В пришла в голову формула ряда; то есть при определенных обстоятельствах. Например, если он изучал алгебру, то ранее уже пользовался такими формулами. Но это не значит, что приведенное высказывание всего лишь сокращение для описания совокупности обстоятельств, образующих сценическую площадку нашей языковой игры. Подумай о том, как мы учимся применять выражения "Теперь я знаю, как продолжить", "Теперь я знаю, что следует делать" и т.д.; в каком семействе языковых игр мы овладеваем их употреблением.

Мы можем также представить себе случай, когда в сознании В вообще ничего другого не происходит, кроме того, что он внезапно говорит "Теперь я знаю, как продолжить" возможно, с чувством облегчения; и что он при этом действительно продолжает ряд, не пользуясь формулой. Мы бы и в этом случае при определенных обстоятельствах сказали, что он понял, как продолжить ряд.

180. Вот как употребляются эти слова. В последнем случае,

например, назвать слова В "описанием душевного состояния" было бы совершенно ошибочно. Скорее уж, их можно было бы назвать "сигналом", а правильно ли он употреблен, мы судили бы по тому, что В делает дальше.

181. Чтобы это понять, мы должны рассмотреть также следующую ситуацию: предположим, В говорит, что он знает, как продолжить ряд, но, пытаясь продолжить, колеблется и не в состоянии сделать это. Должны ли мы в таком случае сказать: он был не прав, говоря,

что может продолжать ряд, или же: тогда он мог это сделать, а сейчас нет? Ясно, что в различных ситуациях мы говорим разные вещи. (Рассмотрим оба вида случаев.)

182. Грамматика слов "подходить", "мочь" и "понимать".
Задания: 1) Когда говорят, что цилиндр Z подходит к пустотелому цилиндру H ? Только ли тогда, когда Z входит в H ? 2) Иногда говорят, что Z в такое-то и такое время перестал подходить к H . Какими критериями пользуются в таком случае для определения

того, что в такое время это случилось? 3) Что мы будем считать критерием того, что тело изменило свой вес за определенное время, если оно тогда не лежало на весах? 4) Вчера я знал стихотворение наизусть; сегодня я его уже не знаю. В каких случаях вопрос "Когда я перестал его знать наизусть?" имеет смысл? 5) Кто-то спрашивает меня: "Можешь ли ты поднять эту тяжесть?" Я отвечаю "Да". А когда он говорит мне "Подними!" я не могу этого сделать. При каких обстоятельствах мое оправдание: "Отвечая "Да", я мог это сделать, а

вот сейчас не могу" могло бы быть сочтено достаточным?

Критерии правильности применения слов "подходить", "мочь", "понимать" значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. То есть игра с этими словами, их употребление в языковом общении, осуществляемом с их помощью, были запутанны роль этих слов в нашем языке иная, чем мы склонны полагать.

(Чтобы разрешить философские парадоксы, мы должны понять именно эту роль. Дефиниции же для этого, как правило, недостаточно; утверждения же, что слово вообще "неопределимо", тем паче.)

183. Ну, а что означает предложение "Теперь я могу продолжить" (151) то же ли самое, что и предложение "Теперь мне в голову пришла формула", или же что-то другое? Можно сказать, что при таких обстоятельствах одно предложение имеет тот же смысл

(делает то же самое), что и другое. Однако следовало бы добавить, что вообще эти два предложения имеют неодинаковый смысл. Мы же говорим: "Теперь я могу продолжить, думаю, что я знаю формулу"; так же как говорим: "Я могу пройтись, то есть у меня есть время"; или же: "Я могу прогуляться, то есть я уже достаточно окреп"; или же: "Что касается моей ноги, то я в состоянии прогуляться". Мы говорим так, противопоставляя это условие моей прогулки другим условиям. Но здесь следует остеречься представления, будто

существует некоторая
совокупность условий,
соответствующих природе каждого
случая (например, прогулки
человека), то есть такая
совокупность условий, что, будь
все они выполнены, ему как бы не
останется другого выбора, кроме
как пойти гулять.

184. Я хочу вспомнить мелодию,
а она ускользает от меня; вдруг я
говорю: "Теперь я знаю ее!" и
начинаю напевать. Как произошло,
что я вдруг вспомнил ее? Конечно,
она не могла прийти мне в голову в
тот момент вся целиком! Ты,

пожалуй, скажешь: "Это особое чувство, как если бы она сейчас звучала тут", но разве она звучит в действительности? А что, если я начал ее петь и не смог продолжить? Но разве я не мог в тот момент быть уверенным, что знаю ее? Следовательно, в каком-то смысле она все-таки была тут! Но в каком смысле? Ты бы сказал, что мелодия присутствует тут, когда кто-то в состоянии ее пропеть от начала до конца, или же она во всей полноте ее звучания воспринимается его внутренним слухом. Я ведь не отрицаю, что высказыванию о присутствии

мелодии здесь можно придать и совершенно другой смысл например, истолковать это в том смысле, что я располагаю листком бумаги, на котором она записана. А в чем состоит тогда "уверенность" человека, что он ее знает? Конечно, можно сказать: если кто-нибудь говорит убежденно, что теперь он знает мелодию, то в этот момент она (каким-то образом) пребывает у него в душе а это объяснение слов: "Мелодия присутствует у него в душе во всей своей полноте".

185. Вернемся к нашему примеру (143). Ученик тут же овладел судя по обычным критериям рядом натуральных чисел. Теперь мы учим его записывать другие ряды количественных числительных и доводим наше обучение до того, что он, например, по заданию, имеющему форму " n ", записывает такого рода ряд:

$0, n, 2n, 3n$ и т.д.,

а по заданию " 1 " записывает натуральный ряд чисел.

Предположим, что наши упражнения и контрольные работы проводятся в числовом интервале от 0 до 1000.

Теперь мы просим учащегося продолжить ряд за тысячу (скажем, по команде ""2") а он записывает: 1000, 1004, 1008, 1012.

Мы говорим ему: "Посмотри, что ты делаешь!" Он нас не понимает. Мы говорим: "Ты должен прибавлять "два": смотри, как ты начал ряд!" Он отвечает: "Да! А разве это неверно? Я думал,

что нужно делать так". Или же представь себе, что он сказал, указывая на ряд: "Но ведь я действовал здесь точно так же". Было бы бесполезно говорить ему: "Разве ты не видишь...?" и повторять при этом старые пояснения и примеры. В таком случае мы могли бы сказать: этому человеку по природе свойственно понимать наше задание и наши пояснения так, как мы понимаем задание: "До 1000 всегда прибавляй 2, до 2000 4, до 3000 6 и т.д."

Этот случай сходен с тем, когда человек естественно реагирует на указующий жест руки, глядя не в направлении указательного пальца, а в обратном направлении от пальца к запястью руки.

186. -тогда то, что ты говоришь, сводится к следующему: для правильного выполнения задания ""n" на каждом шагу требуется новый инсайт интуиция". Для правильного выполнения! А как же решить, какой шаг является правильным в определенный момент? "Правилен тот шаг,

который соответствует заданию как оно было задумано". Итак, давая задание "'2", ты имел в виду, что ученик должен после 1000 написать 1002, подразумевал ли ты также, что после 1866 он должен написать 1868, после 100034 100036 и т.д. то есть мыслил бесконечное число предложений? "Нет. Я имел в виду, что после каждого записанного числа нужно записывать не ближайшее к нему по порядку число натурального ряда, а следующее за этим. А отсюда, соответственно их месту, следуют все те [конкретные] предложения". Но вопрос как раз и

закljučается в том, что следует из такого предложения в той или иной позиции. Или же что в той или иной позиции следует называть "соответствием" этому предложению (и тому значению, каким ты его наделил, в чем бы это возможное значение ни состояло). Едва ли правильнее было бы сказать, что на каждом шагу требуется не интуиция, а новое решение.

187. "Но, давая задание, я уже знал, что после 1000 должно быть записано 1002!" Конечно, и ты даже можешь сказать, что тогда

подразумевал это. Не надо лишь позволять, чтобы грамматика слов "знать" и "предполагать" вводила тебя в заблуждение. Ведь ты же не имеешь в виду, что думал тогда конкретно о переходе от 1000 к 1002, а если ты и думал об этом переходе, то ведь не думал о других. Твое "Я уже тогда знал..." означает приблизительно следующее: "Если бы у меня тогда спросили, какое число должно следовать за 1000, я бы ответил: 1002". И я не сомневаюсь в этом. Данное допущение примерно того же типа, что это: "Если бы он тогда упал в воду, я бы бросился за

ним". Так в чем же ошибочно твое представление?

188. Тут я прежде всего сказал бы: тебе представилось, будто в самом акте осмысления задания уже были каким-то образом осуществлены все шаги: что твое сознание при этом осмыслении как бы унеслось вперед и проделало все переходы еще до того, как ты физически подошел к тому или другому из них.

То есть ты был склонен
воспользоваться вот таким

высказыванием, как: "Переходы по сути уже были выполнены еще до того, как я их совершил письменно, устно или мысленно". И казалось, будто они каким-то совершенно особым образом как бы предопределены, предвосхищены как способен предвосхищать действительность только акт осмысления (das Meinen).

189. "Но разве переходы от числа к числу не определяются алгебраической формулой?" В самом этом вопросе кроется ошибка.

Мы употребляем выражение: "Переходы определяются формулой..." Как оно используется? Например, можно говорить о том, что люди путем образования (тренировки) приобретают умение пользоваться формулой $y = x^2$ так, что, подставляя одинаковое число на место x , все они всегда получают при вычислении одно и то же число для y . Или же можно сказать: "Эти люди обучены таким образом, что по заданию ""3"" в одинаковой позиции все они выполняют один и тот же переход.

Это можно было бы выразить так: задание ""3"" полностью определяет для этих людей любой переход от одного числа к другому, следующему за ним". (В отличие от других людей, которые, получив такое задание, не знают, что делать; или же тех, кто реагирует на него вполне уверенно, но каждый по-своему.)

С другой стороны, можно противопоставить друг другу различные типы формул и характерные для них различные типы использования (прикладного применения). При этом некоторого

рода формулы (и способы их применения) мы называем "формулами, определяющими число y для данного x ", а формулы другого рода "формулами, не определяющими число y для данного x ". (Формула $y = x^2$ была бы тогда формулой первого рода, а $y \mid x^2$ второго.) Предложение "Формула... определяет число y " является в таком случае высказыванием о типе формулы и тогда необходимо отличать, скажем, такое предложение: "Формула, которую я записал, определяет y " или же "Вот формула, которая определяет y " от

предложений типа: "Формула $y = x^2$ определяет число y для данного x ". В таком случае вопрос "Определяется ли y данной формулой?" равнозначен вопросу "Принадлежит ли данная формула к формулам первого или второго типа?" Но неясно, что делать с вопросом "Является ли формула $y = x^2$ формулой, определяющей y для данного x ?". Ну, скажем, этот вопрос можно задать ученику, проверяя, понимает ли он употребление слова "определять". Или же он мог бы быть математическим заданием:

доказать, что в некоторой системе X имеет только один квадрат.

190. И все же можно сказать: - то, как осмысливается формула, и определяет, какие переходы должны осуществляться". Каков же критерий того, что имеет в виду формула? Таким критерием служит, например, способ ее постоянного употребления, способ, каким нас обучили ею пользоваться.

Например, кому-то, использующему неизвестный нам

знак, мы говорим: если под " x^2 " ты имеешь в виду x^2 , то у получит это значение, если же $2x$, у обретает то значение". Теперь спроси себя: как человек это делает подразумевая под x^2 одно или другое?

Так предполагаемое значение предопределяет переходы в ряду.

191. "Представляется, будто мы можем разом схватить всё употребление слова". Как что, например? Разве в определенном смысле его невозможно постичь

разом? А в каком смысле ты этого не можешь? В том смысле, который как бы подразумевает возможность еще более непосредственного "моментального понимания". Но есть ли у тебя какой-нибудь образец этого? Нет. Свои услуги нам предлагает самим лишь этот способ выражения. Как определенный итог взаимопересечения картин.

192. У тебя нет модели для этого сверх"факта, но возникает искушение прибегнуть к сверх"выражению. (Его можно

было бы назвать философским супер"выражением.)

193. Машина как символ ее способа действия. Машина это можно сказать о ней прежде всего кажется нам чем-то таким, что уже несет в себе свой образ действия. Что это значит? Если мы знаем машину, все остальное, то есть движение, которое она будет производить, кажется нам уже всецело определенным.

Мы говорим так, как если бы детали могли двигаться только

таким образом и не могли бы делать ничего иного. Но так ли это? Неужели мы забыли о том, что они могут погнуться, сломаться, расплавиться и т.д.? Да, во многих случаях мы совсем не думаем об этом. Мы пользуемся машиной или ее чертежом как символом определенного образа действий. Так, мы даем кому-нибудь чертеж машины и предполагаем, что из него он выведет движение ее частей. (Так же как можно сообщить кому-нибудь число, сказав, что оно является двадцать пятым членом ряда $1, 4, 9, 16, \dots$)

"Кажется, что машина уже заключает в себе свой образ действия". Эта фраза означает: мы склонны сравнивать будущие движения машины по их определенности с предметами, которые уже лежат в ящике, и теперь мы извлекаем их оттуда. Но мы не говорим так, когда речь идет о предсказании действительного поведения машины. Здесь, как правило, мы не забываем о возможности деформации деталей и т.п. Говорим же мы в таком роде, когда поражаемся тому, что машину можно использовать в качестве символа определенного

типа движения, хотя она может двигаться совершенно по-другому.

Можно сказать, что машина или ее картина дают начало целой серии картин, которые мы научились выводить из данной картины.

Но когда мы размышляем о том, что машина могла бы двигаться и иначе, то может показаться, что в машине как символу виды ее движений должны быть заложены с гораздо большей определенностью, чем в

действительных машинах. Как будто для движений, о которых идет речь, недостаточно, чтобы их последовательность определялась, предсказывалась эмпирически. В некоем таинственном смысле эти движения действительно должны уже присутствовать. И конечно же, верно: движение машины"символа предопределено иначе, чем движение любой реально существующей машины.

194. Когда же возникает мысль: возможные движения машины неким таинственным образом уже заключены в ней? Ну, когда

человек философствует. Что же побуждает нас так думать? Тот способ, каким мы говорим о машинах. Мы говорим, например, что машина имеет (обладает) такие-то возможности движения; мы говорим об идеально стабильной машине, которая может двигаться только так. Что же это такое возможность движения? Это не движение. Но она не представляется нам и чисто физическим условием движения скажем, наличием некоторого зазора между шипом и гнездом, чтобы шип не слишком плотно входил в гнездо. Да, это

эмпирическое условие движения, однако предметы можно представить себе и иначе. Возможность движения, скорее уж, должна быть как бы тенью самого движения. А известна ли тебе какая-нибудь тень подобного рода? Но, говоря о тени, я не имею в виду какую-то картину движения ведь такая картина вовсе не обязана была бы быть картиной именно данного движения. Возможность же этого движения должна быть возможностью именно этого движения. (Посмотри"ка, как бушует здесь море нашего языка!)

Волны утихают, стоит нам только спросить себя: как мы пользуемся словами "возможность движения", говоря о какой-то машине? Но откуда приходят тогда эти странные представления? Так ведь я же показываю тебе возможность движения, например, с помощью какой-нибудь картины движения: "Значит, возможность есть нечто, подобное действительности". Мы говорим: "Это еще не движется, но уже имеет возможность двигаться", "следовательно, возможность есть нечто такое, что очень близко действительности". Хотя можно

сомневаться в том, делают ли такие-то физические условия возможным это движение, но мы никогда не дискутируем о том, является ли это возможностью этого или того движения: -таким образом, возможность движения находится в совершенно особом отношении к самому движению более тесном, чем отношение картины к изображаемому, ибо в случае с картиной можно сомневаться, является ли она изображением этого или того". Мы говорим: "Опыт покажет, дает ли это шипу возможность движения". Но не говорим: "Опыт покажет,

является ли это возможностью этого движения". "Значит, то, что эта возможность возможность именно этого движения, не является фактом опыта".

В связи с этим сюжетом мы вдумываемся в наш собственный способ выражения, но не понимаем, неверно истолковываем его. Философствуя, мы уподобляемся дикарям, примитивным людям, которые слышат выражения цивилизованных людей, дают им неверное толкование и затем извлекают из своего толкования

пространные выводы из своих толкований.

195. "Но я имею в виду не то, что происходящее со мною сейчас (в момент уяснения смысла) каузально и эмпирически определяет будущее употребление, а что некоторым странным образом само это употребление в каком-то смысле уже присутствует". Но ведь "в каком-то смысле" это так! По сути дела, в том, что ты говоришь, неверно лишь выражение "странным образом". Все остальное верно; странным же предложение

кажется лишь тогда, когда его представляют себе в другой языковой игре, не в той, где оно фактически употребляется. (Кто-то рассказывал мне, что ребенком он ломал голову над тем, как это портной может сшить платье. Он думал, что это подразумевает, будто платье создается только шитьем, нитка пришивается к нитке.)

196. Непонятное употребление слова превратно истолковывается как выражение странного процесса. (Так, мы думаем о

времени как о странной среде, а о душе как о странной сущности.)

197. "Представляется, будто мы можем разом схватить всё употребление слова". Да мы и говорим, что делаем это. То есть иногда описываем то, что делаем, именно этими словами. Однако в том, что происходит, нет ничего поразительного, ничего странного. Станным это становится в том случае, когда склоняет нас к мысли, что будущее развертывание уже каким-то образом должно присутствовать, а между тем не присутствует в акте понимания.

Говорим же мы, нисколько не сомневаясь, что понимаем это слово, а между тем его значение заключено в его употреблении. Несомненно, что я сейчас хочу играть в шахматы; но игра становится именно шахматной игрой благодаря всем ее правилам (и т.д.). Так что же, выходит, я не знаю, во что собираюсь играть, до тех пор пока не сыграю? Или же: неужели в моем акте намерения содержались все правила игры? Разве о том, что за этим интенциональным актом обычно следует такого рода игра, я узнаю лишь из опыта? Что же, выходит,

можно быть неуверенным в том, что намереваешься делать? А если это нонсенс то какого рода сверхсильная связь существует между актом намерения и тем, что мы намерены делать? Где осуществляется связь между смыслом слов "Сыграем партию в шахматы!" и всеми правилами игры? Ну, в перечне правил игры, при обучении игре в шахматы, в ежедневной практике игры.

198. "Но как может какое-то правило подсказать мне, что нужно делать в данный момент игры? Ведь, что бы я ни делал,

всегда можно с помощью той или иной интерпретации как-то согласовать это с таким правилом". Да речь должна идти не об этом, а вот о чем: все же любая интерпретация повисает в воздухе вместе с интерпретируемым; она не в состоянии служить ему опорой. Не интерпретации как таковые определяют значение.

"Выходит, что бы я ни сделал, все согласуемо с таким правилом?"
Позволь поставить вопрос так:
"Как возможно, чтобы определенное выражение правила

скажем, дорожный знак влияло на мои действия? Какая связь имеет здесь место?" Да хотя бы такая: я приучен особым образом реагировать на этот знак и теперь реагирую на него именно так.

Но этим ты задал лишь причинную связь, лишь объяснение, как получилось, что наши движения теперь подчинены дорожным указателям. О том же, в чем, собственно, состоит это следование "указаниям" знака, ты ничего не сказал. Ну как же, я отметил еще и то, что движение человека регулируется дорожными

указателями лишь постольку, поскольку существует регулярное их употребление, практика.

199. Является ли то, что мы называем "следованием правилу", чем-то таким, что мог бы совершить лишь один человек, и только раз в жизни? А это, конечно, замечание о грамматике выражения "следовать правилу".

Невозможно, чтобы правилу следовал только один человек, и всего лишь однажды. Не может быть, чтобы лишь однажды

делалось сообщение, давалось или понималось задание и т.д. Следовать правилу, делать сообщение, давать задание, играть партию в шахматы все это практики (применения, институты).

Понимать предложение значит понимать язык. Понимать язык значит владеть некой техникой.

200. Конечно, можно представить себе, что в некоем племени, незнакомом с играми, два человека сели бы за

шахматную доску и начали делать ходы в какой-то шахматной игре; причем с соответствующими проявлениями. Увидев это, мы сказали бы, что они играют в шахматы. Ну, а представь себе шахматную партию, переведенную по определенным правилам в ряд действий, обычно не ассоциируемых с игрой, например, выкрики, топание ногами. И допустим, эти двое, вместо того чтобы играть в обычные шахматы, кричат и топают ногами, причем так, что эти действия переводимы по соответствующим правилам в шахматную партию. Разве мы и в

этом случае все еще склонны были бы говорить, что они играют в какую-то игру; и что давало бы нам право так говорить?

201. Наш парадокс был таким: ни один образ действий не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было бы ни соответствия, ни противоречия.

Мы здесь сталкиваемся с определенным непониманием, и это видно уже из того, что по ходу рассуждения выдвигались одна за другой разные интерпретации, словно любая из них удовлетворяла нас лишь на то время, пока в голову не приходила другая, сменявшая прежнюю. А это свидетельствует о том, что существует такое понимание правила, которое является не интерпретацией, а обнаруживается в том, что мы называем "следованием правилу" и

"действием вопреки" правилу в реальных случаях его применения.

Вот почему мы склонны говорить: каждое действие по правилу интерпретация. Но "интерпретацией" следовало бы называть лишь замену одного выражения правила другим.

202. Стало быть, "следование правилу" некая практика. Полагать же, что следуешь правилу, не значит следовать правилу. Выходит, правилу нельзя следовать лишь "приватно"; иначе думать, что

следуешь правилу, и следовать правилу было бы одним и тем же.

203. Язык это лабиринт путей. Тыходишь с одной стороны и знаешь, где выход; пододя же к тому самому месту с другой стороны, ты уже не знаешь выхода.

204. Так, при определенных обстоятельствах можно изобрести игру, в которую никто никогда не играл. А возможно ли такое: изобрести игру, в которую никто никогда не играл, при том, что

человечество никогда не играло ни в какие игры?

205. "В связи с намерением как психическим процессом вызывает удивление именно то, что для него не является необходимым наличие практики, техники. Что можно представить себе ситуацию, когда в некоем мире, где в других случаях никто никогда не играл, скажем, два человека собирались бы разыграть шахматную партию, и что они уже вот"вот должны к ней приступить но тут их прерывают".

Но разве шахматная игра не определяется ее правилами? А каким образом эти правила присутствуют в сознании того, кто намеревается играть в шахматы?

206. Между следованием правилу и подчинением приказу существует аналогия. Мы обучены следовать приказу и реагируем на него соответствующим образом. Ну, а что, если один человек реагирует на приказ и обучение так, а другой иначе? Кто из них прав?

Представь, что в качестве исследователя ты приезжаешь в неизвестную страну, язык которой тебе совершенно незнаком. При каких обстоятельствах ты бы сказал, что люди там отдают приказы, понимают их, подчиняются им, противятся им и т.д.?

Совместное поведение людей вот та референтная система, с помощью которой мы интерпретируем незнакомый язык.

Часть 7.

207. Представим себе, что люди в этой стране заняты обычной человеческой деятельностью и пользуются при этом, казалось бы, членораздельным языком. Присматриваясь к их поведению, мы находим его разумным, оно представляется нам "логичным". Но, пытаясь выучить их язык, мы обнаруживаем, что это невозможно. Поскольку в нем нет устойчивой связи между тем, что они говорят, произносимыми

звуками и их действиями. И вместе с тем эти звуки не излишни, ибо, если мы, например, заткнем одному из них рот, последствия будут те же самые, что и с нами: без этих звуков, я бы выразил это так, их поведение станет хаотичным.

Надо ли говорить, что у этих людей есть язык приказы, сообщения и т.д.?

Назвать это "языком", не позволяет отсутствие регулярности.

208. Тогда, выходит, я объясняю то, что называю "приказом" и "правилом", с помощью "регулярности"? Как объясню я кому-нибудь значение слов "регулярный", "единообразный", "аналогичный"? Ну, тому, кто говорит лишь по-французски, я объясню эти слова с помощью соответствующих французских слов. Человека же, еще не овладевшего данными понятиями, я буду учить пользоваться этими словами с помощью примеров и практики. При этом я сообщу ему не меньше, чем знаю сам.

Так, в процессе этого обучения я покажу ему одинаковые цвета, одинаковые длины, одинаковые фигуры, заставлю его находить их, делать их и т.д. Я научу его, например, тому, как по заданию продолжать "однородный" орнамент. И тому, как продолжить прогрессию. Так что если, например, дано:, то продолжением должно быть:
.....

Я показываю ему, как это делается, он подражает мне, а я действую на него, выражая

согласие, отрицание, ожидание, поощрение. Я предоставляю ему свободу действий или останавливаю его и т.д.

Представь себе, что ты наблюдаешь за таким обучением. Ни одно слово в нем не объяснялось бы через самое себя, не делалось бы ни одного логического круга.

В ходе этого обучения объяснялись бы и такие выражения, как "и так далее", "и так далее до бесконечности". Для

их объяснения могли бы использоваться в том числе и жесты. Жест, означающий "продолжай же!" или "и так далее", сопоставим по своей функции с указанием на какой-нибудь предмет или же место.

Следует различать: "и т.д." как сокращенный способ записи и "и т.д.", не являющегося аббревиатурой. "И т.д. до бесконечности" не есть сокращенная запись. То, что мы не можем записать всех цифр числа p , не является человеческим

несовершенством, как иногда считают математики.

Обучение, замыкающееся на приведенных примерах, отличается от обучения, указывающего на то, что находится вне этих пределов.

209. "Но разве понимание не простирается за границы всех примеров?" Весьма странное изречение, и притом совершенно естественное!

Неужели этим сказано все? Разве не существует какого-то более глубокого объяснения или разве не должно понимание объяснения все же быть более глубоким? Нет ли у меня самого более глубокого понимания? Разве я располагаю чем-то большим, чем предлагаю в объяснении? Откуда же тогда это чувство, что я располагаю чем-то большим?

Не похоже ли это на то, когда нечто, обладающее неограниченной длиной, я

интерпретирую как выходящее за пределы любой длины?

210. "Но действительно ли ты объясняешь другому человеку то, что понимаешь сам? Разве ты не предоставляешь ему самому угадывать существенное? Ты даешь ему примеры но он должен угадать их тенденцию, а значит, и твой замысел". Каждое объяснение, которое я способен дать самому себе, я даю и ему. "Он угадывает, что я имею в виду" означало бы: ему приходят в голову различные интерпретации моего объяснения, и он принимает одну из них. Так

что в этом случае он мог бы задать вопрос, а я мог бы и должен был бы ответить ему.

211. "Как бы ты ни инструктировал его насчет продолжения орнамента, откуда он может знать, как продолжить его самостоятельно?" А откуда я это знаю? Если ты хочешь спросить: "Есть ли у меня основания?" то я отвечу: мои основания скоро иссякнут. И тогда я буду действовать без оснований.

212. Если задание продолжить ряд мне дает кто-то, кого я боюсь, то я действую быстро и с полной уверенностью, и нехватка оснований не беспокоит меня.

213. "Но этот начальный отрезок ряда явно можно было бы интерпретировать по-разному (например, с помощью алгебраических выражений), так что тебе прежде всего следовало бы выбрать одну из таких интерпретаций". Вовсе нет! При некоторых обстоятельствах было возможно сомнение. Но это не

((Интуиция ненужная увертка.))

214. Если интуиция нужна для образования ряда 1 2 3 4 ..., то она нужна и для образования ряда 2 2 2 2

215. Но разве то же самое уж во всяком случае не является тем же самым?

Кажется, будто мы располагаем безупречной парадигмой тождества в виде тождества вещи самой себе. Так и хочется сказать: "Здесь уж не может быть

различных толкований. Видя перед собой вещь, тем самым видят также и тождество".

Выходит, две вещи тождественны, если они как одна вещь? Ну, а как то, что показывает одна вещь, применять к случаю с двумя вещами?

216. "Вещь тождественна самой себе". Нет лучшего примера бесполезного предложения, которое тем не менее связано с какой-то игрою воображения. То есть мы в своем воображении как

бы вкладываем вещь в ее собственную форму и видим, что она заполняет ее.

Мы могли бы также сказать: "Каждая вещь совпадает сама с собой" или же: "Каждая вещь заполняет свою собственную форму". При этом, глядя на вещь, мы воображаем, будто для нее было оставлено свободное место и теперь она точно вошла в него.

Подходит ли это пятно \$к своему белому окружению? Да, выглядит оно именно так, словно бы сначала

на его месте была дыра, а потом оно заполнило ее. Однако выражение "это подходит" не просто описывает именно эту картину. Не просто эту ситуацию.

"Каждое цветное пятно точно вписывается в свое окружение" вот несколько специализированная формулировка закона тождества.

217. "Как я могу следовать некоему правилу?" если это не вопрос о причинах, тогда это вопрос об основаниях того, что я

действую в согласии с ним таким образом.

Исчерпав свои основания, я достигну скального грунта, и моя лопата согнется. В таком случае я склонен сказать: "Вот так я действую".

(Помни, что мы иногда требуем объяснений не ради их содержания, а ради формы. Наше требование архитектурное; объяснение не несущая конструкция, а декоративный карниз.)

218. Откуда возникает представление, будто начатый ряд это зримый отрезок рельсов, уходящих в невидимую бесконечность? Что ж, правило можно представить себе в виде рельса. А неограниченному употреблению правила тогда соответствуют бесконечно длинные рельсы.

219. "Все переходы уже, по сути, сделаны" означает: у меня нет свободы выбора. Правило, единожды наделенное определенным значением,

прочерчивает линии следования
через все пространство. А если бы
в самом деле происходило что-то в
этом роде, разве это помогало бы
мне?

Да нет же! Мое описание имело
бы смысл, лишь если его понимать
символически. Я должен был бы
сказать: так мне представляется
это.

Повинуясь правилу, я не
выбираю.

Правилу я следую слепо.

220. Но для чего пригодно такое символическое предложение? Оно призвано подчеркнуть разницу между причинной обусловленностью и логической обусловленностью.

221. Мое символическое выражение, по сути, было неким мифологическим описанием применения правила.

222. "Линия подсказывает, каким путем я должен идти" но ведь это всего лишь картина.

Придя к выводу, что она как бы безотчетно подсказывала мне то или это, я бы не сказал, что следовал ей, как некоему правилу.

223. У нас нет такого чувства, что мы вынуждены постоянно ожидать кивка (шепота) правила. Наоборот, мы не ждем с напряжением, что же оно нам сейчас скажет. Оно всегда говорит нам одно и то же, и мы выполняем то, что оно диктует нам.

Человек, обучающий кого-то, мог бы сказать ему: "Смотри, я

делаю всегда одно и то же: я ...".

224. Слово "согласие" ("übereinstimmung") и слово "правило" ("Regel") родственны друг другу, они двоюродные братья. Обучая кого-нибудь употреблять одно из этих слов, я тем самым учу его и употреблению другого.

225. Употребление слова "правило" переплетено с употреблением слов -то же самое". (Как употребление слова

"предложение" с употреблением слова "истинный").

226. Предположим, кто-то записывает ряд 1, 3, 5, 7,... по формуле $2x - 1$. И он задает себе вопрос: "А делаю ли я всякий раз одно и то же или каждый раз нечто иное?"

Если кто-то со дня на день обещает другому: "Завтра я навещу тебя", говорит ли он каждый день одно и то же или же каждый день что-то другое?

227. Разве имеет смысл заявлять: "Если бы он всякий раз делал что-то другое, мы бы не говорили: он следует какому-то правилу"? Это не имеет смысла.

228. "Ряд имеет для нас один облик". Да, но какой? Ведь он представим алгебраически и как фрагмент возможного развертывания. Или же в нем есть еще что-то? "Да в нем уже заложено все!" Но это не констатация зримо воспринимаемого фрагмента ряда или чего-нибудь в этом роде. Это

выражение того, что мы действуем лишь на основе правила, не прибегая ни к какому другому руководству.

229. Мне представляется, будто во фрагменте ряда я воспринимаю какой-то очень тонкий рисунок, некое характерное движение, к которому для достижения бесконечности нужно добавить лишь "и т.д."

230. "Линия подсказывает мне, каким путем я должен идти". Это всего лишь парафраз того, что она

моя последняя инстанция,
определяющая путь, каким я
должен идти.

231. "Но ты же видишь!.." Вот
это и есть характерное выражение
человека, находящегося во власти
правила.

232. Представим себе, что
правило подсказывает мне, как я
должен ему следовать; например,
когда мой глаз прослеживает
линию, внутренний голос во мне
говорит: "Проводи ее так!" В чем
различие между этим процессом

следования некоторого рода внушению и процессом следования правилу? Ведь они же не тождественны. В случае внушения я ожидаю наставления. Я не смогу учить кого-то другого моей "технике" прослеживания линии. Разве что я учил бы умению прислушиваться к своему внутреннему голосу, некоторого рода восприимчивости. Но в этом случае я, понятно, не мог бы от него требовать, чтобы он следовал линии так же, как я.

Это не мои опыты действия по вдохновению и по правилу, а

грамматические заметки.

233. В таком духе можно вообразить себе и обучение некоей арифметике. Дети в таком случае умели бы вычислять каждый по-своему, прислушиваясь лишь к своему внутреннему голосу и следуя только ему. Эти вычисления напоминали бы некое сочинение.

234. А разве невозможно было бы вычислять, как обычно (когда все приходят к одинаковым результатам и т.д.), и все же то и дело испытывать чувство, что

правила действуют на нас как бы магически, может быть удивляясь при этом тому, что получаемые результаты совпадают? (За такое согласие можно было бы, скажем, возносить благодарность божеству.)

235. Все это просто"напросто показывает тебе характерные черты того, что называют "следованием правилу" в повседневной жизни.

236. Virtuozы вычислений приходят к правильному

результату, но не могут сказать, каким образом. Надо ли говорить, что они не вычисляют? (Семейство случаев.)

237. Представь себе, что кто-то так использует линию в качестве правила: он держит циркуль, одну ножку которого ведет вдоль линии"правила. Второй ножкой он проводит другую линию, соответствующую правилу. И, двигая ножку циркуля по линии"правилу, он, выказывая необычайную добросовестность, меняет величину раствора циркуля, всегда глядя при этом на

линию, служащую правилом, как бы определяющим его действия. Мы же, глядя на него, не видим в этих увеличениях и уменьшениях раствора циркуля никакой закономерности. Мы не можем из этого усвоить его способ следовать за линией. В таком случае мы, пожалуй, сказали бы: "Кажется, что образец (Vorlage) подсказывает ему, как нужно действовать. Но он не является правилом!"

238. Чтобы правило могло представляться мне чем-то, заведомо выявляющим все свои следствия, оно должно быть для

меня само собой разумеющимся. Так же как само собой разумеется для меня называть этот цвет "синим". (Критерий того, что это для меня "само собой разумеется".)

239. Откуда человеку знать, какой выбрать цвет, когда он слышит слово "красный"? Очень просто: он должен взять тот цвет, образ которого всплывает в его сознании при звуках услышанного слова. А как ему узнать, каков тот цвет, "образ которого оживает в его сознании"? Нужен ли ему для этого еще какой-то критерий?

(Разумеется, существует некая процедура: выбор цвета, возникающего у кого-то в сознании, когда он слышит слово...)

Фраза: "Слово "красный" обозначает цвет, возникающий в моем сознании, когда я слышу слово "красный"" была бы дефиницией, а не объяснением сути обозначения чего-нибудь словом.

240. Не прекращаются споры (скажем, среди математиков) о

том, соблюдено правило или же нет. При этом, положим, до драки дело не доходит. Это присуще тому каркасу, на котором базируется работа языка (например, при описании).

241. "Итак, ты говоришь, что согласием людей решается, что верно, а что неверно?" Правильным или неправильным является то, что люди говорят; и согласие людей относится к языку. Это согласие не мнений, а формы жизни.

242. Языковое взаимопонимание достигается не только согласованностью определений, но (как ни странно это звучит) и согласованностью суждений. Это, казалось бы, устраняет логику; но ничего подобного не происходит. Одно дело, описывать методы измерения, другое добывать и формулировать результаты измерений. А то, что мы называем "измерением", определяется и известным постоянством результатов измерения.

243. Человек может сам себя одобрять, давать себе задания, слушаться, осуждать, наказывать самого себя, задавать себе вопросы и отвечать на них. Значит, можно также представить себе людей лишь с монологической речью. Они сопровождали бы свои действия разговорами с самими собой.

Исследователю, наблюдавшему их и слушавшему их речи, может быть, удалось бы перевести их язык на наш. (Это позволило бы ему правильно предсказывать их поступки, ибо он слышал бы и фразы об их намерениях и решениях.)

Но мыслим ли такой язык, на котором человек мог бы для собственного употребления записывать или высказывать свои внутренние переживания свои чувства, настроения и т.д.? А разве мы не можем делать это на нашем обычном языке? Но я имел в виду не это. Слова такого языка должны относиться к тому, о чем может знать только говорящий, к его непосредственным, личным впечатлениям. Так что другой человек не мог бы понять этого языка.

244. Как относятся слова к ощущениям? Кажется, что в этом нет никакой проблемы. Разве мы не говорим каждый день об ощущениях и не называем их? Но как устанавливается связь имени с тем, что именуется? Этот вопрос равнозначен другому: как человек усваивает значение наименований ощущений? Например, слова "боль". Вот одна из возможностей: слова связываются с изначальным, естественным выражением ощущения и подставляются вместо него. Ребенок ушибся, он кричит; а взрослые при этом уговаривают его и учат восклицаниям, а затем и

предложениям. Они учат ребенка новому, болевому поведению.

-то есть ты говоришь, что слово "боль", по сути, означает крик" Да нет же; словесное выражение боли замещает крик, а не описывает его.

245. Как же тогда я могу стремиться к тому, чтобы втиснуть язык между болью и ее выражением?

246. Ну, а насколько мои ощущения индивидуальны? Да ведь только я могу знать,

действительно ли у меня что-то болит, другой может об этом лишь догадываться. Это, с одной стороны, неверно, с другой бессмысленно. Если слово "знать" употребляется как обычно (а как еще мы должны его употреблять!), то другие люди очень часто знают, когда я испытываю боль. Да, но не столь достоверно, как я знаю это сам! О себе вообще нельзя сказать (разве что в шутку): я знаю, что мне больно. Что бы это должно было означать помимо того, что я испытываю боль?

Нельзя сказать, что другие узнают о моих ощущениях только по моему поведению, так как и обо мне нельзя сказать, что я знаю свои ощущения. Они просто у меня есть.

Верно вот что: о других людях имеет смысл говорить, что они сомневаются, ощущаю ли я боль, говорить же это о себе бессмысленно.

247. -только ты можешь знать, было ли у тебя такое намерение". Это можно сказать кому-то,

объясняя ему значение слова "намерение". В таком случае это означает: мы употребляем данное слово таким образом.

(А слово "знать" означает здесь, что выражение неуверенности лишено смысла.)

248. Предложение "Ощущения индивидуальны" сопоставимо с предложением "В пасьянс человек играет сам с собой".

249. Может быть, мы слишком поспешно заключаем, что улыбка

грудного младенца не
притворство? А на каком опыте
основывается наше
предположение?

(Ложь это языковая игра,
которой нужно обучаться, как и
всякой другой.)

250. Почему собака не может
симулировать боль? Что, она
слишком честна? Мог бы человек
приучить собаку симулировать
боль? Пожалуй, ее можно было бы
научить выть при определенных
обстоятельствах так, словно у нее

что-то болит, тогда как на самом деле никакой боли нет. Но чтобы быть подлинной симуляцией, этому поведению всякий раз не хватало бы подходящего сопровождения.

251. Что подразумевают, говоря: "Я не могу себе представить противоположное этому" или же "Что происходило бы, если бы дело обстояло иначе?". Например, если бы кто-то заявил, что мои представления индивидуальны; или что только я сам могу знать, действительно ли я испытываю боль; и тому подобное.

"Я не могу представить себе противоположного", конечно, не означает здесь, что мне недостает силы воображения. Этими словами мы защищаемся от чего-то такого, что по форме принимает вид эмпирического предложения, хотя в действительности является грамматическим предложением.

Но почему я говорю: "Я не могу представить себе противоположное?" Почему не говорю: "Я не могу представить себе того, что ты сказал?"

Например: "Каждый стержень имеет длину". Это примерно означает: мы называем нечто (или это) "длиной стержня" но ничего не называем "длиной шара". Ну, а могу ли я представить себе, что "каждый стержень имеет длину"? Нет, я просто представляю себе какой-то стержень, и это все. Только эта картина, возникшая в связи с вышеназванным предложением, играет совсем иную роль, чем какая-то картина, связанная с предложением "У этого стола такая же длина, что и у того". Ибо в данном случае я понимаю, что значит

сформировать картину чего-то противоположного (и ей не обязательно быть образным представлением).

Картина же к грамматическому предложению могла бы только показать, например, что называется "длиною стержня". А какой же тогда должна быть противоположная этому картина?

((Замечание об отрицании предложения a priori.))

252. На предложение "Это тело протяженно" мы могли бы отреагировать: "Бессмыслица!" Однако склонны отвечать: "Конечно!" Почему?

253. "У другого не может быть моих болей?" Каковы же они, мои боли? Что используется здесь в качестве критерия тождества? Поразмысли, что позволяет применительно к физическим предметам говорить о "двух абсолютно одинаковых". Например, говорить: "Это не тот

стул, что ты видел вчера, но он точно такой же, как тот".

Поскольку высказывание о том, что у меня такая же боль, как у него, имеет смысл, то и возможно, что мы оба испытываем одинаковую боль. (Можно представить себе и то, что два человека испытывают боль в одном и том же а не только в соответствующем месте. Это мог бы быть, например, случай с сиамскими близнецами.)

Я видел, как один из участников дискуссии по этому вопросу, ударяя себя в грудь, говорил: "Но ведь другой не может испытывать вот ЭТОЙ боли!" Ответ на это состоит в том, что критерий тождества определяется не путем выразительного акцентирования слова "этой". Более того, этим акцентированием мы лишь затемняем то, что такой критерий нам известен, но о нем нужно напоминать.

254. Типичной уловкой в философии является и

подстановка слова -
тождественный" ("gleich") вместо
"одинаковый" ("identisch")
(например). Под видом того, будто
речь шла об оттенках значения и от
нас требовалось лишь найти слово
для передачи нужного нюанса. Но
в процессе философствования это
нужно лишь тогда, когда возникает
задача психологически точного
изображения нашей склонности
использовать определенную форму
выражения. То, что мы в таком-то
случае "склонны говорить", это,
конечно, не философия, а лишь
материал для нее. Так, например,
то, что склонен говорить

математик об объективности и реальности математических фактов, не философия математики, а нечто, к чему должна обращаться философия.

255. Философ лечит вопрос: как болезнь.

Часть 8.

256. Ну, а как обстоит дело с языком, описывающим мои внутренние переживания и понятным лишь мне одному? Как я

обозначаю свои ощущения словами? Так, как это делается обычно? То есть связывая слова, передающие мои ощущения, с естественными проявлениями этих ощущений? В таком случае мой язык не является "приватным". Другой может понять его так же, как я. А допустим, у меня нет никаких естественных проявлений ощущения, а есть только само ощущение? И я просто ассоциирую имена с ощущениями и пользуюсь ими при описании.

257. "Что было бы, если бы люди не обнаруживали своей боли

(не стонали, у них не искажалось бы лицо и т.д.)? Тогда нельзя было бы научить ребенка пользоваться словами "зубная боль". Ну, а допустим, что ребенок гений и сам изобретет название этого ощущения! Но при этом он бы, конечно, не мог с помощью этого слова снискать понимание. Выходит, он понимал бы это название, но не мог бы никому объяснить его значение? А что означало бы тогда, что "он дал название своей боли"? Как он осуществил это?! И что бы он при этом ни сделал, какова была его цель? Говоря "Он дал название

ощущению", забывают, что в языке уже многое должно быть подготовлено к тому, чтобы простой акт наименования обрел смысл. И когда мы говорим, что кто-то дал название боли, то при этом предусматривается определенная грамматика слова "боль", указывается место, которое будет отведено новому слову.

258. Представим себе такой случай. Я хочу запечатлеть в дневнике какое-то время от времени испытываемое мною ощущение. Для этого я ассоциирую его со знаком О и записываю в

календаре этот знак всякий раз, когда испытываю такое ощущение. Прежде всего замечу, что нельзя сформулировать какую-то дефиницию такого знака. Но сам для себя я же могу дать ему какое-то указательное определение! Каким образом? Разве я в состоянии указывать на ощущение? В обычном смысле нет. Но, произнося или записывая знак, я сосредоточиваю свое внимание на ощущении и таким образом как бы указываю на него в своем внутреннем мире. Но что толку в этой церемонии? Ведь нам лишь представляется, что должно

происходить что-то вроде этого! Тогда как дефиниция призвана установить значение знака. Что же, это как раз и достигается с помощью концентрации внимания, ибо именно так я закрепляю для себя связь между знаком и ощущением. "Я закрепляю для себя связь" может означать только одно: этот процесс обеспечивает то, что впоследствии я правильно вспоминаю эту связь. Но ведь в данном случае я не располагаю никаким критерием правильности. Так и тянет сказать: правильно то, что мне всегда представляется правильным. А это означает лишь,

что здесь не может идти речь о "правильности".

259. Разве правила индивидуального языка это впечатления правил? Весы, на которых взвешиваются впечатления, не впечатление весов.

260. "И все же я верю, что вновь переживаю ощущение О". Возможно, ты полагаешь, что веришь в это!

Так что же, выходит, тот, кто вносит знаки в календарь, совсем

ничего не отмечает? Не считай само собой разумеющимся, что человек, вносящий знак, скажем в календарь, отмечает нечто. Ибо знак имеет функцию, а это "О" пока что не имеет таковой.

(Человек может говорить сам с собой. Но означает ли это, что каждый, кто говорит в отсутствие других, разговаривает сам с собой?)

261. Какое у нас основание называть "О" знаком какого-то ощущения? Ведь "ощущение" слово

нашего общепринятого, а не лишь мне одному понятного языка. Употребление этого слова нуждается в обосновании, понятном всем. Не спасало бы положения и такое высказывание: с человеком, записавшим "О", что-то происходило, пусть это и не было ощущением больше этого ведь и не скажешь. Дело в том, что слова "происходить" и "что-то" тоже принадлежат общепринятому языку. Итак, в ходе философствования рано или поздно наступает момент, когда уже хочется издать лишь некий нечленораздельный звук. Но такой

звук служит выражением только в определенной языковой игре, которую в данном случае требуется описать.

262. Можно сказать: если бы человек дал дефиницию слова лично для себя, то он должен был бы внутренне настроиться (Vornehmen). А как бы он это предпрещал? Следует ли предположить, что он изобретает технику такого использования; или же что он находит ее уже готовой?

263. "Я же могу (внутренне) принять решение в будущем называть ЭТО "болью"? А достоверно ли, что ты принял такое решение? Уверен ли ты, что для этого достаточно сконцентрировать внимание на ощущении?" Станный вопрос.

264. "Коль скоро ты знаешь, что обозначает слово, ты понимаешь его, вполне знаешь его применение".

265. Представим себе таблицу вроде словаря, существующую

лишь в нашем воображении. С помощью словаря можно обосновывать перевод слова X словом Y. Но следует ли считать таким основанием и нашу таблицу, если обращаться к ней можно только в воображении? "Ну да, в таком случае это субъективное основание". Но ведь обоснование состоит в апелляции к независимой инстанции. "Однако могу же я апеллировать и от одного воспоминания к другому. Например, я не знаю, правильно ли я запомнил время отправления поезда, и для проверки вызываю в памяти образ страницы

расписания поездов. Разве вышеприведенный случай, не того же рода?" Нет, ибо этот процесс предполагает действительно правильное воспоминание. Разве мысленный образ расписания мог бы подтвердить правильность первого воспоминания, если бы он сам не подлежал проверке на правильность? (Это было бы равноценно тому, что кто-то накупил множество экземпляров сегодняшней утренней газеты, чтобы удостовериться, пишет ли она правду.)

Обращение к воображаемой таблице соответствует получению справок из реальной таблицы не более, чем воображаемый результат воображаемого эксперимента соответствует результату действительного эксперимента.

266. Можно посмотреть на часы, чтобы узнать, который час. Но на циферблат часов можно смотреть и для того, чтобы угадать, сколько сейчас времени; или с той же целью можно переставлять стрелки часов до тех пор, пока их

положение не представится правильным. Так образ часов может служить для определения времени более чем одним способом. (Мысленно взглянуть на часы.)

267. Предположим, что строя воображаемый мост, я захотел бы обосновать расчет его размеров путем предварительного испытания материалов на прочность в своем воображении. Конечно, это было бы мысленным представлением о том, что называют обоснованием расчета размеров моста. Но разве мы

назвали бы это также обоснованием воображаемого расчета размеров моста?

268. Почему моя правая рука не может подарить деньги моей левой руке? Моя правая рука может вложить их в левую. Моя правая может написать дарственную, а левая расписку. Но по своим дальнейшим практическим последствиям это не было бы дарением. Если левая рука приняла деньги от правой и т.д., мы спросим: "Ну и что дальше?" И можно было бы задать такой же вопрос, если бы некто давал

самому себе индивидуальное определение слова; я имею в виду, если бы он произносил про себя некое слово и при этом направлял внимание на какое-то ощущение.

269. Вспомним о том, что имеются определенные поведенческие критерии того, что кто-то не понимает слова: оно ему ничего не говорит, он не знает, что с ним делать. И критерии того, что он лишь "думает, будто понимает" слово, связывает с ним некоторое значение, но неверное. И наконец, имеются критерии того, что он правильно понимает слово. Во

втором случае можно было бы говорить о субъективном понимании. А "персональным языком" ("private Sprache") можно было бы назвать звуки, которые не понимает никто другой, но я, мне кажется, понимаю.

270. Ну, а представим себе использование для записи в моем дневнике знака "O". Я обнаруживаю следующее: всякий раз, когда я испытываю определенное ощущение, манометр показывает, что у меня поднимается кровяное давление. Таким образом, я смогу говорить о

повышении своего кровяного давления и без помощи аппарата. Это полезный результат. При чем представляется совершенно безразличным, правильно ли я опознал ощущение или нет. Пусть я постоянно заблуждался бы, идентифицируя ощущение. Это не имело бы ни малейшего значения. И уже это показывает, что предположение такой ошибки лишь видимость. (Как если бы мы поворачивали рукоятку, полагая, что она приводит в движение какую-то часть машины, тогда как на самом деле она служила бы

лишь украшением, никак не связанным с механизмом.)

На каком же основании мы считаем здесь "О" обозначением некоторого ощущения? Пожалуй, на основании способа использования этого знака в данной языковой игре. Почему же говорится об "определенном", следовательно, каждый раз об таком же самом "ощущении"? Ну, мы же так условились; что раз пишем "О".

271. "Представь себе человека, не способного удержать в памяти, что означает слово "боль" и поэтому всякий раз называющего так что-то другое, но тем не менее использующего это слово в соответствии с обычными симптомами и предпосылками боли!" то есть употребляющего его, как и мы все. Здесь так и хочется сказать: колесо, которое можно крутить, не приводя в движение все остальное, не относится к машине.

272. В индивидуальном переживании существенно на самом деле не то, что каждым человеком оно переживается по-своему, а то, что никто не знает, это ли переживает и другой или же нечто иное. Выходит, можно было бы предположить, хотя это и нельзя проверить, что одна часть человечества имеет одно ощущение красного, другая же часть другое.

273. Ну, а должен ли я сказать о слове "красное", что оно обозначает нечто "предъявленное

нам всем", для обозначения же своего собственного ощущения красного каждый человек должен, кроме этого слова, иметь еще одно? Или же дело обстоит так: слово "красное" обозначает нечто известное нам совместно; а для каждого оно обозначает, кроме того, нечто знакомое только ему? (Или, пожалуй, лучше было бы сказать: оно отсылает к чему-то, знакомому только ему.)

274. Если о слове "красный" говорить вместо "оно означает" "оно отсылает" к чему-то личному, то это, разумеется, не

способствует пониманию его функции. Но это выражение психологически более удачно передает то особое переживание, что сопутствует философствованию. Произнося эти слова, я словно бы смотрю со стороны на собственные ощущения, как бы говоря самому себе: уж я-то знаю, что я подразумеваю под этим.

275. Взгляни на синеву неба и скажи самому себе: "Какое синее небо!" Если ты это делаешь спонтанно без философских намерений, тебе не придет в

голову, что это ощущение цвета принадлежит только тебе. И ты, не раздумывая, адресуешь это восклицание какому-то другому лицу. Если же при этих словах ты на что-нибудь указываешь, так указываешь на небо. Я имею в виду: ты не испытываешь чувства указания "внутри" самого себя, которое, размышляя над "персональным языком", часто связывают с "наименованием ощущения". И тебе не приходит в голову, что на самом деле ты должен указывать на цвет не рукой, а лишь направляя на него свое внимание. (Подумай, что это

значит "направить внимание на что-либо".)

276. "А разве, глядя на цвет и называя наше ощущение от него, мы так или иначе не имеем в виду что-то вполне определенное? Но ведь это равнозначно тому, что впечатление цвета как бы снималось с увиденного предмета, подобно пленке. (Это должно возбудить у нас подозрение.)

277. Но как вообще возможно это побуждение считать, что один раз под словом понимается всем

известный цвет, а другой раз "визуальное впечатление", которым обладаю я в данный момент? Как возможно здесь само существование такого побуждения? В этих двух случаях я по-разному обращаю внимание на цвет. Имея в виду (как я бы сказал) принадлежащее мне одному впечатление цвета, я погружаюсь в этот цвет как бывает в том случае, когда на какой-то цвет я "не могу наглядеться". Вот почему такое переживание легче возникает тогда, когда смотрят на яркий цвет или же на выразительную цветовую композицию.

278. "Я знаю, каким мне представляется зеленый цвет" что ж, ведь это не лишено смысла! Безусловно. А какое применение ты намерен найти этому высказыванию?

279. Представь себе человека, который говорит: "Я-то знаю, какой я рослый!" и в доказательство своих слов кладет руку на свою макушку.

280. Кто-то рисует картину, чтобы показать, как он представляет себе, допустим,

сцену в театре. Ну, а я говорю: "У этой картины двойная функция; она сообщает что-то другим, как это делают картины и слова. Но для самого сообщающего она выступает еще и как изображение (или сообщение?) другого рода: для него она картина его представления, чем она не может быть ни для кого другого. Его личное впечатление о картине говорит ему о том, что он себе представил, в том смысле, в каком эта картина не может представиться никому другому". По какому же праву я говорю в этом втором случае об

изображении или сообщении, если эти слова были правильно применены в первом случае?

281. "А не следует ли из сказанного тобой, что нет, например, боли без болевого поведения?" Отсюда следует вот что: только о живых людях и о том, что их напоминает (ведет себя таким же образом), можно говорить: они ощущают, видят, слышат, они слепы, глухи, находятся в сознании или без сознания.

282. "Но ведь в сказке может видеть и слышать даже горшок!" (Верно, но он может и говорить.)

"Но в сказке просто выдуманно то, чего нет, а отнюдь не говорится бессмыслица". Не так это просто. Разве ложно или бессмысленно утверждение, что горшок разговаривает? Можно ли составить себе четкое представление о том, при каких обстоятельствах мы бы сказали о горшке, что он разговаривает? (Даже поэзию абсурда мы не уподобим чему-то столь же

бессмысленному, как, например, лепет ребенка.)

Да, мы говорим о неживом предмете, что он испытывает боль, например, играя в куклы. Но это употребление понятия "боль" вторично. Представим же себе, что люди приписывают боль лишь неживым предметам; жалеют только кукол! (Когда дети играют в железную дорогу, их игра связана с их знаниями о железной дороге. Дети же какого-нибудь примитивного племени, не знающего железных дорог, могли бы перенять эту игру от других и

играть в нее, не подозревая о том, что тем самым они подражают чему-то реально существующему. Можно было бы сказать, что игра для них не имела бы того же смысла, что для нас.)

283. Откуда приходит к нам уже само это представление, что существа, предметы способны что-то чувствовать?

Разве оно не является результатом воспитания, научившего меня обращать внимание на свои собственные

чувства, а затем переносить это представление на предметы вне меня? Или же я узнаю, что здесь (во мне) есть нечто такое, что я мог бы назвать "болью", не впадая в противоречие с употреблением данного слова другими людьми? Я не переношу свое представление на камни, растения и т.д.

Разве нельзя было бы вообразить, что у меня ужасные боли и, пока они длятся, я обращаюсь в камень? Можно, а откуда мне ведомо, что, закрыв глаза, я не становлюсь камнем? А если бы это происходило, то в

каком смысле этот камень испытывал бы боль? В каком смысле это можно было бы сказать о камне? Да и почему вообще боль должна иметь каково-нибудьносителя?!

А можно ли сказать о камне, что у него есть душа и она испытывает боль? Что общего у души, испытывающей боль, с камнем?

Только о том, что оно ведет себя, как человек, можно сказать, что оно испытывает боль.

Ибо это надлежит говорить о теле или, если угодно, о душе, которой обладает некое тело. Но как тело может иметь душу?

284. Посмотри на камень и представь себе, что у него есть ощущения! Человек мысленно произносит: и как только могло прийти в голову приписывать ощущение той или иной вещи? С тем же успехом его можно было бы приписать и числу! А теперь посмотри на бьющуюся об оконное стекло муху, и тотчас же это затруднение исчезнет, и

предположить здесь боль
покажется уместным, в то время
как в первом случае это, судя по
всему, было бы явно
безосновательно.

Вот так и труп кажется нам
совершенно несовместимым с
чувством боли. Наше отношение к
живому в корне отлично от
отношения к мертвому. В том и в
другом случае все наши реакции
различны. Заяви кто-то: "Разница
не может заключаться просто в
том, что живое так или иначе
движется, а мертвое нет", я бы ему

пояснил, что это случай перехода
"количества в качество".

285. Подумай о том, как
распознаются выражения лица.
Или об описании выражений лица
оно же не сводится к
перечислению его размерностей!
Подумай и о том, как можно
имитировать лицо человека, не
глядя при этом в зеркало на
собственное лицо.

286. Но разве не абсурдно
говорить о теле, что оно
испытывает боль? А почему в этом

чувствуется абсурдность? В каком смысле боль испытывает не моя рука, а я в моей руке?

А что собой представляет дискуссионный вопрос: тело ли испытывает боль? Как его следует решать? Что побуждает считать, что боль испытывает не тело? Ну, примерно вот что: когда кто-то чувствует боль в руке, рука не говорит об этом (если она только этого не пишет), и сочувствие выражают не руке, а страдающему человеку; ему смотрят в глаза.

287. Каким образом я испытываю сострадание к этому человеку? Как выявляется объект сострадания? (Можно сказать, сострадание форма уверенности, что другой человек испытывает боль.)

288. Я превращаюсь в камень, а мои боли не проходят. А если я ошибаюсь и у меня больше нет болей? Но уж здесь-то я не могу ошибиться, ведь не говорят же: я сомневаюсь, есть ли у меня боли! Это означает: скажи кто-то: "Я не знаю, является ли то, что я

чувствую, болью или чем-то другим", мы бы, пожалуй, подумали, что он не знает значения слова "боль", и объяснили бы его ему. Как? Может быть, жестами, или же, укалывая его иглой, приговаривали: "Понимаешь, вот что такое боль". Такое объяснение слова, как и всякое другое, он мог бы понять верно, неверно или же вообще не понять. Насколько он понял объяснение, будет видно из его применения этого слова, как это обычно и бывает.

Ну, а заяви он, к примеру: "О, я знаю, что означает "боль", но не знаю, является ли болью то, что я чувствую сейчас", мы бы просто покачали головой и вынуждены были считать его слова очень странной реакцией, с которой мы просто не знали бы, что делать. (Это примерно то же самое, как если бы мы слышали от кого-то вполне серьезно сказанные слова: "Я отчетливо помню, что за некоторое время до моего рождения я думал...")

Подобное выражение сомнения не присуще данной языковой игре. Но если устранить проявление ощущений из человеческого поведения, то, кажется, у меня вновь могли бы возникнуть основания для сомнений. К высказыванию о том, что человек мог бы принимать ощущение за что-то другое, меня подталкивает вот что: если предположить, что нормальная языковая игра выражения ощущения отменена, то возникает потребность в критерии тождества для ощущения; а значит возникает и возможность ошибок.

289. "Когда я говорю, что "мне больно", то уж, во всяком случае, это оправданно для меня самого". Что это значит? Это значит: "Если бы кто-то пожелал узнать, что я называю "болью", то ему пришлось бы признать, что я использую это слово правильно?"

Использовать слово без обоснования не значит использовать его неверно.

290. Конечно, я не идентифицирую свое ощущение с помощью критериев, а применяю

одно и то же выражение. Но это не конец языковой игры; это ее начало.

А разве она начинается не с ощущения, которое я описываю? В слове "описывать" здесь для нас, пожалуй, кроется подвох. Я говорю "я описываю мои душевные состояния" и "я описываю мою комнату". Следует вспомнить о различии языковых игр.

291. То, что мы называем описаниями, это инструменты специального назначения.

Вспомним здесь о чертеже машины, поперечном разрезе, наметке размеров, которые имеет перед собой механик. В представлении об описании как о словесной картине фактов есть нечто вводящее в заблуждение; это навеивает мысли лишь о картинах, висящих у нас на стенах; которые, казалось бы, изображают всего лишь, как выглядит вещь, каковы ее свойства. (Это как бы праздные картины.)

292. Не всегда полагай, что высказываемое тобой ты считаешь с фактов, что ты

изображаешь их словами в соответствии с правилами! Ибо применение правила в особых случаях тебе все-таки приходится осуществлять без каких бы то ни было инструкций.

293. Коли я говорю о себе самом: я знаю только по собственному опыту, что означает слово "боль", то разве не следует сказать это и о других? А тогда как можно столь безответственным образом обобщать один случай?

Ну, а пусть каждый говорит мне о себе, что он знает, чем является боль, только на основании собственного опыта!

Предположим, что у каждого была бы коробка, в которой находилось бы что-то, что мы называем "жуком". Никто не мог бы заглянуть в коробку другого; и каждый говорил бы, что он только по внешнему виду своего жука знает, что такое жук. При этом, конечно, могло бы оказаться, что в коробке у каждого находилось бы что-то другое. Можно даже представить себе, что эта вещь непрерывно изменялась бы. Ну, а

если при всем том слово "жук" употреблялось бы этими людьми? В таком случае оно не было бы обозначением вещи. Вещь в коробке вообще не принадлежала бы к языковой игре даже в качестве некоего нечто: ведь коробка могла бы быть и пустой. Верно, тем самым вещь в этой коробке могла бы быть "сокращена", снята независимо от того, чем бы она ни оказалась.

Это значит: если грамматику выражения ощущения трактовать по образцу "объект и его обозначение", то объект выпадает

из сферы рассмотрения как не относящийся к делу.

294. Говоря о другом человеке, что он описывает некую картину, явленную только ему, ты все-таки уже сделал какое-то предположение о том, что ему видится. А это значит, что ты мог бы описать или уже описываешь это более конкретно. Если же ты признаешься в отсутствии у тебя какого бы то ни было представления о том, что могло бы видеться этому другому, что же тогда заставляет тебя утверждать, что он что-то видит? Разве это не

равносильно тому, как если бы я говорил о ком-то: "У него что-то есть. Но деньги ли это, долги или пустая касса, я не знаю."

295. И вообще, каким по характеру должно быть предложение "Я знаю... лишь на собственном опыте"?
Эмпирическим? Нет.
Грамматическим?

Мне представляется это так: положим, каждый говорит о себе, что только по собственной боли он знает, что такое боль. Дело не в

том, чтобы люди действительно так говорили или хотя бы были склонны это говорить. Но если бы так говорил каждый это могло бы быть своего рода восклицанием. И, не будучи информативным сообщением, оно все же давало бы некую картину, а почему нужно отказывать себе в желании прибегнуть к такой картине души? Представь себе вместо этих слов живописное изображение"аллегию.

В самом деле, вглядываясь в самих себя, в процессе философствования мы часто

видим перед собой именно такую картину. Прямо-таки живописное изображение нашей грамматики. Не факты, а как бы иллюстрированные обороты речи.

296. "Да, но есть же что-то, что сопровождает мой крик боли! И именно из-за этого я и вскрикиваю. Именно это что-то важно и страшно!" Только с кем мы делимся этим? И по какому случаю?

297. Конечно, если в горшке кипит вода, то из горшка выходит

пар, и над изображением горшка тоже клубится нарисованный пар. А что, если бы кто-то упорно говорил, что и в изображении горшка должно что-то кипеть?

298. Само то, что в отношении личного ощущения нас так и тянет сказать "Вот что важно", уже показывает, насколько мы склонны высказывать нечто такое, что не является сообщением.

299. Невозможность удержаться будучи во власти философского мышления от того, чтобы не

сказать того-то, и неодолимая склонность это сказать не означает, что нас к тому принуждает некое предположение или непосредственное рассмотрение, либо знание, какого-то положения вещей (Sachverhalt).

300. Хочется сказать: к языковой игре со словами "ему больно" принадлежит не только картина поведения, но и картина боли. Или же: не только парадигма поведения, но и парадигма боли. Говорить, что "картина боли входит в языковую группу со

словом "боль", недоразумение. Представление о боли не картина, и это представление не заменимо в языковой игре чем-то, что мы назвали бы картиной. Пожалуй, в определенном смысле представление о боли входит в языковую игру; но только не в качестве картины.

301. Представление не картина, но картина может ему соответствовать.

Часть 9.

302. Пытаться представить себе чью-то боль по образу и подобию своей собственной задача не из легких: ибо на основе боли, которую чувствуешь сам, нужно представить себе боль, которой не чувствуешь. То есть я должен не просто перенести в своем воображении боль с одного места на другое, скажем с кисти на руку. Ибо мне не нужно представлять, что я чувствую боль в каком-то месте его тела (что также было бы возможным).

Болевое поведение может указывать на место, где ощущается боль, но субъект боли это человек, обнаруживающий боль.

303. "Я могу лишь верить, что другой испытывает боль, но я знаю это, если сам ощущаю ее". Можно даже принять решение вместо "Ему больно" говорить: "Я верю, что ему больно". Но не более того. То, что здесь выглядит как объяснение или высказывание о мыслительном процессе, на самом деле представляет собой лишь замену одного способа выражения

другим, кажущимся нам более удачным, когда мы философствуем.

Попробуй когда-нибудь в реальной ситуации усомниться в страхе или боли другого!

304. "Но ведь ты признаешь, что есть разница между болевым поведением при наличии боли и болевым поведением в отсутствие таковой". Признаю? Да разве возможно более разительное отличие? "И тем не менее ты всякий раз приходишь к выводу, что ощущения сами по себе

ничто". Вовсе нет. Они не нечто, но и не ничто! Вывод состоял бы лишь в том, что ничто выполняло бы такую же функцию, как и нечто, о котором ничего нельзя сказать. Мы отвергаем лишь грамматику, которая здесь всячески навязывает себя нам.

Парадокс исчезает лишь в том случае, если радикально преодолеть представление, будто язык всегда функционирует одним и тем же способом и всегда служит одной и той же цели: передавать мысли будь это мысли

о домах, боли, добре и зле и обо всем прочем.

305. "Но ты же не можешь отрицать, что, например, при воспоминании осуществляется какой-то внутренний процесс". А почему возникает впечатление, будто мы хотим отрицать что бы то ни было? Заявляя: "Все же при этом протекает какой-то внутренний процесс", так и хочется добавить: "Это же для тебя очевидно. Именно этот внутренний процесс подразумевают под словом "вспоминать"". Впечатление, будто

мы намеревались что-то отрицать, возникает из-за отказа от картины "внутреннего процесса". Но при этом лишь отрицается, что картина внутреннего процесса дает нам верное представление об употреблении слова "вспоминать". Утверждается же, что эта картина и навеваемые ею представления мешают видеть употребление слова таким, каким оно реально является.

306. Выходит, мне незачем отрицать существование душевного процесса?!
Высказывание "Сейчас во мне

совершается душевный процесс воспоминаний о ..." просто означает: "Сейчас я вспоминаю о ..." Отрицать душевный процесс значило бы отрицать воспоминание, отрицать, что кто-то когда-либо вспоминает о чем-нибудь.

307. "Так значит, ты не замаскированный бихевиорист? И ты не утверждаешь, что по сути все, кроме человеческого поведения, есть фикция?" Если я и говорю о фикции, то имею в виду грамматическую фикцию.

308. Как же возникает философская проблема душевных процессов, состояний и бихевиоризма? Первый шаг к ней совершенно незаметен. Мы говорим о процессах и состояниях, оставляя нераскрытой их природу! Предполагается, что когда-нибудьмы, пожалуй, будем знать о них больше. Но это-то и предопределяет особый способ нашего рассмотрения явлений. Ибо мы уже составили определенное понятие о том, что значит познать процесс полнее. (Решающее движение в трюке фокусника уже сделано, нам же оно кажется

невинным.) И вот рушится аналогия, призванная прояснить наши мысли. Выходит, что нужно отрицать еще непонятый процесс в еще не изученном субстрате. Так возникает видимость отрицания нами душевных процессов. А ведь мы, естественно, не собираемся их отрицать!

309. Какова твоя цель в философии? Показать мухе выход из мухоловки.

310. Я говорю кому-нибудь, что мне больно. Его отношение ко мне

будет отношением веры, неверия, недоверия и т.д.

Предположим, он отвечает: "Это не такая уж страшная боль". Не являются ли его слова доказательством того, что он верит во что-то стоящее за проявлениями боли? Его отношение есть доказательство его отношения. Ну, а представь себе, что не только предложение "Мне больно", но и ответ "Это не такая уж страшная боль" заменены натуральными звуками и жестами!

311. "Что могло бы отличаться друг от друга в большей мере!" В случае боли я полагаю, что могу предъявить это различие самому себе персонально. Разницу же между сломанным зубом и целым зубом я бы мог продемонстрировать каждому. Однако для приватной демонстрации совсем не обязательно причинять себе боль; достаточно представить ее себе например, немного перекосить лицо. А знаешь ли ты, что демонстрируешь самому себе таким образом именно боль, а, например, не выражение лица? И

откуда ты знаешь, что нужно продемонстрировать, прежде чем ты сделаешь это? Эта приватная демонстрация иллюзия.

312. Но опять-таки, разве случаи с демонстрацией зуба и боли не схожи? Ведь визуальное ощущение в одном случае соответствует болевому ощущению в другом. Зрительное ощущение я могу продемонстрировать самому себе в столь же малой или столь же большой степени, как и болевое ощущение.

Вообразим себе следующий случай: на поверхности окружающих нас вещей (камней, растений и т.д.) есть пятна и участки, вызывающие боль при соприкосновении с нашей кожей. (Скажем, из-за химического состава таких поверхностей. Но нам не обязательно знать это.) В таком случае мы говорили бы о листе, покрытом болевыми пятнами, как ныне говорим о листьях некоторых растений, покрытых красными пятнами. Полагаю, что для нас было бы полезно замечать эти пятна и их формы и что из этого можно было

бы извлечь выводы о важных свойствах вещей.

313. Я могу демонстрировать боль, как демонстрирую красное, прямое и кривое, дерево и камень. Именно это и называется "демонстрацией".

314. Склонность рассматривать свою сиюминутную головную боль как состояние, проливающее свет на философскую проблему ощущения, свидетельство принципиального непонимания.

315. Разве может понять слово "боль" тот, кто никогда не испытывал боли? Разве тому или иному ответу на этот вопрос меня должен научить опыт? Допустим, мы утверждаем "Человек не в состоянии представить себе боль, ни разу не испытав ее", а откуда мы это знаем? Как определить, истинно ли это?

316. Чтобы уяснить значение слова "думать", мы наблюдаем за тем, как думаем мы сами. То, что мы при этом наблюдаем, и будет тем, что обозначает данное слово!

Но употребляется-то это понятие не так. (Иначе это походило бы на то, как если бы я, не зная правил шахматной игры, пытался выяснить, что означают слова "поставить мат", путем пристального наблюдения за последними ходами какой-то шахматной партии.)

317. Вводящая в заблуждение параллель: крик выражение боли, предложение выражение мысли!

Как будто цель предложения дать знать кому-то о самочувствии

другого: только связанном, скажем, не с желудком, а с органом мысли.

318. Думая по ходу речи или письма так, как это делается обычно, мы, как правило, не станем утверждать, что мыслим быстрее, чем говорим: напротив, мысль кажется нам здесь неотделимой от ее выражения. Но с другой стороны, говорят о стремительности мысли, о том, что мысль пришла в голову молниеносно, что проблемы вмиг прояснились для нас и т.д. При этом возникает вопрос: не

происходит ли при молниеносной мысли то же самое только предельно ускоренно, что и в случае обдуманной, немашинальной речи? Так что в первом случае стрелка как бы обегает циферблат враз, во втором же, сдерживаемая словами, движется мало"помалу.

319. Я способен мгновенно схватить, или понять, мысль в целом, так же как могу набросать ее немногими словами или штрихами.

Что же делает данный набросок суммарным выражением этой мысли?

320. Мгновенная мысль может относиться к мысли, сформулированной словами, как алгебраическая формула к ряду чисел, в который она развертывается.

Если мне, например, дана алгебраическая функция, то я уверен, что смогу рассчитать ее значение для аргументов 1, 2, 3, до 10. Эту уверенность можно назвать

"вполне обоснованной", ибо я обучен рассчитывать такие функции и т.д. В других случаях она не будет обоснованной но будет оправданной успешностью моих расчетов.

321. "Что происходит, когда человек что-то внезапно понимает?" Вопрос плохо сформулирован. Будь он вопросом о значении выражения "внезапно понять", ответ на него не был бы указанием на процесс, которому мы дали такое название. Этот вопрос мог бы означать: каковы признаки того, что человек

внезапно понял что-то; каковы
характерные психические
проявления внезапного
понимания?

(Нет основания считать, что человек чувствует, например, смену выражений своего лица или изменения дыхания, характерные для того или иного душевного движения. Даже если он чувствует их, обратив на них свое внимание.)
((Позирование.))

322. Что такое описание
[внешних проявлений] не дает

ответа на вопрос о значении выражения ["внезапно понять"], подталкивает к выводу, будто понимание особое, не поддающееся определению переживание. Но при этом забывается, что нас-то должен интересовать вопрос: как мы сравниваем эти переживания, какой критерий тождества мы устанавливаем для таких случаев?

323. "Теперь я знаю, как продолжить!" восклицание; оно сродни естественному вскрику, вспышке радости. Из моего впечатления, естественно, не

следует, что при попытке продолжить ряд я не собьюсь. В некоторых случаях я бы при этом сказал: "Когда я говорил, что знаю, как продолжить, так оно и было". Это заявят, например, столкнувшись с непредвиденным препятствием. Но непредвиденным должно быть не просто то, что я сбиваюсь.

Можно было бы также представить себе, что человек, вроде бы уяснивший что-то, всякий раз восклицал: "Теперь до меня дошло!" а на деле никогда не мог бы оправдать это. Ему могло бы

казаться, будто он в мгновение ока снова забывает значение представившейся ему картины.

324. Разве было бы верно утверждать, что дело здесь заключается в индукции и что я столь же уверен в своей способности продолжить ряд, как уверен, что эта книга упадет на пол, стоит мне выпустить ее из рук; и что, если бы вдруг, без всяких видимых причин я оказался не в состоянии продолжить ряд, я бы удивился не меньше, чем если бы книга не упала на пол, а повисла в воздухе? На это я отвечу,

что как раз для такой уверенности мы не нуждаемся ни в каких основаниях. Разве что-нибудь способно оправдать уверенность лучше, чем успех?

325. "Уверенность, что я смогу продолжить ряд, после того как обрел данный опыт, например усмотрев эту формулу, зиждется просто на индукции". Что это значит? "Уверенность, что этот огонь меня сожжет, зиждется на индукции". Значит ли это, что я умозакключаю про себя: "Меня всегда сжигало пламя, следовательно, это случится и

теперь"? Или же прежний опыт причина моей уверенности, а не ее основание? Является ли прежний опыт причиной уверенности? Это зависит от того, в какой системе гипотез, естественных законов рассматривается феномен уверенности.

Оправданна ли эта уверенность? То, что люди принимают за обоснование, показывает, как они мыслят и живут.

326. Мы ожидаем этого и поражаемся тому; но цепь

оснований имеет конец.

327. "Можно ли мыслить, не говоря?" А что такое мыслить? Ну, а разве ты никогда не думаешь? Разве ты не можешь понаблюдать за самим собой и усмотреть, что же происходит? Ведь это должно быть совсем просто. Тебе же не надо дожидаться этого, как астрономического события, чтобы затем, может быть, в спешке делать наблюдения.

328. Ну, а что еще называют словом "мыслить"? По отношению

к чему люди приучены
употреблять данное слово? Разве,
утверждая, что я мыслил, я всякий
раз должен быть прав? Какого рода
ошибка скрывается здесь?
Существуют ли обстоятельства,
при которых человек спросил бы:
"Разве то, что я тогда делал,
действительно было мышлением;
не заблуждаюсь ли я?" Допустим,
кто-нибудь в процессе
размышлений проводит
измерения; прекращает ли он
мыслить, когда по ходу измерений
перестает говорить с самим собой?

329. Когда я мыслю вербально, "значения" не предстают в моем сознании наряду с речевыми выражениями; напротив, сам язык служит носителем мысли.

330. Разве мышление род разговора? Хотелось бы сказать: это то, что отличает осмысленную речь от бессмысленного словоговорения. И вот уж кажется, что мышление аккомпанемент речи. Некий процесс, который может сопровождать что-то другое или же протекать самостоятельно.

Произнеси фразу: "А перо-то, кажется, тупое. Ну ничего, сойдет". Сначала обдуманно; затем бездумно; наконец, воспроизведи только мысль, без слов. Ну, а по ходу действия я мог бы проверить кончик моего пера, скривить лицо, а затем со смиренной миной продолжить письмо. И, занимаясь различными измерениями, я бы мог вести себя так, что всякий наблюдающий за мной сказал бы, что я без слов думал: если две величины равны третьей, то они равны между собой. Но то, что здесь составляет мысль, не является процессом, который

должен сопровождать слова, коль скоро их не следует произносить бездумно.

331. Представь себе людей, которые могли бы мыслить только вслух. (Как существуют люди, которые могут читать только вслух.)

332. Хотя мы иногда называем "мышлением" предложение вместе с сопровождающим его душевным процессом, но "мыслью" мы называем не это сопровождение. Произноси предложение и мысли

его; произноси его с пониманием! А теперь, не произнося его, только делай то, что сопровождало его при осмысленном произнесении! (Спой эту песню с выражением! А теперь повтори это выражение без пения! И здесь также можно что-то повторить; например, телодвижения, учащенное и замедленное дыхание и т.д.)

333. "Это может сказать только тот, кто в этом убежден". Как помогает ему убежденность, когда он высказывает это? Сосуществует ли она с высказанным выражением? (Или же

перекрывается им, как перекрывается тихий тон громким, так что его уже как бы нельзя услышать при переходе к громкой тональности?) А что, если бы кто-то утверждал: "Чтобы суметь пропеть мелодию по памяти, нужно мысленно слышать и повторять ее"?

334. "Итак, ты, собственно, хочешь сказать..." С помощью этой фразы мы направляем кого-нибудь от одной формы выражения к другой. Человек склонен использовать такую картину: то, что он, собственно, "хотел

сказать", что он "подразумевал", уже присутствовало в его сознании еще до того, как было высказано. Разного рода обстоятельства могут побудить нас отказаться от одной формы выражения и заменить ее другой. Чтобы это понять, полезно рассмотреть то отношение, в котором находится решение математической проблемы к причине и основанию ее постановки. Понятие "трисекции угла с помощью линейки и циркуля", когда люди пытаются проделать такое деление и, с другой стороны, когда доказано, что такового не существует.

335. Что происходит, когда мы стараемся, например, при написании письма найти правильное выражение для наших мыслей? Данный способ выражения уподобляет такой процесс переводу или описанию: мысли уже наличествуют (возможно, уже заранее даны) и мы просто ищем им выражение. Эта картина более или менее подходит для различных случаев. Но и происходить при всем том может разное! Я поддаюсь настроению, и выражение приходит. Или передо мной возникает некая картина, которую

я стараюсь описать. Или же: мне приходит в голову английское выражение, а я пытаюсь припомнить его немецкий эквивалент. Или я делаю жест и спрашиваю себя: "Какие слова соответствуют этому жесту?" И т.д.

Ну, а каким должен быть ответ на вопрос: "Есть ли у тебя мысль до того, как ты ищешь для нее выражение?" Или на вопрос: "В чем состояла эта мысль, как она существовала до ее выражения?"

336. Это напоминает случай, когда человеку представляется, что нельзя непосредственно мыслить предложениями с таким странным порядком слов, как в немецком или латинском языке. На этих языках, по его мнению, сначала нужно мыслить, а потом уже расставлять слова в их необычном порядке. (Некий французский политик написал однажды, что особенность французского языка состоит в том, что в нем слова стоят в том же порядке, как их мыслят.)

337. Но разве я уже с самого начала не замышлял, скажем, целостную конструкцию, скажем, предложения? Выходит, она уже была в моем сознании еще до того, как была высказана! Если бы она присутствовала в моем сознании, то было бы противоестественно, чтобы порядок слов в ней был другим. Но мы тут вновь создаем вводящую в заблуждение картину "замышляемого" (Beabsichtigen), а значит, и употребления этого слова. Намерение вплетено в соответствующую ситуацию, в людские обычаи и институты. Не существуй техники игры в

шахматы, у меня не могло бы возникнуть намерение сыграть шахматную партию. То, что я в общем и целом заранее замышляю определенную конструкцию предложения, обеспечивается тем, что я могу говорить по-немецки.

338. Ведь сказать что-то можно, лишь научившись говорить. Выходит, тот, кто намерен что-то сказать, тоже должен научиться этому, овладеть языком. И все-таки ясно, что, желая говорить, не обязательно говорят, как можно хотеть танцевать, не танцуя.

А раздумывая об этом, мы мысленно прибегаем к представлению о танце, речи и т.д.

339. Мышление не является нематериальным (unk"rperlicher) процессом, который придает жизнь и смысл речи и который можно было бы отделить от речи, подобно тому как дьявол удалил с Земли тень Шлемиля. Но как это понимать: "не является нематериальным процессом"? Стало быть, мне известны "нематериальные процессы", но мышление не является одним из них? Нет, выражение

"нематериальный процесс" я привлек на помощь, находясь в затруднительном положении и пытаясь наиболее простым способом объяснить значение слова "мыслить".

Однако можно было бы сказать "Мышление нематериальный процесс", если бы мы таким образом хотели отличить, например, грамматику слова "мыслить" от грамматики слова "питаться". Только это слишком слабо выявляет разницу значений. (Это все равно что сказать: "Цифры это действительные, а

числа не"действительные объекты.) Неудачный способ выражения верное средство впасть в путаницу. Он как бы преграждает выход из нее.

340. Как функционирует какое-нибудьслово, нельзя угадать. Следует взглядеться в его употребление и научиться на этом.

Трудность, однако, состоит в том, чтобы устранить предрассудок, препятствующий этому обучению. Это не глупый предрассудок.

341. Лишенную мысли и осмысленную речь следует сравнить с механическим и осмысленным исполнением музыкального произведения.

342. Уильям Джемс, чтобы показать возможность мышления без речи, цитирует воспоминания одного глухонемого, мистера Балларда, поведавшего, что он еще в раннем возрасте, до того как научился говорить, размышлял о Боге и мире. Что бы это могло значить! Баллард пишет: "Именно во время этих очаровательных

прогулок, за два или три года до моего приобщения к азам письменного языка, я начал задавать себе вопрос, как возник мир". Уместно спросить его: а уверен ли ты, что это правильный перевод твоих бессловных мыслей в слова? И почему здесь приходит в голову этот вопрос, который в других обстоятельствах, кажется, вовсе не возникает? Хочу ли я сказать, что пишущего обманывает его память? Я даже не знаю, сказал ли бы я это. Эти воспоминания необычное явление памяти, и я не знаю, какие выводы о прошлом

рассказчика можно было бы извлечь из них!

343. Слова, которыми я выражаю мои воспоминания, это мои реакции на воспоминания.

344. Мыслимо ли, чтобы люди, никогда не говорившие вслух, при всем том владели внутренней речью, молчаливо обращались к самим себе?

"Если бы люди всегда беззвучно говорили лишь с самими собой, то они бы просто делали постоянно

то, что делают время от времени и сегодня". Следовательно, это совсем нетрудно себе представить, достаточно сделать несложный переход от некоторых ко всем. (Подобно тому как: "Бесконечно длинный ряд деревьев это просто ряд, который не имеет конца".) Критерием того, что человек разговаривает про себя, служит для нас то, что он говорит нам, и все его остальное поведение. Мы утверждаем, что человек разговаривает с самим собой, только в том случае, если он может говорить и в обычном смысле этого слова. Мы же не

говорим этого о попугае или о граммофоне.

345. "Что происходит иногда, могло бы происходить всегда". Для чего могло бы сгодиться такое предложение? Оно напоминает следующее: "Если $F(a)$ имеет смысл, то имеет смысл и $(x) F(x)$ ". "Если может случиться, что кто-то в игре сделает ложный ход, то можно допустить, что и все люди во всех играх не делают ничего другого, кроме ложных ходов". Так нами овладевает искушение искаженно понять логику наших выражений,

неправильно представить
употребление наших слов.

Приказы иногда не выполняют. Но что бы вышло, если бы приказы никогда не выполнялись? Понятие "приказ" потеряло бы смысл.

346. А разве нельзя вообразить, что Бог вдруг дарует разум попугаю и тот начинает говорить с самим собой? Но здесь важно то, что для такого представления мне потребовалось вообразить божество.

347. "Но по себе-то я знаю, что значит "говорить с самим собой". И будь я лишен органов звуковой речи, я все же мог бы вести разговоры с самим собой".

Если я знаю это только применительно к себе, то, выходит, я знаю лишь то, что я так называю, а не то, что кто-то другой называет так.

348. "Эти глухонемые обучены общению лишь на языке жестов, с самим же собой, внутренне, каждый из них говорит на языке

звук". Ну разве тебе не понятно это? Ну, а как я могу узнать, понимаю ли я это?! Что можно делать с этим сообщением (если оно является таковым)? Вся идея понимания приобретает здесь сомнительный привкус. Не знаю, должен ли я ответить, что мне понятно это или же что непонятно. Я готов ответить: "Это немецкое предложение; на вид пока не пытаешься включить его в действие оно в полном порядке; оно взаимосвязано с другими предложениями, и потому так уж сразу не скажешь, что мы, по сути, не знаем, о чем оно говорит.

Каждый, чья восприимчивость не притуплена философствованием, замечает, что здесь что-то не так".

349. "Но это же вполне осмысленное допущение". Да, при обычных обстоятельствах эти слова и эта картина имеют привычное для нас применение. Если же, допустим, такое применение отпадает, то мы как бы впервые осознаем эти слова и эту картину в обнаженном виде.

350. "Но, предполагая, что кто-то испытывает боль, я ведь просто

допускаю, что он чувствует то же самое, что так часто ощущал я сам". Это ничего не дает. Это все равно что я бы сказал: "Ты же знаешь, что значит "Сейчас здесь 5 часов"; выходит, знаешь и что значит "сейчас на Солнце 5 часов". Это просто означает, что там точно такое же время, как и здесь, если здесь 5 часов". Объяснение с помощью тождества (Gleichheit) здесь не действует. Хотя я и знаю, что 5 часов здесь и 5 часов там можно назвать "одинаковым временем", но не знаю, в каких именно случаях следует говорить, что время тут и там одинаково.

Не является объяснением и фраза: предположение, что он испытывает боль, просто допущение, что он чувствует то же, что и я. Просто я вполне владею этим элементом "грамматики", то есть мне понятно: если бы говорили: печке больно и мне больно, тем самым утверждалось бы, что печь испытывает то же, что и я.

351. И все же мы по-прежнему склонны заявлять: "Чувство боли есть чувство боли испытывает ли его он или я, и я так или иначе

узнаю, больно ему или нет". С этим я вполне мог бы согласиться. А спроси ты меня: "В таком случае неужели ты не знаешь, что я имею в виду, говоря, что печке больно?" я мог бы на это ответить: "Эти слова способны вызвать у меня самые разнообразные представления, но от этого мало толку". Я в состоянии что-то представить себе и в связи со словами: "На Солнце было как раз 5 часов пополудни", например, настенные часы, показывающие 5. Но еще более удачным примером было бы применение слов "сверху", "снизу" к земному шару. В этом случае мы

имеет совершенно отчетливое представление о том, что означает "сверху" и что "снизу". Ведь я вижу, что я сверху, а земля подо мной! (И не смейся над этим примером! Да, еще в начальной школе нам втолковывали, что глупо так говорить. Но куда легче похоронить проблему, чем решить ее.) И только размышление показывает нам, что в этом случае слова "сверху" и "снизу" используются необычным образом. (Так мы можем говорить об антиподах как о людях, живущих "в низу" нашего земного шара. Но и за ними нужно

признать право употреблять то же самое выражение по отношению к нам.)

352. При этом случается, что мышление разыгрывает с нами удивительные трюки. Например, ссылаясь на закон исключенного третьего, мы готовы заявить: "Одно из двух: подобная картина либо представляется, либо же нет; третьего не дано!" Этот странный аргумент встречается и в других областях философии. "При бесконечном десятичном разворачивании числа p либо встречается группа "7777", либо же

нет третьего не дано". То есть: богу это известно, мы же этого не знаем. Но что сие значит? Мы используем картину, картину видимого ряда, обозримого для одного, а для другого нет. Тут закон исключенного третьего гласит: это должно выглядеть либо так, либо этак. Таким образом, по сути, он вовсе ничего не говорит и это самоочевидно, но предлагает нам некую картину. И проблема теперь должна заключаться в том, соответствует ли действительность этой картине или нет. Причем кажется, будто эта картина определяет, что и как мы должны

делать и к чему стремиться, но этого не происходит, и как раз потому, что мы не знаем, как ее нужно применять. В словах "Третьего не дано" или "Ведь третьего же не дано!" выражается лишь то, что мы не в состоянии отвести взор от этой картины, картины, которая выглядит так, словно в ней уже должны содержаться и проблема и ее решение, в то время как мы чувствуем, что это не так.

Подобно этому фраза "Он либо испытывает данное ощущение, либо же нет" прежде всего

вызывает в нашем сознании некую картину, которая, казалось бы, уже безошибочно определяет смысл этих высказываний. Как бы хочется сказать: "Теперь ты знаешь, о чем идет речь". Но как раз этого из данной фразы он еще не узнает.

353. Вопрос о том, возможно ли, и если да, то как верифицировать предложение, это просто особая форма вопроса: "Что под этим подразумевается?" Ответ вклад в грамматику предложения.

354. Грамматические колебания между критериями и симптомами создают впечатление, будто вообще существуют только симптомы. Мы говорим, например: "Опыт учит, что когда барометр падает, идет дождь; но он учит и тому, что в случае дождя мы испытываем определенные ощущения сырости и холода или же такие-то зрительные впечатления". Приводится и тот довод, что чувственные впечатления могут нас обманывать. Но при этом упускается из виду, что этот факт, что ощущения вводят нас в заблуждение относительно дождя,

находит свое основание в дефиниции.

355. Дело не в том, что наши чувственные впечатления могут нас обмануть, а в том, чтобы мы понимали их язык. (Язык же этот, как и любой другой, основывается на соглашении.)

356. Человек склонен говорить: "Дождь либо идет, либо не идет иное дело, как я это узнаю, как до меня доходит весть об этом". Ну, а поставим такой вопрос: что я называю "известием о том, что

идет дождь"? (Или же и об этом сообщении я располагаю только сообщением?) Что же тогда придает этому "сообщению" характер сообщения о чем-то? Не дезориентирует ли нас здесь форма выражения? Не внушаются ли нам ошибочные представления такой метафорой: "Мои глаза извещают меня о том, что там стоит стул"?

357. Мы не говорим: собака, возможно, разговаривает сама с собой. Потому ли, что мы так основательно знаем ее психику? Что ж, можно было бы сказать:

наблюдая поведение живого существа, наблюдают и его психику. Но разве скажешь о себе: я разговариваю сам с собой, потому что веду себя таким-то образом? На основе наблюдений за своим поведением я этого не говорю. Но это утверждение имеет смысл только потому, что я веду себя таким образом. Так не потому ли оно имеет смысл, что я подразумеваю это?

358. Так не наше ли подразумевание придает смысл предложению? (С этим, конечно, связано и то, что, имея

бессмысленный ряд слов,
невозможно что-то
подразумевать.) Осмысливание
осуществляется в сфере душевного,
и оно также является чем-то
сугубо личным! Это неуловимое
нечто, сопоставимое только с
самим сознанием.

Как можно находить это
смешным! Это как бы сон нашего
языка.

359. Может ли машина думать?
Может ли она испытывать боль?
Что же, разве мы должны называть

человеческое тело такой машиной?
А ведь оно, насколько возможно,
приближается к тому, чтобы быть
такой машиной.

360. Но машина же не способна
думать! Разве это эмпирическое
утверждение? Нет. Только о
человеке и ему подобных мы
говорим, что они думают. Мы
говорим это и о куклах и еще,
пожалуй, о привидениях.
Рассматривай слово "думать" как
инструмент!

361. Стул думает про себя: ...

ГДЕ? В одной из своих частей? Или вне своего тела, в окружающем его воздухе? Или же вообще нигде? Как же тогда различить внутреннюю речь этого стула и другого, стоящего вон там? Ну, а как обстоит дело с человеком; где он разговаривает с самим собой? Отчего этот вопрос кажется бессмысленным? И почему в данном случае не требуется уточнять место, а достаточно указать, что именно этот человек говорит с самим собой? В то же время вопрос, где происходит разговор стула с самим собой, кажется требующим ответа.

Дело в том, что мы хотим знать, каково предполагаемое подобие стула человеку; имеется ли в виду, например, что в верхней части спинки находится голова и т.д.

Как, собственно, человек мысленно говорит с самим собой, что при этом происходит? Каким образом я должен объяснять это? Ну, лишь таким образом, каким ты мог бы научить кого-то значению выражения "говорить с самим собой". Ведь мы еще детьми усваиваем значение этого выражения. Только о нашем наставнике никак не скажешь: он

учит этому, объясняя "что здесь происходит".

362. Напротив, нам кажется, будто наставник в данном случае косвенно внушает обучаемому значение выражения не говоря ему об этом прямо; что обучаемый в конце концов будет подведен к тому, что сам даст правильное указательное определение. Но это наша иллюзия.

363. "Если мне что-то представляется, то что-то же, вероятно, происходит!" Ну, что-то

происходит а чего ради я издаю при этом некий звук? По-видимому, для того, чтобы сообщить, что происходит. Но как вообще сообщают о чем-то? Когда говорят, что о чем-то сообщено? Что собой представляет языковая игра сообщения?

Я бы сказал: ты преувеличиваешь самоочевидность того, что человек способен о чем-то поведать кому-то. Иначе говоря, мы так привыкли к сообщениям, передаваемым с помощью языка, речи, что нам кажется, будто вся суть сообщения состоит в том, что

другой постигает смысл моих слов то есть нечто духовное, как бы выпускает его в свое сознание. Если же он при этом проделывает с ним и что-то еще, это не имеет отношения к непосредственной цели языка.

Люди склонны утверждать: "Благодаря сообщению они знают, что мне больно; оно вызывает этот духовный феномен; все остальное для сообщения несущественно". Выяснение же того, чем является этот странный феномен знания, предоставляется времени. Ведь душевные процессы необычны!

(Это все равно что сказать: "Часы показывают нам время. Что такое время, еще не установлено. А зачем людям считать показания времени к делу не относится".)

364. Кто-то производит в уме какой-то расчет. Полученный результат он применяет, скажем, при создании моста или машины. Склонен ли ты сказать, что на самом деле он нашел это число не с помощью расчета? Что оно явилось ему словно во сне? Но ведь его нужно было рассчитать, и оно было рассчитано. Он же знает, что и как он рассчитал, и что

правильный результат был бы необъясним без вычисления. Ну, а если бы я сказал: "Ему лишь показалось, что он вычислил. А почему надо объяснять правильность результата? Разве объяснишь сколько-нибудьубедительно уже то, что, ни слова не говоря, не делая никаких пометок, он вообще МОГ ВЫЧИСЛЯТЬ?"

Часть 10.

Разве вычисление в воображении в некотором смысле менее реально, чем расчет на бумаге? Это реальное вычисление в уме. Похоже ли оно на вычисление на бумаге? Не знаю, называть ли их сходными. Разве лист белой бумаги с черными линиями на нем похож на человеческое тело?

365. Разыгрывают ли Адельхайд и епископ настоящую шахматную партию? Конечно. Они не просто прикидываются играющими что было бы вполне возможно в

театральном спектакле. Ну, а если бы партия, скажем, не имела начала! Да как же так! Тогда она не была бы шахматной партией.

366. Является ли счет в уме менее реальным, чем счет на бумаге? Пожалуй, мы склонны утверждать нечто подобное; однако к этому вопросу можно подойти и с противоположной точки зрения, сказав себе: бумага, чернила и т.д. лишь логические конструкции из наших чувственных данных.

"Умножение... я выполнил в уме" разве я не верю такому высказыванию? Но действительно ли это было умножением? Это было не просто "какое-то" умножение, а это умножение выполняемое в уме. Вот тут-то я и заблуждаюсь. Ибо теперь я склонен заявить: здесь имел место некий духовный процесс, соответствующий умножению на бумаге. Так что имело бы смысл говорить: "Этот процесс в сфере духа соответствует этому процессу на бумаге". А тогда имело бы смысл говорить о способе отображения, согласно которому

мысленный образ знака
представляет сам знак.

367. Картина представления это такая картина, которую описывают в том случае, когда описывают свое представление.

368. Я описываю кому-то комнату, а после велю ему нарисовать некую импрессионистическую картину на основе моего описания в знак того, что он его понял. А он изображает стулья, которые в моем описании были зелеными,

темно"красной краской; там, где говорилось о "желтом", он изображает "голубое". У него сложилось об этой комнате такое впечатление. Я же в таком случае говорю: "Да уж, похоже дальше некуда".

369. Кто-то готов спросить: "Как и что происходит, когда человек считает в уме?" И в каком-то конкретном случае возможен ответ: "Сначала я складываю 17 и 18, затем вычитаю 39..." Но это не ответ на наш вопрос. Таким способом не объяснить, что называется счетом в уме.

370. Следует спрашивать не о том, что такое представления или же что происходит, когда человек что-то представляет, а о том: как употребляется слово "представление". Но это не означает, что я хочу говорить лишь о словах. Ведь и вопрос о природе представления, равно как и мой вопрос, обращен к слову "представление". А говорю я лишь о том, что этот вопрос не должен решаться ни для человека, что-то себе представляющего, ни для другого лица путем указания или описания какого-нибудь процесса.

Первый вопрос тоже вопрошает об истолковании слова, но склоняет нас к ожиданию неверного типа ответа.

371. Сущность ярко выражается в грамматике.

372. Обдумаем: "В языке единственным коррелятом природной необходимости выступает установленное правило. Это единственное, что в том или ином предложении можно выжать (abziehen) из этой безусловной необходимости".

373. О том, какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика. (Теология как грамматика.)

374. Большая трудность заключается здесь в том, чтобы не изображать дело так, будто есть нечто, что человек не в состоянии сделать. Как будто имеется предмет, из которого я вывожу его описание, будучи не в состоянии показать его кому бы то ни было. И пожалуй, лучшее, что я могу здесь предложить, это поддаться искушению использовать данную

картину, а затем исследовать, как выглядит применение этой картины.

375. Как обучают кого-нибудь читать про себя? Как узнают, что он это усвоил? Как он сам узнает, что делает то, что от него требуется?

376. Когда я в уме произношу алфавит, каков критерий того, что я делаю то же самое, что и другой, беззвучно повторяющий алфавит? Можно установить, что в моей гортани при этом происходит то

же самое, что и в его. (Как и в том случае, когда мы оба думаем об одном и том же, желаем одного и того же и т.д.) Но разве употреблению слов "произносить про себя то-то" мы учились посредством указания на процесс в гортани или же в мозгу? И разве нельзя допустить также, что моему и его представлениям о звуке а соответствуют разные физиологические процессы? Вопрос в том: как сравниваются представления?

377. Логик, вероятно, подумает:
тождественное есть

тождественное. А как человек убеждается в тождестве это уже психологический вопрос. (Высокое есть высокое а то, что человек иногда видит это, а иногда слышит, относится к психологии.)

Что служит критерием тождества двух представлений? Каков критерий того, что представляется красное? Когда речь идет о ком-то другом, для меня таким критерием выступает то, что он говорит и делает. Если же это касается меня самого, то у меня таких критериев вообще нет. То, что справедливо для

"красного", справедливо также и для -тождественного".

378. "Прежде чем сделать вывод, что два моих представления тождественны, я должен их узнать как одинаковые". А если это произошло, как мне узнать, что слово -тождественный" описывает то, что я узнал? Это возможно лишь при том условии, если я способен выражать это узнавание каким-то явным образом и другой человек в состоянии научить меня, что подходящим словом для такого случая является слово -тождественный".

Ведь если я нуждаюсь в обосновании употребления слова, то оно должно быть обоснованием и для другого.

379. Сначала я удостоверяюсь, что нечто есть это; а затем вспоминаю, как оно называется. Поразмышляй: в каких случаях можно по праву это сказать?

380. Как я узнаю, что это красное? "Я вижу, что оно таково; ну и мне известно, что это называется так". Это? Что

именно?! Какого рода ответ на такой вопрос имеет смысл?

(Ты все снова и снова ориентируешься на указательное определение на базе внутреннего опыта.)

К персональному переходу от увиденного к слову нельзя было бы применить никаких правил. Правила здесь и впрямь повисали бы в воздухе; из"за отсутствия института их применения.

381. Как я узнаю, что этот цвет красный? Ответом было бы: "Я же владею немецким языком".

382. Как можно подтвердить, что при этих словах у меня возникает это представление?

Разве кто-то указывал мне на представление синего цвета и говорил, что оно является представлением синего?

Что означают слова "это представление"? Как человек

указывает на представление? Как дважды указывают на одно и то же представление?

383. Мы анализируем не феномен (например, мышление), а понятие (например, мышления), а стало быть, употребление слова. Поэтому может показаться, будто мы придерживаемся номинализма. Номиналисты делают ошибку, толкуя все слова как имена, то есть реально не описывая их употребление, а как бы давая лишь бумажные инструкции к такому описанию.

384. Понятие "боль" ты усвоил вместе с языком.

385. Спроси себя: мыслимо ли, чтобы кто-то научился вычислению в уме, не вычислявши до этого письменно или устно? "Научиться этому" означает здесь: обрести умение делать это. Вопрос лишь в том, что считать критерием того, что кто-то это умеет. А разве невозможно, чтобы какому-то племени был бы знаком только счет в уме, и никакой другой? В таком случае стоит спросить: "А как бы это выглядело?" И придется представить себе это как некий

предельный случай. Но тогда возникает вопрос, склонны ли мы при этом все еще пользоваться понятием "вычисления в уме" или при таких обстоятельствах оно утрачивает свое назначение; поскольку явления тяготеют тут к другому образцу.

386. "Но почему ты так мало доверяешь самому себе? Ведь обычно ты все-таки знаешь, что такое "вычислять". Так, заявив, что мысленно вычисляешь что-то, ты выполняешь это. Не вычислив, ты не говоришь, что вычислил. Так же как если ты скажешь, что

представляешь себе что-то красное, то это и будет красным. Да и в других случаях тебе известно, что такое "красное". К тому же: ты не всегда полагаешься на согласие других; ибо часто сообщаем, что видел что-то, чего не видел никто другой". Но ведь я доверяю самому себе я же говорю без колебаний, что вычислил это в уме, что мне представился этот цвет. Трудность состоит не в том, что я"де сомневаюсь, действительно ли мне представилось что-то красное. Дело вот в чем: мы должны быть в состоянии сразу же показать или

описать, какой цвет представился нам, так чтобы иллюстрация представления в действительности не составляла для нас никакого труда. Тогда, выходит, они настолько похожи, что их можно спутать? Но я же способен сразу узнать человека по его изображению. Да, но можно ли спросить "как выглядит правильное представление этого цвета?", или же "как его обретают?"; могу ли я научиться этому?

(Я не могу принять его свидетельство, потому что это не

свидетельство. Он говорит мне лишь то, что склонен сказать.)

387. Глубокий аспект вопроса легко ускользает от нас.

388. "Хотя я и не вижу здесь ничего фиолетового, но, если ты мне дашь коробку с красками, я смогу показать тебе в ней этот цвет". Как человек может знать, что он в состоянии показать его, если..., то есть что увидев его, можно узнать?

Каким образом, основываясь на своем представлении, я знаю, как действительно выглядит цвет?

Откуда мне известно, что я смогу нечто сделать? То есть что мое нынешнее состояние как раз то, в котором я способен это сделать?

389. "Представление должно походить на свой объект больше, чем любая картина: ибо, сколь бы ни походила создаваемая картина на то, что она должна изображать, она всегда может быть и картиной

чего-то другого. Но в самой природе представления заложено, что оно является представлением этого, а не чего-то другого". Таким образом можно прийти к тому, чтобы рассматривать представление как суперизображение.

390. Разве можно себе представить, что камень обладает сознанием? Будь некто на такое способен разве этим просто не подтверждалось, что для нас представляет интерес не это изощренное воображение?

391. Я еще могу, пожалуй, представить себе (хотя это и нелегко), что каждый из людей, которых я вижу на улице, испытывает ужасные боли, но искусно их скрывает. При этом важно, чтобы я представлял себе, что в данном случае означает искусное притворство. То есть чтобы я попросту не сказал себе: "Так у него же болит душа, а при чем здесь его тело!" или "В конце концов это не должно сказываться на его теле!". Ну, а если я это себе представляю что я стану делать, что говорить себе самому, как смотреть на людей? Я смотрю,

например, на кого-нибудь думаю про себя: "Должно быть, тяжело смеяться, испытывая такие боли" и много другого в том же духе. Я словно бы играю некую роль, веду себя так, как если бы другим было больно. Когда так поступаешь, принято, например, говорить, что тебе представляется...

392. "Когда я представляю себе, что ему больно, со мной, собственно, происходит лишь..." При этом кто-то другой говорит: "Я полагаю, что могу это себе представить, и не думая при этом..." ("Я полагаю, что могу

думать без участия речи".) Это ни к чему не ведет. Анализ колеблется между естественно"научным и грамматическим.

393. "Представляя себе, что смеющемуся человеку на самом деле больно, я, однако, не представляю себе какого-то болевого поведения, ибо вижу как раз противоположное. Что же тогда я представляю себе?" Я сказал уже об этом. А представлять себе, будто я чувствую боль, не обязательно. "Но тогда как же это осуществляется: как это себе представляют?" Ну, а

где (вне философии)
употребляются такие слова: "Я
могу себе представить, что ему
больно", или "Мне представляется,
что...", или же "Представь, что...!?"

Человеку, которому предстоит
исполнить театральную роль,
говорят, например: "Ты должен
здесь себе представить, что этому
человеку больно, но он это
скрывает", и при этом ему не дают
никаких указаний, не говорят, что
реально ему нужно делать. Вот
почему выполненный анализ тоже
не затрагивает сути дела. Мы здесь
наблюдаем за актером,

представляющим себе эту ситуацию.

394. При каких обстоятельствах мы бы спросили кого-нибудь: "Что, собственно, в тебе происходило, когда ты представлял себе это?" И какого ответа ожидали бы?

395. Отсутствует ясность относительно того, какую роль играет в нашем исследовании способность представления. То есть, в какой мере она гарантирует смысл предложения.

396. То, что человеку в связи с предложением что-то представлялось бы, столь же мало существенно для понимания предложения, как и то, что в соответствии со своим представлением он бы делал к нему некий эскиз.

397. Вместо "возможности представления" здесь можно также говорить о возможности изображения тем или иным способом. А такое изображение, конечно, может указать надежный путь к дальнейшему употреблению

предложения. С другой стороны, картина может стать навязчивой и оказаться совершенно бесполезной.

398. "Но ведь, что-то себе представляя или же действительно видя предметы, я обладаю чем-то, чем не располагает мой сосед". Я тебя понимаю. Тебе хочется оглядеться вокруг себя и сказать: "Во всяком случае, ЭТИМ обладаю лишь я". К чему эти слова? Они ни на что не годятся. Верно, и разве нельзя добавить: "Здесь и речи нет ни о каком "видении" а потому и ни о каком "обладании" и ни о

каком субъекте, а значит, и ни о каком "я"? Разве можно не спросить: в каком смысле ты обладаешь тем, о чем ведешь речь и утверждаешь, что только ты обладаешь им? Разве ты им владеешь? Ты его не видишь разом. Разве тебе не следовало бы сказать, что этим не владеет никто? И ясно также: если логически исключить, что кто-то другой обладает чем-то, то утверждение, что этим обладаешь ты, теряет смысл.

А о чем ты тогда говоришь? Да, я говорил, что внутренне знаю, что

ты имеешь в виду. А это означало: мне известно, как мыслится восприятие, видится этот объект, как предполагается указывать на него, скажем взглядом и жестом. Я знаю, как в этом случае люди смотрят перед собой, вокруг себя и прочее. Я думаю, можно сказать: ты говоришь (например, сидя в комнате) о некой "визуальной комнате". "Визуальная комната" это то, что не имеет обладателя. Я в столь же малой мере могу обладать ею, как и пройтись по ней, осмотреть ее или указать на нее. Поскольку она не может быть чьей-то еще, она не принадлежит и

мне. Иначе говоря: она не принадлежит мне если пытаться применить к ней ту же форму выражения, что и к материальной комнате, в которой я сижу. Описание последней не нуждается в упоминании ее владельца; и она не обязательно имеет владельца. Но тогда и визуальная комната может не иметь владельца. "Ведь она не имеет, можно сказать, никакого хозяина ни вне, ни внутри нее".

Представь себе, что на картине изображен вымышленный пейзаж с домом и кто-то спрашивает:

"Кому принадлежит дом?" Между прочим, на это можно было бы ответить: "Крестьянину, который сидит перед ним на скамейке". Но в таком случае он не может, например, войти в свой дом.

399. Можно было бы также сказать: ведь владелец визуальной комнаты должен быть однотипен комнате; однако в ней его нет, а какого-то "вне" (Außen) тоже не существует.

400. Тот, кто как бы открыл "визуальную комнату", на самом

деле нашел только новый способ речи, новое сравнение и, можно сказать, новое впечатление.

401. Эту новую точку зрения ты толкуешь как видение нового объекта. Предпринятый тобой же грамматический маневр ты толкуешь как квазифизическое явление, которое ты наблюдаешь. (Подумай, например, над вопросом: "Является ли чувственно данное тем материалом, из которого строится Вселенная?")

Но небезупречно мое выражение: ты предпринял "грамматический" маневр. Прежде всего ты открыл новый взгляд на вещи. Это подобно тому, как если бы ты изобрел новый стиль живописи; или новый стихотворный размер, или же новый вид пения.

402. "Хотя я и говорю: "Сейчас у меня вот такое представление", однако слова "у меня" это лишь знак для кого-то другого: в описании же представления изображается весь

представляемый мир". Ты имеешь в виду: слова "у меня" подобны возгласу "Внимание!". Ты склонен утверждать, что, по сути, все это должно выражаться иначе. Например, человек просто сделает знак рукой, а затем даст описание. Не соглашаясь, как в данном случае, с выражениями нашего повседневного языка (тем не менее несущими свою службу), мы бываем движимы мысленной картиной, противоречащей картине нашего обычного способа выражения. В таком случае мы испытываем искушение утверждать, что наш способ

выражения описывает факты не такими, каковы они в действительности. Как если бы, например, предложение "Ему больно" могло быть ложным и иным образом, не только оттого, что этому человеку не больно. Словно бы форма выражения сообщала что-то ложное, даже если данное предложение с необходимостью утверждало бы что-то истинное.

Ведь именно так выглядят споры между идеалистами, солипсистами и реалистами. Одни так нападают на нормальную форму выражения,

словно они атакуют некоторое утверждение; другие же так защищают ее, как если бы они констатировали факты, признаваемые каждым разумным человеком.

403. Если бы словом "боль" я обозначал лишь то, что ранее называл "моей болью", а другие "болью Л.В.", я бы не нанес другим людям никакого ущерба, коль скоро предусмотрена система обозначений, в которой выпадение слова "боль" из других сочетаний было бы как-то восполнено. Тогда другим людям по-прежнему

соболезновали бы, их бы лечили врачи и т.д. Естественно, не было бы никаких возражений и против такого вот способа выражения: "Но другие ведь испытывают то же, что и ты!"

А что бы выигрывалось от этого способа изложения? Ничего. Но и солипсист, защищая свои взгляды, не стремится ни к каким практическим преимуществам!

404. "Говоря "мне больно", я не указываю на персону, испытывающую боль, так как в

известном смысле вовсе не знаю, кому больно". И это можно обосновать. Ибо прежде всего: я же не утверждал, что то или иное лицо испытывает боль, а сказал "я испытываю...". Ну, а тем самым я ведь не называю никакого лица. Так же как никого не называю, когда от боли издаю стон. Хотя другой человек может понять по стону, кто испытывает боль.

Что же означает тогда: знать, кому больно? Это значит, например, знать, какой человек в этой комнате испытывает боль тот ли, кто сидит там, или тот, кто

стоит в этом углу, или же тот рослый блондин и т.д. Что я хочу всем этим сказать? То, что существуют самые разные критерии "идентичности" личности.

Ну, а какой же из них побуждает меня сказать, что "мне" больно? Ни один.

405. "Но ведь, говоря "Мне больно", ты же, во всяком случае, хочешь привлечь внимание других к особому лицу". Ответом могло

бы быть: "Нет, я хочу обратить их внимание только на меня".

406. "И все же словами "Я испытываю..." ты хочешь провести различие между тобой и другими". Можно ли это сказать во всех случаях? Даже если я просто издаю стон? Да и желая "провести различие" между мной и другими людьми разве я хочу тем самым провести различие между личностями Л.В. и N.N.?

407. Человек мог бы подумать, что кто-то стонет: "Кому-то

больно не знаю кому!" а потом поспешить этому стонавшему на помощь.

408. "Однако у тебя не возникает вопроса, испытываешь ли боль ты или же кто-то другой!" Предложение "Я не знаю, больно ли мне или кому-то другому" было бы логическим произведением, и одним из его сомножителей было бы: "Я не знаю, больно ли мне или нет", а это не является осмысленным предложением.

409. Представь себе, что несколько человек, среди них и я, стали в круг. Кто-то из нас, то один, то другой, соединяется с полюсами электрической машины, но так, что мы этого не можем видеть. Я наблюдаю за лицами людей и стараюсь узнать, кто же из нас в данный момент находится под током. Вдруг я говорю: "Теперь я знаю, кто это; это как раз я". В этом смысле я бы мог также сказать "Теперь я знаю, кто здесь ощущает удар тока: это я сам". Это был бы несколько необычный способ выражения. Но если предположить, что я могу

чувствовать удар тока и тогда, когда под током находится кто-то другой, то выражение "Теперь я знаю, кто..." становится совершенно неуместным. Оно не принадлежит этой игре.

410. "Я" не наименование какой-то персоны, "здесь" не название какого-нибудь места, "это" не имя. Но они находятся во взаимосвязи с именами. С их помощью объясняются имена. Верно также, что для физики не свойственно употреблять эти слова.

411. Подумай, как можно применять эти вопросы и как разрешать:

1) "Мои ли это книги?"

2) "Моя ли это нога?"

3) "Мое ли это тело?"

4) "Мое ли это ощущение?"

Каждый из этих вопросов имеет практическое (нефилософское)

применение.

К 2): Подумай о случаях, когда моя нога анестезирована или парализована. При определенных обстоятельствах вопрос можно было бы решить, установив, чувствую ли я в этой ноге боль.

К 3): При этом человек мог бы указывать на изображение в зеркале. Но при некоторых обстоятельствах кто-то мог бы задать этот вопрос, и коснувшись тела рукой. При других же он был

бы равнозначен вопросу: "Неужели мое тело выглядит так?"

К 4): Какое именно ощущение здесь выделено как это? То есть: как употребляется тут указательное местоимение? Несомненно, иначе, чем, скажем, в первом примере! При этом путаница возникает из-за того, что человеку представляется, будто, обращая внимание на какое-то ощущение, он тем самым указывает на него.

412. Чувство непреодолимой пропасти между сознанием и мозговым процессом: как получается, что на размышлениях нашей повседневной жизни это не сказывается? Мысль об этом принципиальном различии связана с легким головокружением, наступающим тогда, когда мы проделываем логические трюки. (Подобные же головокружения вызывают у нас некоторые теоремы теории множеств.) Когда же в данном случае нас охватывает это чувство? Ну, например, когда я особым образом направляю свое внимание на собственное сознание

и, словно бы хватаясь при этом за лоб, с изумлением говорю себе: предполагается, что ЭТО порождено мозговым процессом! Но что это может означать: "направить свое внимание на собственное сознание"? Что может быть более странным, чем это? То, что я бы назвал таким образом (ибо эти слова реально не употребляются в обыденной жизни), было неким актом созерцания. Я смотрел остановившимся взглядом прямо перед собой но вовсе не на какую-то определенную точку или предмет. Мои глаза были широко

раскрыты, брови не были сдвинуты (как это бывает в большинстве случаев, когда я интересуюсь определенным объектом). Созерцанию не предшествовал какой-то интерес подобного рода. Мой взгляд был "отсутствующим"; или же напоминал взгляд человека, любующегося освещением неба и впитывающим его свет.

А подумай"ка над тем, что предложение, произнесенное мною как парадокс (это порождено мозговым процессом!), вовсе не парадокс. Оно могло бы

прозвучать по ходу эксперимента, призванного показать, что наблюдаемый мною световой эффект порожден возбуждением определенной части головного мозга. Но я изрек это предложение не в той обстановке, в которой оно имело бы повседневный, непарадоксальный смысл. И направленность моего внимания была совсем не той, какая нужна для проведения эксперимента. (В случае эксперимента мой взгляд был бы "сосредоточенным", а не "отсутствующим".)

413. Здесь мы сталкиваемся со случаем интроспекции, напоминающей ту, с помощью которой Уильям Джемс выявил, что понятие "я" ("Selbst") состоит главным образом из "своеобразных движений в голове и между головой и гортанью". Причем Джемсова интроспекция обнаружила не значение слова "я" (поскольку оно означает примерно то же, что слова "личность", "человек", "я сам", "он сам"). И не анализ такого рода реалий (Wesens). Она выявила другое: сосредоточенное внимание философа, мысленно

произносящего слово "я" и стремящегося проанализировать его значение. (А из этого можно многому научиться.)

414. Ты полагаешь, что все-таки должен ткать некую ткань: поскольку сидишь за ткацким станком хотя и пустым и делаешь движения ткача.

415. Все, чего мы достигаем, это, по сути, замечания по естественной истории людей; притом, не добывание диговин, а констатация того, в чем никто не

сомневался, что избежало нашего внимания только потому, что постоянно было перед глазами.

416. "Люди единодушно заявляют: они видят, слышат, чувствуют и т.д. (даже если некоторые из них слепы или глухи). Тем самым они свидетельствуют о себе самих, что они обладают сознанием". Но это так странно! Кому, собственно, я делаю сообщение, говоря "У меня есть сознание"? Зачем мне говорить это самому себе и как может понять меня другой человек? Ну, такие предложения,

как "Я вижу", "Я слышу", "Я в сознании", действительно используются. Я говорю врачу: "Теперь я снова слышу на это ухо", а тому, кто считает, что у меня обморок, говорю: "Теперь я снова в сознании" и т.д.

417. Выходит, наблюдая за собой, я отдаю себе отчет в том, что смотрю на что-либо или же что я в сознании? А к чему вообще говорить о наблюдении! Почему не сказать просто "Я замечаю, что нахожусь в сознании"? Но к чему здесь слова "Я замечаю", почему бы не сказать "Я в сознании"? Но

разве слова "Я замечаю" тут не показывают, что я обратил внимание на мое сознание? чего обычно не делаю. Если это так, то предложение "Я замечаю, что..." говорит не о том, что я в сознании, а о том, что мое внимание направлено таким-то образом.

Но разве не особое переживание побуждает меня заявлять "Я снова в сознании"? Какое переживание? В какой ситуации мы это говорим?

418. Является ли то, что я обладаю сознанием, фактом

опыта? Но разве не говорят о человеке, что он обладает сознанием, а о дереве или камне что у них нет сознания? А что, если бы дело обстояло иначе? Что же, тогда все люди были бы лишены сознания? Нет, в обычном смысле слова не были бы. Но я бы, например, не имел сознания как я его теперь фактически имею.

419. При каких обстоятельствах я скажу, что племя имеет вождя? А вождь ведь должен обладать сознанием. Ему же нельзя не иметь сознания!

420. Разве нельзя вообразить, что люди вокруг меня это автоматы, что они не имеют сознания, если даже ведут себя так же, как обычно? Ну, если представить себе, что, сидя один в своей комнате, я вижу людей, исполняющих свои обязанности с неподвижным взглядом (как бы в трансе), то это будет, пожалуй, жутковатое представление. А попробуй"ка сосредоточиться на этом представлении в обычном людном месте, например на улице! Скажи, например, себе: "Вон те дети просто автоматы; вся их живость чисто механическая". И

эти слова либо вовсе ничего тебе не скажут, либо же у тебя возникнет какое-то тревожное чувство или что-то в этом роде.

Рассматривать живого человека как автомат это все равно что видеть в какой-то фигуре предельный случай или вариант другой фигуры, например видеть свастику в переплете оконной рамы.

421. Нам представляется парадоксальным, что в едином сообщении причудливо

смешиваются телесные состояния и состояния сознания: "Он испытывал тяжкие мучения и беспокойно метался". Это совершенно обычная ситуация; почему же тогда это кажется нам парадоксом? Потому, готовы мы сказать, что это предложение повествует об осязаемом и неосязаемом. А разве ты находишь нечто странное в таких словах: "Эти три перемычки придают зданию прочность"? Разве три и прочность осязаемы? Рассматривай предложение как инструмент, а его смысл как его применение!

Часть 11.

422. Во что я верю, если верю, что у человека есть душа? Во что верю я, когда верю, что данное вещество содержит два кольца атомов углерода? В обоих случаях на авансцену вынесена картина, смысл же оттеснен на задний план, то есть применение картины обозреть не так легко.

423. Конечно же, все это происходит внутри тебя. Я же при

ЭТОМ ЛИШЬ ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ
выражение, которым мы
пользуемся. Существует картина. И
я не оспариваю того, что она
оправданна в определенных
случаях. Мне бы только хотелось
понять еще и применение этой
картины.

424. Имеется картина, и я не
оспариваю ее правильности. Но
каково ее применение? Подумай о
картине слепоты как некоей
темноты в душе или голове
слепого.

425. В бесчисленном множестве случаев мы стремимся как раз найти картину, а коль скоро она найдена, ее применение происходит как бы само собой. В данном же случае мы уже имеем картину, которая то и дело навязывает себя нам, но она не помогает нам выйти из затруднения, которое здесь только начинается.

Спроси я, например: "Как представить себе, что этот механизм действует в этом корпусе?" ответом мог бы

послужить, скажем, рисунок в уменьшенном масштабе. Тогда мне могут сказать: "Видишь, вот так он действует внутри"; или, может быть: "Почему это тебя удивляет? То, что ты видишь здесь, происходит и там". Последнее, конечно, ничего не добавляет к объяснению, а лишь приглашает меня к применению данной мне картины.

426. Представляется, будто однозначно определять смысл призвана некая картина. По сравнению с тем, что показывает картина, действительное

употребление кажется лишенным чистоты. Здесь повторяется то же, с чем мы сталкивались в теории множеств, форма выражения кажется предназначенной как бы для Бога, знающего то, что нам знать не дано; ему видны бесконечные ряды в их целостности и зримо сознание людей. Для нас же, конечно, эти формы выражения как бы папская риза, в которую мы можем облачиться, но не совершать дальнейшие действия, так как у нас нет той реальной власти, которая бы придавала этому облачению смысл и цель.

В реальном употреблении выражений мы движемся как бы окольным путем, идем переулками; при этом, возможно, мы видим перед собой прямую улицу, однако не можем ею воспользоваться, потому что она постоянно перекрыта.

427. "Беседуя с ним, я не знал, что происходило в его голове". Говоря так, имеют в виду не мозговые, а мыслительные процессы. Эту картину следует принимать всерьез. Нам действительно хотелось бы

заглянуть за его лоб. И все же мы имеем в виду только то, что и обычно имели бы в виду, говоря: хотелось бы знать, что он думает. Надо сказать: мы располагаем этой яркой картиной и тем, как бы противоречащим этой картине, употреблением, посредством которого выражается психическое.

428. "Эта странная реалия (Wesen) "мысль"" но она не представляется нам странной, когда мы мыслим. Мысль кажется нам чем-то таинственным не в процессе мышления, а лишь когда мы как бы ретроспективно

вопрошаем: "Как это было возможно?" Как возможно, чтобы мысль имела дело с самим предметом? Нам кажется, что посредством мысли мы как бы уловили реальность.

429. Согласие, гармония мысли и действительности состоит в том, что в случае моего ложного утверждения: нечто является красным оно при всем том все же остается не красным. А чтобы объяснить кому-то значение слова "красное" в предложении "это не красное", я указываю на что-то красное.

430. "Приложи линейку к этому телу; она не говорит, что тело такой-то длины. Сама по себе она, так сказать, мертва и не совершает ничего такого, что совершает мысль". Это как если бы нам представилось, будто в живом человеке существенна его внешняя форма, и, придав куску дерева эту форму, мы смущенно смотрели бы на эту мертвую чурку, не имеющую ничего общего с живым существом.

431. "Между приказом и его выполнением существует

пропасть. Соединить их должно понимание".

"Лишь понимание предусматривает, что мы должны сделать ЭТО. Приказ же [сам по себе, как таковой] всего лишь звук, чернильный штрих".

432. Каждый знак, взятый сам по себе, кажется мертвым. Что придает ему жизнь? Он живет в употреблении. Несет ли он живое дыхание в самом себе? Или же употребление и есть его дыхание?

433. Когда мы отдаем приказ, может показаться, что то завершающее, чего требует приказ, должно оставаться невыраженным, ибо всегда сохраняется разрыв между приказом и его выполнением. Я хочу, допустим, чтобы кто-то сделал определенное движение, например поднял руку. Для полной ясности я показываю ему это движение. Такое изображение [нужного движения] представляется недвусмысленным; до тех пор пока не возникает вопрос: каким образом он узнает, что ему следует сделать именно это движение? Как он вообще

узнает, что знаки, которые я ему все время подаю, должны применяться именно таким образом? Ну, я, пожалуй, попытаюсь дополнить приказ другими знаками, показывая ему на своем примере, как действовать, делая поощрительные жесты, и т.д. Причем поначалу приказ напоминал бы заикание.

Словно бы знак ненадежным средствами пытался вызвать у нас понимание. Ну, а если мы все-таки понимаем, с помощью какого знака мы добиваемся этого?

434. Жест пытается скажем так создать образец, но это не удастся.

435. На вопрос: "Как достигается изображение чего-то с помощью предложения?" можно было бы дать такой ответ: "А разве ты этого не знаешь? Ты же видишь это при его использовании". Здесь же нет ничего скрытого.

Как предложение это делает? А разве ты этого не знаешь? Здесь ведь нет ничего утаенного.

Но ответ "Ты ведь знаешь, как предложение это делает; здесь нет ничего скрытого" склоняет к возражению: "Да, но тут все происходит так быстро, а для меня было очень важно увидеть это как бы более крупным планом".

436. Если полагать, будто вся сложность задачи тут состоит в том, что нужно описывать трудноуловимые явления, быстро ускользающий наличный опыт или что-то в этом роде, то легко попасть в тупик философствования. Тогда обычный

язык кажется нам слишком грубым, как будто мы должны иметь дело не с теми явлениями, о которых говорят повседневно, а "с теми, что легко ускользают и в своем возникновении и исчезновении лишь в общих чертах продуцируют те первые".

(Августин: *Manifestissima et usitatissima sunt, et eadem rursus nimis latent, et nova est inventio eorum*.)

437. Желание как бы заведомо знает, что его удовлетворит или удовлетворило бы; предложение,

мысль что их сделает истинными, даже если на самом деле этого вовсе не случится! Откуда это определение того, чего еще нет в наличии? Это деспотичное требование? ("Жесткость логической необходимости".)

438. "План как таковой есть нечто неудовлетворенное". (Подобно желанию, ожиданию, предположению и т.д.)

Под этим я подразумеваю: желание не удовлетворено, потому что оно желание чего-то;

верование, полагание, не удовлетворено, поскольку является полаганием, что происходит нечто, нечто действительное, нечто, находящееся вне процесса полагания.

439. В какой мере можно назвать желание, ожидание, верование и т.д. "неудовлетворенными"? Что служит для нас прообразом неудовлетворенности? Может быть, пустое пространство? А неужели о чем-то таком стали бы говорить, что оно не удовлетворено? Разве не было бы это еще одной метафорой? А

может быть, первообразом того, что мы называем неудовлетворенностью, есть некое чувство допустим, чувство голода?

В какой-то особой системе выражений можно описывать тот или иной объект с помощью слов "удовлетворенный" или "неудовлетворенный". Например, условившись называть полый цилиндр "неудовлетворенным цилиндром", а заполняющий его сплошной цилиндр "его удовлетворением".

440. Фраза "Мне хочется яблока!" не означает: я полагаю, что яблоко утолит мое чувство неудовлетворенности. В этом предложении выражено не желание, а неудовлетворенность.

441. От природы и в результате определенного обучения и воспитания мы предрасположены проявлять наши желания при определенных обстоятельствах. (Таковым "обстоятельством", естественно, не является само желание.) Вопрос, знаю ли я, чего хочу прежде, чем мое желание

исполнится, вообще не может возникнуть в этой игре. И то, что какое-то событие заставляет замолкнуть мое желание, не означает, что оно его удовлетворяет. Возможно, я был бы неудовлетворен, будь удовлетворено мое желание.

С другой стороны, слово "желать" используется и таким образом: "Я сам не знаю, чего хочу". ("Ибо желания скрывают желаемое от нас самих".)

Ну, а в какой ситуации мог бы прозвучать вопрос: "Разве я знаю, за чем протягиваю руку, прежде чем получу это?" Коли я владею речью, то знаю.

442. Я вижу, как кто-то вскинул ружье, и говорю: "Я жду звука выстрела". Раздается выстрел. Так это то, чего ты ожидал; выходит, этот звук уже как-то существовал в твоём ожидании? Или между твоим ожиданием и случившимся имеется согласие другого рода; грохот же выстрела не входил в твое ожидание, а явился лишь

случайным дополнением к тому, что произошло, когда ожидание исполнилось? Да нет, если бы не последовало звука, мое ожидание не исполнилось бы; этот звук и был его исполнением, он не был простым сопровождением происходящего, как некий второй гость, сопутствующий тому, кого я ожидал. Было бы случайностью, неким дополнением события то из происшедшего, что оказалось неожиданным? Ну, а что же тогда не было дополнением? Присутствовало ли каким-то образом что-то, связанное с выстрелом, уже в моем ожидании?

И что в таком случае было сверх того разве я не ожидал выстрела во всей его целостности?

"Звук выстрела был не так громок, как я ожидал". "Значит, в твоих ожиданиях он звучал громче?"

443. "Красное, которое ты себе представляешь, безусловно, не то же самое (не та же самая вещь), что красное, которое ты видишь перед собой; как можешь ты тогда утверждать, что это именно то, что ты себе представлял?" Но разве мы

не сталкиваемся с аналогичным случаем в предложениях: "Здесь красное пятно" и "Здесь нет красного пятна"? В оба предложения входит слово "красное"; стало быть, это слово не может указывать на наличие чего-то красного.

444. Пожалуй, можно испытывать также чувство, что в предложении "Я ожидаю, что он придет" слова "он придет" используются в другом значении, чем в утверждении "Он придет". Но будь так как можно было бы говорить о том, что мои ожидания

сбылись? Пожелай я объяснить оба слова "он" и "придет", скажем, с помощью указательных определений для обоих предложений подошли бы одинаковые дефиниции этих слов.

Что же, можно было бы спросить: как выглядит его приход? Открывается дверь, кто-то входит и т.д. А как выглядит мое ожидание его прихода? Я хожу взад и вперед по комнате, то и дело поглядываю на часы и т.д. Но один процесс не имеет с другим ни малейшего сходства! Тогда как можно использовать одни и те же

слова для их описания? Но может быть, расхаживая по комнате, я говорю: "Я ожидаю, что он войдет". Тут есть какое-то сходство. Но какого рода?

445. Ожидание и исполнение соприкасаются в языке.

446. Странно было бы утверждать: "Процесс, когда он происходит, выглядит иначе, чем тогда, когда он не происходит". Или же: "Красное пятно, когда оно есть, выглядит иначе, чем тогда, когда на самом деле его нет, но

язык абстрагируется от этого различия, ибо он говорит о красном пятне безотносительно к тому, есть оно или нет".

447. Возникает такое чувство, будто отрицательное предложение для того, чтобы отрицать некоторое предложение, должно сначала сделать его в определенном смысле истинным.

(Утверждение отрицательного предложения содержит отрицаемое предложение, но не его утверждение.)

448. "Утверждая, что сегодня ночью я не видел снов, я все же должен знать, где искать сон; то есть предложение "Я видел сон" применительно к этой реальной ситуации может быть ложным, но не должно быть бессмысленным". А не означает ли это, что ты все же что-то почувствовал, как бы намек на сон, позволивший тебе осознать то место, которое занимал бы сон?

Или же: если я утверждаю "Я не испытываю боли в руке", означает ли это, что у меня есть некая тень болевого ощущения, как бы

указывающая место, где могла бы возникнуть боль?

В каком смысле нынешнее безболевое состояние содержит в себе возможность боли?

Если кто-то заявляет: "Чтобы слово "боль" имело значение, необходимо, чтобы боль, когда она наступает, узнавалась в качестве таковой", то на это можно ответить: "Это необходимо не в большей мере, чем узнавание отсутствия боли".

449. "Но разве я не должен знать, каким было бы мое состояние, если бы я испытывал боль?" Нам никак не отделаться от мысли, будто использование предложения состоит в том, что при каждом его слове человеку что-то представляется.

Люди не отдают себе отчета в том, что со словами они осуществляют своего рода исчисление, оперируют ими, со временем переводят их то в одну, то в другую картину. То есть они как бы полагают, что, например,

письменное распоряжение кому-то о передаче мне коровы всегда должно дабы оно не потеряло смысла сопровождаться представлением о корове.

450. Знать, как кто-то выглядит: быть в состоянии представить это себе но вместе с тем: уметь наглядно имитировать это. А обязательно ли представлять себе нечто, чтобы копировать его? Разве имитация чего-то обладает не той же силой, что и представление о нем?

451. Ну, а как обстоит дело, если я, допустим, даю указание кому-то "Вот тут представь себе красный круг!" и при этом поясняю: понимать указание значит знать, что нужно делать для его выполнения, или даже: быть в состоянии представить себе, как выглядит...

452. Я хочу сказать: "Будь кто-то способен наблюдать душевный процесс ожидания, он обязательно бы видел, что ожидается". Реально же дело обстоит так: видя выражение ожидания, видят и что

ождается. И как еще, в каком другом смысле можно было бы это видеть?

453. Восприняв мое ожидание, человек должен был бы непосредственно воспринять и что ожидается. То есть не умозаключить об этом на основании воспринятого процесса! Но утверждение, будто кто-то воспринимает ожидание, не имеет смысла. Разве что на самом деле это означает: он воспринимает выражение ожидания. Говорить же об ожидающем человеке: он

испытывает ожидание, вместо он ожидает, было бы идиотским искажением данного выражения.

454. "Все уже заключено в ..."
Как происходит, что стрелка

\$ указывает? Разве не кажется, будто она заведомо несет в себе нечто кроме нее самой? "Ну нет, на это способно лишь значение как феномен психики, но никак не мертвая линия". Это и истинно и ложно. Стрелка указывает лишь в процессе того употребления,

каким ее наделяют живые существа.

Такое указание не фокус"покус, который способна исполнить только психика.

455. Мы хотим сказать: "Осмысление чего-то это не обладание мертвой картиной (безразлично, какого рода), а как бы восхождение к чему-то". Мы восходим к тому, что осмысливается.

456. "Предполагая что-то, человек предполагает это сам"; так он сам себя продвигает. Человек направляется вперед и не в состоянии одновременно же и наблюдать эту направленность. Определенно не в состоянии.

457. В самом деле: осмысливать это как бы устремляться к кому-то.

458. "Приказ предписывает свое исполнение". Выходит, он знает о своем исполнении еще до того, как оно состоится? Но это было грамматическое предложение, и

оно утверждало: если приказ гласит: "Делай то-то!" то "делать то-то" называется исполнением приказа.

459. Мы говорим: "Приказ предписывает это" и делаем это; но говорим и так: "Приказ предписывает это: я должен..." Мы переводим его то в предложение, то в демонстрацию, то в действие.

460. А не могло бы оправдание действия во исполнение приказа звучать так: "Ты сказал "Принеси мне желтый цветок" и в связи с

ЭТИМ ИМЕННО ЭТОТ ЦВЕТОК ВЫЗВАЛ У МЕНЯ ЧУВСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, ВОТ ПОЧЕМУ Я ПРИНЕС ЕГО ТЕБЕ"? А НЕ МОГ БЫ НА ЭТО ПОСЛЕДОВАТЬ ОТВЕТ: "Я ЖЕ ТЕБЕ НЕ ПОРУЧАЛ ПРИНЕСТИ МНЕ ТАКОЙ ЦВЕТОК, КОТОРЫЙ ВЫЗВАЛ БЫ У ТЕБЯ ПОСЛЕ МОИХ СЛОВ ТАКОЕ ЧУВСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ!"?

461. В каком же смысле приказ предвосхищает свое исполнение? Не в том ли, что он теперь предписывает как раз то, что выполняется позднее? На самом деле это означало бы: "Что впоследствии выполняется или же

не выполняется". А это ни о чем не говорит.

"Пусть мое желание и не определяет того, что реально произойдет, но оно все же определяет, так сказать, тему факта, независимо от того, исполнит ли он желаемое или нет". Нас как бы удивляет не то, что кто-то знает будущее, а то, что он вообще способен предсказывать (истинно или ложно).

Словно бы само по себе предсказание, истинное или

ложное неважно, уже несло в себе некий отсвет будущего, тогда как об этом будущем оно ничего не знает, а меньше, чем ничего, знать невозможно.

462. Я могу искать его, если его тут нет, но не могу его повесить в его отсутствие.

Возможно, кто-то готов отреагировать: "Но он же должен быть где-то тут, если я его ищу". Тогда он должен быть где-то и в том случае, если я его не нахожу и даже если его вообще нет.

463. "Ты искал его? Да ты ведь даже не мог знать, тут ли он!" Но такая проблема действительно возникает при математическом поиске. Можно, например, поставить вопрос: как такое было возможно даже просто искать трисекцию угла?

464. Чему я хочу научить так это переходить от неявной бессмыслицы к бессмыслице явной.

465. "Уж так устроено ожидание: что ни случись, оно

должно либо согласовываться с ним, либо нет".

Ну, а если спросить: определяется ли факт ожиданием с точностью "да" или "нет" или же не определяется, иначе говоря, определено ли, в каком смысле благодаря некоему событию которое постоянно может произойти сбывается определенное ожидание? На этот вопрос следует ответить: "Да, коль скоро выражение ожидания не является неопределенным, не содержит дизъюнкции различных возможностей".

466. Зачем человек мыслит? Какой от этого толк? Для чего он рассчитывает паровой котел, а не оставляет толщину его стенок на произвол случая? Ведь то, что котлы, рассчитанные таким-то образом, взрываются не так часто всего лишь факт нашего опыта! Но так же, как человек, однажды обжегшись, сделал бы все, чтобы снова не сунуть руку в огонь, так он будет делать все, чтобы не пренебречь расчетом котла. Но так как нас интересуют не причины, мы скажем: люди мыслят и это факт; они, например, ведут себя

именно так, когда делают паровой котел. А может ли котел, созданный таким образом, взорваться? Увы, да!

467. Выходит, человек мыслит потому, что мышление себя оправдывает? Потому, что он думает, что мыслить выгодно?

(Разве он воспитывает своих детей, потому что это оправдывает себя?)

468. Как же выяснить, почему человек мыслит?

469. И все же можно утверждать, что мышление себя оправдывает. Котлы стали взрываться реже, с тех пор как перестали определять толщину их стенок на глазок и начали ее рассчитывать определенным образом. А также с тех пор, как любой расчет инженера стали перепроверять повторно.

470. Итак, иногда мыслят потому, что мышление оправдывается на деле.

471. Часто бывает, что, только подавив в себе вопрос "почему", мы обнаруживаем важные факты; которые затем, в ходе нашего исследования, ведут к ответу.

472. Природа веры в единообразие событий, по-видимому, яснее всего проявляется в том случае, когда мы испытываем страх перед ожидаемым. Ничто не могло бы заставить меня сунуть руку в огонь хотя ведь я обжигался лишь в прошлом.

473. Вера в то, что огонь обожжет меня, такой же природы, что и страх, что он обожжет меня.

474. То, что огонь обожжет меня, сунь я в него руку, достоверность.

Таким образом, здесь мы видим, что значит достоверность. (Не просто что означает слово "достоверность", но и что заключено в ней самой.)

475. Если кого-нибудь спрашивают об основаниях

его предположения, он задумывается о них. Происходит ли здесь то же самое, что и в том случае, когда человек размышляет о возможных причинах какого-нибудь события?

476. Следует различать предмет страха и причину страха.

Так, лицо, внушающее нам страх или восхищение (предмет страха, восхищения), является не его причиной, а, можно сказать, его адресатом.

477. "Почему ты полагаешь, что эта горячая плита обожжет тебя?"
Есть ли у тебя основания для этого предположения и нужны ли тебе эти основания?

478. Какие у меня основания предполагать, что мой палец, коснувшись стола, встретит сопротивление? Какие у меня основания считать, что этот карандаш вызовет у меня боль, если им уколоть мою руку? Когда я задаю эти вопросы, мне в голову приходят сотни оснований, почти мгновенно сменяя друг друга. "Да

я сам множество раз испытывал это; и столь же часто слышал о подобном опыте от других; если бы это было не так, то ... и т.д."

479. Вопрос "На каком основании ты это полагаешь?" мог бы значить: "На основании чего ты делаешь (сделал сейчас) такое умозаключение?" Но он мог бы означать также: "Какие основания для этого предположения ты можешь привести мне впоследствии [задним числом]?"

480. Итак, под "основанием" некоторого мнения на самом деле можно понимать лишь то, что человек высказал самому себе, прежде чем он пришел к определенному мнению. Исчисление, фактически выполненное им. В случае же вопроса: как прежний опыт может явиться основанием для предположения, что впоследствии произойдет то-то? отповедь такова: а каким же общим понятием основания мы располагаем для такого рода предположения? Основанием предположения, что в будущем

нечто произойдет, мы называем именно этот [упомянутый выше] род утверждения о прошлом. А если человек удивится, что мы играем в такую игру, то я сошлюсь на влияние прошлого опыта (на то, что обжегшийся ребенок боится огня).

481. Если бы кто-то сказал, что опыт прошлого не убеждает его в том, что нечто произойдет в будущем, то я не понял бы его. Можно было бы его спросить: а что тогда ты хочешь услышать? Какие данные ты называешь основанием для того, чтобы

верить? А что ты называешь "быть убежденным"? Как ты надеешься убедиться? Если это не основания, то что же тогда основания? Если, по твоим словам, это не основания, то нужно, чтобы ты все-таки мог установить, в каком случае можно по праву заявить, что для нашего предположения есть основания.

Ибо заметь: в данном случае основания не предложения, из которых логически следует предполагаемое.

Но и не то, о чем можно сказать: для полагания требуется меньше, чем для знания. Ибо речь тут идет не о чем-то приближающемся к логическому выводу.

482. Нас сбивает с толку такой способ выражения: "Это достаточное основание, ибо оно делает вероятным наступление данного события". Создается впечатление, будто тут что-то дополнительно утверждается об этом основании, что оправдывает его как основание; между тем предложение: "Это основание

делает событие вероятным" говорит лишь о том, что данное основание соответствует определенной норме достаточного основания, сама же норма не обосновывается!

483. Достаточным является такое основание, которое на деле является таковым.

484. Кто-то готов изречь: "Это достаточное основание только потому, что оно делает событие действительно вероятным". Потому что оно, так сказать,

действительно оказывает некое влияние на данное событие; словно бы оно имело опытный характер.

485. Обоснование путем опыта имеет конец. В противном случае оно не было бы обоснованием.

486. Следует ли из получаемых мною чувственных впечатлений, что там стоит стул? Как же может предложение следовать из чувственных впечатлений? Ну, а следует ли оно из предложений, описывающих чувственные

впечатления? Нет. А разве не из таких впечатлений, не из чувственных данных я делаю вывод, что там стоит стул? Я не делаю никакого вывода! Но иногда все же делаю. Например, рассматривая фотографию, я говорю: "Выходит, что там должен стоять стул" или же: "Из того, что здесь видно, я заключаю, что там стоит стул". Это вывод, но не относящийся к логике. Вывод это переход к некоторому утверждению, а значит, и к поведению, соответствующему этому утверждению. "Я вывожу

следствия" не только на словах, но и в поступках.

Был ли обоснованным мой вывод этих следствий? Что здесь называется основанием? Как употребляется слово "основание"? Опиши языковые игры! По ним и можно будет судить о важности обоснованности.

487. "Я выхожу из комнаты, потому что ты так велишь".

"Я выхожу из комнаты, но не потому, что ты так велишь".

Описывает ли это предложение связь моего поступка с его поведением или же оно формирует эту связь?

Можно ли спросить: "Откуда ты знаешь, что делаешь это поэтому или не поэтому?" И возможен ли ответ: "Я это чувствую"?

488. А как мне судить, так ли это? По косвенным приметам?

489. Спроси себя, по какому поводу, с какой целью мы это говорим?

Какого рода действия сопровождают эти слова? (Подумай о приветствиях!) В каких сценах они употребляются; и для чего?

490. Как я узнаю, что этот ход мыслей привел меня к этому поступку? Ну, вот характерная картина: скажем, в экспериментальном исследовании приходят к дальнейшему

эксперименту путем расчета. То [о чем спрашивается] похоже на это и тут я бы мог описать пример.

491. Дело, пожалуй, не столько в том, что "без языка мы не могли бы понимать друг друга", сколько в том, что без языка мы не могли бы влиять на поведение других людей тем или иным образом; не могли бы строить улицы и машины и т.д. А к тому же: без использования устной и письменной речи люди не понимали бы друг друга.

492. Изобретение какого-то языка могло бы означать изобретение на основе естественных законов (или же в соответствии с ними) некоего приспособления для определенной цели; но об изобретении языка можно говорить и в другом смысле, аналогичном тому, в каком велась речь об изобретении игры.

Здесь я изрекаю нечто о грамматике слова "язык", связывая ее с грамматикой слова "изобретать".

493. Говорят: "Петух созывает кур своим криком" а не лежит ли в основе этих слов сравнение с нашим языком? Разве не изменяется полностью аспект [наше видение этой картины], если представить себе, что крик петуха приводит кур в движение путем какого-то физического воздействия?

А если, допустим, показано, каким образом слова "Иди ко мне!" воздействуют на человека, к которому они обращены, так что при определенных условиях в

конечном счете возбуждаются мускулы его ног и т.д., разве в силу этого данное предложение утратило бы для нас характер предложения?

494. Я хочу сказать: мы называем "языком" прежде всего аппарат нашего обычного словесного языка, а уж по аналогии или сравнимости с ним и нечто другое.

495. Очевидно, я могу установить с помощью опыта, что человек (или животное) реагирует

на один знак так, как мне этого хочется, а на другой нет. Что, например, по знаку " о " человек идет направо, а по знаку " м " идет налево; на знак " " " он реагирует не так, как на знак " м ", и т.д.

Мне даже незачем придумывать какой-то особый случай, достаточно понаблюдать на реальных фактах, как удастся направлять человека, владеющего только немецким языком, используя лишь немецкий язык. (Ибо я тут рассматриваю изучение немецкого языка как настройку механизма на определенный тип

влияния; при этом может быть безразлично, выучил ли этот язык другой человек или, допустим, уже от рождения устроен так, что реагирует на предложения немецкого языка, как и обыкновенный человек, выучивший немецкий.)

496. Грамматика не говорит нам, как должен быть построен язык, чтобы выполнять свою задачу, воздействовать на людей тем или иным образом. Она только описывает, но никоим образом не объясняет употребление знаков.

497. Правила грамматики можно назвать "условными", если под этим подразумевать, что цель грамматики есть не что иное, как цель языка.

Если кто-то утверждает "Не имей наш язык этой грамматики, он не мог бы выражать эти факты", задаешься вопросом, что здесь означают слова "мог бы".

498. Если я утверждаю, что указание "Принеси мне сахар!" и "Принеси мне молоко!" имеет смысл, а комбинация слов "Молоко

мне сахар!" лишена смысла, то это не значит, что ее произнесение не вызывает никакого эффекта. И если в ответ на эти слова человек уставится на меня и разинет рот от изумления, то я на этом основании все-таки не назову их повелением уставиться на меня и т.д., пусть даже я и хотел вызвать именно такой эффект.

499. Сказать "Эта комбинация слов не имеет смысла" значит исключить ее из сферы языка и ограничить тем самым область языка. Но границы можно проводить по разным основаниям.

Можно обнести какое-то место изгородью, обвести линией либо ограничить еще каким-то способом с целью не впускать кого-то сюда или же не выпускать его отсюда. Но это может быть и элементом игры, в которой играющие должны, скажем, перепрыгивать через такой барьер. Или же это может отмечать, где кончаются владения одного человека и начинаются владения другого и т.д. Таким образом, проведение границы само по себе еще не говорит, для чего это делается.

500. Если сказано, что предложение бессмысленно, это не означает, будто речь идет о бессмысленности его смысла. Дело в другом: при этом исключается из языка, изымается из обращения некое сочетание слов.

501. "Цель языка выражать мысли". Итак, по-видимому, цель каждого предложения выражать какую-то мысль. Какую же мысль выражает тогда, например, предложение "Моросит"?

502. Вопрос о смысле. Сравни:

"Это предложение имеет
смысл". "Какой?"

"Этот ряд слов является
предложением". "Каким?"

Часть 12.

503. Если я даю команду кому-то, мне вполне достаточно подать ему знак. Я бы никогда при этом

не сказал: да это всего лишь слова, а мне нужно проникнуть за них. Вот так, и задавая кому-то о чем-то вопрос, я вполне довольствуюсь его ответом (то есть каким-то знаком) это как раз то, чего я ждал, и я не протестую: да это всего лишь ответ.

504. Допустим, кто-то заявляет: "Как я могу узнать, что он подразумевает, ведь я вижу только подаваемые им знаки". Моя реплика на это: "Откуда ему известно, что он имеет в виду, если в его распоряжении тоже только его знаки".

505. Должен ли я понимать приказ, прежде чем смогу привести его в исполнение? Конечно! Иначе бы ты не знал, что нужно делать. Но ведь переход от знания к действию это опять скачок!

506. Рассеянный человек по приказу "Направо!" поворачивается налево, а затем, хлопнув себя по лбу, восклицает: "Ах да, направо!" и поворачивается направо. Что его осенило [вдруг пришло в голову]? Истолкование?

507. "Я не просто это говорю, я под этим и что-то подразумеваю". Если, осмысливая (а не просто произнося) слова, мы задумываемся над тем, что в нас происходит, то нам кажется, будто с этими словами что-то скреплено, а иначе они двигались бы вхолостую. Как если бы они были с чем-то соединены в нас.

508. Я высказываю предложение: "Сегодня здесь отличная погода". Да ведь слова это условные знаки; подставим же вместо них: "a b c d". Однако

теперь, читая эти знаки, я уже не в состоянии непосредственно связать их со смыслом моего высказывания. Я, можно сказать, не привык, употреблять в речи знак "a" вместо "сегодня", знак "d" вместо "погода" и т.д. Но подразумеваю я под этим не отсутствие навыка мгновенно ассоциировать знак "a" со словом "сегодня", а непривычность употребления "a" вместо "сегодня" то есть в значении "сегодня" (я не владею этим языком).

(Я не привык измерять температуру по шкале Фаренгейта.

Поэтому такое измерение температуры мне ничего не "говорит".)

509. Ну, а предположим, мы спросили кого-то "В каком смысле эти слова являются описанием того, что ты видишь?" и он ответил: "Под этими словами я имею в виду это". (Глядя, скажем, на какой-то пейзаж.) Почему этот ответ: "Я имею в виду это" вовсе не ответ?

Как с помощью слов подразумевают то, что видят перед

собой?

Представь себе, что я сказал "a b c d", подразумевая под этим: сегодня здесь отличная погода. Иначе говоря, произнося эти знаки, я испытывал те же самые переживания, которые обычно испытывал бы лишь тот, кто из года в год употреблял знак "a" вместо "сегодня", знак "d" вместо "погода" и т.д. В таком случае говорит ли "a b c d": сегодня здесь отличная погода?

Каков должен быть критерий того, что я испытываю именно данное переживание?

510. Прodelай такой эксперимент: Скажи "Здесь холодно", имея в виду при этом "Здесь тепло". В состоянии ли ты это сделать? А что именно ты делаешь при этом? И разве существует только один способ делать это?

511. Что тогда означает фраза "Обнаружить, что какое-то высказывание не имеет смысла"?

А что означает такое высказывание: "Если я что-то под этим подразумеваю, оно непременно должно иметь смысл"? Если я что-то под этим подразумеваю? Если я что подразумеваю под этим?! Хочется изречь: осмысленно то предложение, которое можно не просто высказывать, но и мыслить.

512. Создается впечатление, будто можно сказать: "Словесный язык допускает бессмысленные комбинации слов, язык же представления не допускает бессмысленных представлений".

Выходит, и язык рисунков не допускает бессмысленных рисунков? Представь себе, что это были бы рисунки, по которым должны моделироваться тела. Тогда некоторые рисунки имели бы смысл, а некоторые нет. А что, если вообразить бессмысленные комбинации слов?

513. Рассмотрим такую форму выражения: "Число страниц в моей книге равно корню уравнения $x^3 - 2x - 3 = 0$ ". Или же "Число моих друзей равно n , а $n^3 - 2n - 2 = 0$ ". Имеет ли смысл данное предложение? Непосредственно в

этом нельзя убедиться. На таком примере видно, как может получиться, что нечто имеет вид предложения, которое мы понимаем, и все-таки лишено смысла.

(Это проливает свет на понятия "понимать" и "осмысливать".)

514. Философ говорит, что ему понятно предложение "Я здесь", что он вкладывает в него какую-то мысль, даже если при этом вовсе не размышляет над тем, как, при каких обстоятельствах

употребляется это предложение. И если я говорю "Роза и в темноте красная", то ты и в темноте прямо-таки видишь это красное перед собою.

515. Два изображения розы в темноте. Одно совершенно черное, ибо роза невидима. На другом она написана во всех деталях и окружена черным. Является ли одно из них верным, а другое неверным? Разве мы не говорим о белой розе в темноте и о красной розе в темноте? И разве, при всем том, мы не говорим, что в темноте их нельзя отличить друг от друга?

516. Кажется ясным: нам понятно, что означает вопрос "Возникает ли при десятичном разложении числа r последовательность цифр 7777?" Это русское [в ориг. немецкое] предложение; можно показать, что оно означает для цифры 415, возникающей при разложении числа r ; и аналогичные вещи. Да лишь в пределах, доступных для таких вот разъяснений, и достигается, можно сказать, понимание поставленного вопроса.

517. Спрашивается: не можем ли мы заблуждаться, считая, что понимаем вопрос?

Ведь иное математическое доказательство как раз и заставляет нас признать, что мы не в состоянии себе представить то, что, казалось, мы способны представить (например, построение семиугольника). Это ведет нас к пересмотру того, что считать областью представимого.

518. Сократ Теэтету: "А разве тот, кто представляет, не должен

себе представлять нечто?" Теэт.: "Обязательно". Сок.: "А разве тот, кто представляет нечто, не должен представлять себе нечто действительное?" Теэт.: "По-видимому, так".

А разве тот, кто рисует, не должен рисовать нечто а кто изображает нечто, разве не изображает что-то реальное? Ну, а что же тогда собой представляет объект изображения портрет человека (например) или же человека, изображенного на портрете?

519. Хочется сказать: приказ это картина действия, которое выполняется по этому приказу; но вместе с тем это картина действия, которое должно быть совершено во исполнение приказа.

520. "Хотя предложение и понимают как картину возможной ситуации и говорят, что оно показывает возможность такой ситуации, все же предложение в лучшем случае может сделать лишь то, что делает живописное или пластическое изображение или фильм; и значит, в любом случае оно не может представить то, чего

нет. Выходит, от нашей грамматики то есть от того, что она позволяет, всецело зависит, что называть (логически) возможным, а что нет?" Но ведь это произвольно [установлено]! Неужели произвольно? Не всякая конструкция, напоминающая предложение, может идти в дело, не каждая техника находит применение в нашей жизни, и если мы в философии склонны причислять к предложениям нечто совершенно бесполезное, то это часто происходит потому, что мы недостаточно продумали его применение.

521. Сравни "логически возможное" с "химически возможным". Химически возможным, пожалуй, можно было бы назвать соединение, для которого имелась бы структурная формула с правильными валентностями (например, HOOOH). Подобное соединение, конечно, не обязательно существовало бы; но даже некоей формуле HO_2 не может соответствовать в действительности менее, чем ни одно соединение.

522. Если сравнивать предложение с картиной, то нужно подумать, с какой с портретом ли (историческое изображение) или же с жанровой картиной. И оба сравнения имеют смысл.

Когда я рассматриваю жанровую картину, она мне что-то "говорит", даже если я ни на одно мгновение не думаю (не воображаю), будто люди, которых я вижу там, действительно существовали или же что действительные люди находились в этой ситуации. А

допустим, я бы спросил: "Что же тогда она мне говорит?"

523. Возможен ответ: "картина говорит мне о самой себе". То есть то, что она мне говорит, заключено в ее собственной структуре, в ее формах и красках. (Что означала бы фраза "Музыкальная тема говорит мне о себе самой"?)

524. Не считай само собой разумеющимся, что картина или литературное повествование доставляют нам удовольствие,

трогают нашу душу. Это удивительное явление.

("Не считай само собой разумеющимся" означает: изумись этому так же, как и другим волнующим тебя вещам. Если ты воспримешь подобный факт так же, как воспринимаешь другие, то [в нем] исчезнет все загадочное.)

((Переход от явной к неявной бессмыслице.))

525. "Сказав это, он покинул ее, как и накануне". Понимаю ли я это

предложение? Понимаю ли я его точно так же, как понимал ты, услышав его в ходе повествования? Если взять его вне контекста, то я бы сказал, что не знаю, о чем здесь идет речь. Но все-таки я бы приблизительно знал, как могло бы применяться это предложение; я сам бы мог изобрести для него какой-то контекст.

(От этих слов во всех направлениях ведет множество хорошо известных путей.)

526. Что значит понимать картину или рисунок? Здесь тоже имеется понимание и непонимание. И тут эти выражения могут означать разное. Допустим, картина натюрморт. Но какую-то ее часть я не разбираю: мне не удастся увидеть там объемные предметы, вместо них я вижу лишь цветные пятна на холсте. Или же я вижу все объемно, но там есть предметы, мне незнакомые (они выглядят как домашняя утварь, но мне неизвестно их назначение). А возможно и непонимание другого рода: мне знакомы предметы, но

вызывает недоумение их
расположение.

527. Понимание предложения в языке значительно более родственно пониманию темы в музыке, чем можно предположить. Я имею в виду вот что: понимание языкового предложения и то, что принято называть пониманием музыкальной темы, по своему характеру куда ближе друг другу, чем думают. Почему сила звука и темп должны развиваться именно в этом ключе? Напрашивается ответ: "Потому что я знаю, что означает все это". Что же это

означает? Я не знал бы, что сказать. Для "объяснения" я мог бы сравнить это с чем-то другим, имеющим такой же ритм (я имею в виду ту же линию развития). (Говорят: "Разве ты не видишь, что здесь как бы подводился итог" или: "Это как бы реплика" и т.д. Как обосновывают такие сравнения? Для этого используются самые разные обоснования.)

528. Можно представить себе людей, владеющих чем-то отдаленно напоминающим язык:

игрой звуков без словаря или грамматики. ("Лепет".)

529. "Что же было бы здесь значением звука?" А каково оно в музыке? Хотя я вовсе не хочу сказать, что этот язык звучащих жестов нужно сравнивать с музыкой.

530. Мог бы существовать и такой язык, при использовании которого "душа" слов не играла бы никакой роли. Язык, в котором к примеру не возбранялось бы

произвольно заменять одно слово другим, вновь изобретенным.

531. Мы ведем речь о понимании предложения в том смысле, в каком оно заменяемо другим, говорящим то же самое; но и в том смысле, в каком его не заменишь каким-то другим. (Как и одну музыкальную тему другой.)

В одном случае мысль [заключенная] в предложении есть то, что является общим для разных предложений; в другом же это нечто, выражаемое только этими

словами в данной их расстановке.
(Понимание стихотворения.)

532. Так выходит, слово "понимать" имеет здесь два различных значения? Я бы предпочел сказать, что эти способы употребления слова "понимать" образуют его значение, мое понятие понимания.

Ибо мне нужно (ich will) применять слово "понимать" во всех этих случаях.

533. Но как можно в этом втором случае объяснить выражение, сделать его понятным другому? Спроси себя: как подводят кого-нибудь пониманию стихотворения или темы? Ответ на этот вопрос подсказывает, как объясняют смысл в таком случае.

534. Слышать слово в этом значении. Как странно, что бывает нечто подобное!

Предложение,	выраженное
(phrasiert)	вот так,
акцентированное,	услышанное

таким образом, вот начало перехода к этим предложениям, картинам, поступкам.

((Множество хорошо знакомых тропинок ведет от этих слов во всех направлениях.))

535. Что происходит, когда мы приучаемся переживать заключительную часть церковного хора́ла как фина́л?

536. Я говорю: "Это лицо (выражающее боязнь) я мог бы себе представить и как лицо,

выражающее отвагу". При этом имеется в виду не моя способность представить себе, как человек с таким лицом, может быть, спасает жизнь другому (конечно, в такой ситуации можно представить себе человека с любым выражением лица). Скорее, речь идет о каком-то аспекте самого этого лица. Не имеется в виду и моя способность вообразить, что этот человек может изменить свое лицо так, что будет выглядеть отважным, в обычном смысле этого слова; хотя и мыслимо, что одно выражение лица могло бы сменяться другим, вполне определенным образом.

Истолкование выражения лица можно сравнить с истолкованием аккорда в музыке, когда он воспринимается то в одной тональности, то переводится в другую тональность.

537. Можно выразиться так: "Я читаю выражение страха на этом лице". Но всякий раз испуганность кажется не просто внешне, ассоциативно связанной с этим лицом; напротив, страх живет в его чертах. Если черты лица слегка меняются, можно говорить о соответствующем изменении выражения страха. Если бы нас

спросили: "В состоянии ли ты представить себе это лицо еще и как выражение отваги?" то мы словно бы не знали, как вселить отвагу в эти черты. Возможно, я ответил бы так: "Я не знаю, что бы это означало: это лицо мужественное лицо". А что служило бы решением вопроса? Кто-то мог бы сказать: "Да, теперь я понимаю: это лицо как бы выказывает безразличие к внешнему миру". Значит, мы как-то усмотрели отвагу. Отвага, можно сказать, теперь вновь впору этому лицу. Но что здесь подходит к чему?

538. Этому родственен случай (хотя он, возможно, не кажется таковым), когда мы, например, удивляемся родовому согласованию во французском языке предикативного прилагательного с существительным и толкуем это так: они подразумевают, что "это хороший человек".

539. Я смотрю на картину, где изображено улыбающееся лицо. Что я делаю, воспринимая эту улыбку то как добрую, то как злобную? Разве зачастую я не

представляю себе ее в пространственном и временном контексте дружелюбия или озлобленности? Так, можно вообразить, что улыбающийся снисходительно подшучивает над играющим ребенком или же злорадствует по поводу страданий своего врага.

И от того, что я способен толковать эту усмешку в ином ключе, мысленно перенося ее из идиллической на первый взгляд ситуации в другой контекст, ничто не изменяется. Не изменись моя интерпретация в силу особых

обстоятельств я буду понимать определенного рода улыбку как дружескую, называть ее "дружеской" и соответственно реагировать на нее.

((Вероятность. Частота.))

540. "Разве не странно, что даже подумать "дождь скоро пройдет", я бы не мог без института языка и всего его окружения?" Не хочешь ли ты этим сказать: странно, что ты бы не смог ни произнести эти слова, ни осмыслить (meinen) их без языкового окружения?

Представь себе, что кто-то, указывая на небо, выкрикивает ряд непонятных слов. На вопрос, что имеется в виду, он отвечает: его крики означают "Слава богу, дождь скоро кончится". К тому же он объясняет нам и что означают отдельные его слова. Предположим, что он как бы внезапно приходит в себя и заявляет: то предложение, которое он выкрикивал, было совершенно бессмысленным, но при произнесении оно казалось предложением знакомого ему языка. (Даже хорошо известной цитатой.) Что на это скажешь?

Неужели он произносил то предложение без понимания? Разве это предложение не несло в себе всей полноты своего значения?

541. Так в чем же заключалось его понимание и это значение? В то время когда еще шел дождь, но стало уже проясняться, он издавал радостные возгласы, указывая на небо; позднее он установил связь своих слов с немецкими словами.

542. "Но переживались-то им эти слова как слова хорошо

знакомого языка". Да; критерием этого служит то, что позже он это сказал. Так не говори же: "Именно слова знакомого нам языка переживаются совершенно по-особому". (Что же является выражением этого чувства [слова]?)

543. Разве нельзя сказать: крик, смех полны значения?

А это приблизительно означает: по ним можно разгадать многое.

544. Когда моя тоска прорывается в восклицании: "О, только бы он пришел!" то "значение" этим словам придает определенное чувство. А придает ли оно значения отдельным словам?

Но здесь можно было бы также сказать: это чувство придает словам истинность. И тогда ты видишь, как понятия здесь сливаются друг с другом. (Это напоминает вопрос: в чем смысл математического предложения?)

545. Ну, а если говорят: "Я надеюсь, он придет", разве не чувство придает значение слову "надеюсь"? (А как быть с предложением "Я уже не надеюсь, что он придет"?) Пожалуй, именно чувство придает слову "надеюсь" его особое звучание; то есть оно выражается в звучании. Если чувство придает слову его значение, то "значение" тут подразумевает: в этом-то все дело. Но почему все сходится на чувстве?

Есть ли надежда своего рода
чувством? (Характерные
признаки.)

546. Итак, я готов заявить, что
слова "Хоть бы он пришел!"
наполнены моим желанием. И
слова могут вырываться у нас
подобно крику. Бывает, слова
выговариваются с трудом: скажем,
при отречении от чего-то или
признании в некой слабости.
(Слова суть дела.)

547. Отрицание: "некая духовная
деятельность". Отрицай что-то и

наблюдай, что ты делаешь! Может быть, ты в это время внутренне качаешь головой? А коли так что же, тогда этот процесс заслуживает нашего интереса в большей мере, чем, скажем, написание знака отрицания в предложении? Неужели ты теперь знаешь сущность отрицания?

548. В чем различие между двумя процессами: желать, чтобы что-то произошло, и желать, чтобы то же самое не произошло?

Пытаясь представить себе это наглядно, совершают разные манипуляции с изображением события: его перечеркивают, очерчивают и т.п. Однако этот метод выражения представляется несовершенным. В словесном языке данной цели служит специально приспособленный для этого знак "не". Но он напоминает неуклюжее приспособление. Предполагается: в мышлении это наверняка происходит иначе.

549. "Как может слово "не" отрицать?!" "Знак "не" указывает:

то, что следует за ним, ты должен понимать в отрицательном смысле". Мы готовы сказать: знак отрицания это указание сделать нечто возможно, нечто очень непростое. Знак отрицания как бы побуждает нас к чему-то. Но к чему? Об этом не говорится. Создается впечатление, будто нам это уже известно и довольно лишь намек, словно нет нужды ни в каком объяснении, поскольку мы и так уже достаточно осведомлены об этом.

550. Отрицание, можно сказать, представляет собой исключаящий,

отвергающий жест. Но жестом такого рода мы пользуемся в самых различных случаях!

551. "Является ли одинаковым отрицание в таких фразах: "Железо не плавится при 100° Цельсия" и "Дважды два не пять"?" Неужели этот вопрос должен решаться с помощью интроспекции; путем попыток выяснить, что мыслится в этих двух предложениях?_

552. А что, если я задам вопрос: разве для нас очевидно, что, произнося два предложения: "Этот

стержень имеет длину 1 метр" и "Здесь стоит 1 солдат", мы подразумеваем под "1" нечто разное, что "1" выступает в разных значениях? Вовсе не очевидно. Ну, а произнеси такое предложение: "На каждом 1 метре стоит 1 солдат, значит, на 2 метрах стоит 2 солдата". На вопрос: "Подразумеваешь ли ты под этими двумя единицами одно и то же?" вероятно, последовал бы ответ: "Конечно, я имею в виду одно и то же: единицу!" (При этом отвечающий, может быть, поднял бы палец.)

553. Ну, а имеет ли "1" разные значения, если в одном случае обозначает размер, а в другом число? Если вопрос поставлен так, то ответ на него будет утвердительным.

554. Мы с легкостью можем представить себе людей с "более примитивной" логикой, в которой то, что соответствует нашему отрицанию, применимо лишь к определенным предложениям, например к таким, которые еще не содержат отрицания. Так, можно было бы отрицать предложение

"Он входит в дом", отрицание же отрицательного предложения было бы бессмысленным или же считалось бы лишь повторением отрицания. Подумай о других, отличных от наших, способах выражать отрицание: например, высотой тональности предложения. Как выглядело бы тогда двойное отрицание?

555. Вопрос, означало ли бы для этих людей отрицание то же самое, что и для нас, был бы аналогичен такому вопросу: означает ли цифра "5" для людей,

числовой ряд которых кончается пятью, то же самое, что и для нас?

556. Представь себе язык с двумя разными словами для отрицания, одно из них "X", другое "Y". Удвоенное "X" дает утверждение, а удвоенное "Y" усиленное отрицание. В остальном эти два слова употребляются одинаково. Ну, а имеют ли "X" и "Y" одинаковое значение в тех предложениях, где они фигурируют без удвоения? На это можно ответить по-разному.

а) Эти два слова имеют разное применение. Стало быть, и разное значение. Но предложения, в которых они используются без удвоения и которые во всем остальном гласят одно и то же, имеют одинаковый смысл.

б) Оба слова имеют одинаковую функцию в языковых играх, за исключением одного изначального их различия, которое не столь уж существенно. Применению обоих слов учатся одинаковым образом, с помощью одинаковых действий, жестов, картин и т.п. Различие же

в способах их употребления добавляется как нечто второстепенное, как одна из причудливых черт языка, объяснение этих слов. Потому мы будем говорить, что "X" и "Y" имеют одинаковое значение.

в) С этими двумя отрицаниями мы связываем разные представления. "X" как бы поворачивает смысл на 180 градусов. И потому два таких отрицания возвращают смысл в его первоначальное положение. "Y" же подобен отрицающему движению головой. И как одно покачивание

головой не снимает другого, так и второй "Y" не снимает первого. Итак, если предложение с этими двумя отрицаниями практически и сводятся к тому же, то "X" и "Y" тем не менее выражают разные идеи.

557. В чем же может заключаться то, что, высказывая это двойное отрицание, я подразумеваю под этим усиленное отрицание, а не утверждение? Не существует ответа, который гласил бы: "Это заключается в том, что·" Вместо того чтобы заявлять "Это удвоенное отрицание имеет

значение усиления", при определенных обстоятельствах можно произносить его как усиление. Вместо того чтобы говорить "Удвоение отрицания предполагает его снятие", можно, например, поставить скобки. "Да, но ведь сами эти скобки могут играть различную роль; ну кто говорит, что их следует понимать как скобки?" Никто этого не говорит. Да и для объяснения своего собственного понимания ты же опять-таки прибегаешь к словам. Что означают скобки, заключено в технике их применения. Вопрос в том: при

каких обстоятельствах имеет смысл утверждать "Я имел в виду" и какие обстоятельства позволяют мне заявлять "Он имел в виду"?"

558. Что подразумевают, говоря, что слово "есть" в предложении "Роза есть красная" имеет иное значение, чем в предложении "Два, помноженное на два, есть четыре"? Если в ответ на это скажут: имеется в виду, что для этих двух слов значимы разные правила, то на это следует возразить, что мы имеем здесь дело лишь с одним словом. А если я обращаю внимание

исключительно на грамматические правила, то они как раз и позволяют употребление слова "есть" и в той и в другой связи. Правило же, указывающее, что слово "есть" в этих предложениях имеет разные значения, таково, что разрешает заменять слово "есть" во втором предложении знаком равенства и запрещает это делать в первом предложении.

559. Хотелось бы потолковать о функции слова в данном предложении. Как если бы предложение было неким механизмом, в котором слово

выполняло определенную функцию. Но в чем состоит эта функция? Как она высвечивается? Тут же нет чего-то сокрытого, ведь все предложение на виду. Функция должна выявляться при оперировании словом. ((Тело значения.))

560. "Значение слова есть то, что объясняется объяснением значения". То есть: если ты хочешь понять употребление слова "значение", то приглядишься к тому, что называют "объяснением значения".

561. Ну, а разве не странно, что я говорю: слово "есть" употребляется в двух разных значениях (как связка и как знак равенства), не преминув также сказать, что значение данного слова это его употребление, то есть употребление в качестве связки и знака равенства?

Кто-то готов сказать, что два этих типа употребления слова не дают нам одного значения; что скрепление их одним и тем же словом случайно, несущественно.

562. Но как можно решить, что является существенной, а что несущественной, случайной чертой [системы] обозначения? Опирается ли эта [система] на какую-то реальность, в соответствии с которой строится ее грамматика?

Вспомним об аналогичном случае в игре. В шашках дамка обозначается тем, что одну шашку ставят на другую. Ну, а неужели кто-нибудь не заявит: что дамка состоит из двух шашек несущественно для игры?

563. Мы говорим: значение пешки (фигуры) это ее роль в игре. Ну, а до начала каждой шахматной партии жребий решает, кто из игроков будет играть белыми. Для этого один из них прячет в каждом кулаке по шахматному королю, а другой наугад выбирает одну из рук. Отнесем ли мы к роли короля в шахматной игре и то, что им пользуются для жеребьевки?

564. Стало быть, я склонен и в игре разграничивать существенные и несущественные правила. У кого-то уже готова реплика: игра

имеет не только правила, но и смысл (Witz).

565. К чему нам то же самое слово? Ведь это тождество не находит применения в исчислении [оперировании словами]! Почему одна и та же игровая фигура служит двум разным целям? А что в данном случае означает "находить применение тождеству"? Да разве не с таким применением мы имеем дело, используя то же самое слово?

566. Причем, если тождество неслучайно, существенно, то кажется, что использование того же самого слова, той же самой фигуры, имеет некую цель. И что эта цель состоит в том, чтобы человек был способен узнавать фигуру и знал, как играть. Но идет ли тут речь о физической или же о логической возможности? Если о второй, то тождественность фигур входит в условия игры.

567. И все-таки игра должна определяться правилами! Так, если правила игры предписывают,

чтобы в целях жеребьевки перед партией использовались короли, то это правило, по сути, принадлежит игре. Что можно было высказать против этого? Что смысл этого предписания непонятен. Как был бы, пожалуй, непонятен и смысл правила, по которому каждую фигуру, прежде чем сделать ход, полагалось бы троекратно повернуть. Обнаружь мы подобное правило в какой-то игре на доске, мы бы удивились и задумались над его целью. ("Не призвано ли это предписание предотвращать необдуманный ход?")

568. Если я верно понимаю характер игры то мог бы сказать, что такое правило не является ее существенной принадлежностью.

((Значение физиономия.))

569. Язык это инструмент. Его понятия инструменты. Тут, пожалуй, кто-то подумает, что может не быть большой разницы в том, какие понятия мы используем. Ведь в конце концов физику в футах и дюймах можно построить с тем же успехом, что в метрах и сантиметрах; разница

лишь в степени удобства. Но даже это неверно, скажем в том случае, если в некоей системе мер вычисления требуют больше времени и усилий, чем мы можем им уделить.

570. Понятия ведут нас к исследованиям. Они выражают наш интерес и направляют его.

571. Вводящая в заблуждение параллель: психология имеет дело с процессами в психической сфере, так же как физика в физической.

Зрение, слух, мышление, чувство, воля составляют предмет психологии не в том же смысле, в каком движения тел, электрические явления и т.д. служат предметом физики. Это ясно из того, что физик видит, слышит, обдумывает сами эти явления, сообщает нам о них, психолог же наблюдает внешние проявления (поведение) субъекта.

572. Ожидание с грамматической точки зрения состояние; так же как: полагание того или этого, надежда на что-то,

знание чего-то, умение что-либо делать. Но чтобы понять грамматику этих состояний, следует спросить: "Каков критерий того, что кто-то находится в этом состоянии?" (Состояние твердости, весомости, пригодности.)

573. Иметь мнение это состояние. Состояние чего? Души? Духа? Ну о чем же говорят, что у него есть мнение? О господине N.N., например. И это правильный ответ.

Только от ответа на этот вопрос еще нельзя ожидать разъяснения. Более глубокие вопросы таковы: что принимаем мы за критерий того, что некто имеет определенное мнение? Когда мы говорим: он пришел к этому мнению тогда-то? Когда он изменил свое мнение? И так далее. Картина, которую дают нам ответы на эти вопросы, показывает, что здесь грамматически трактуется как состояние.

574. Предложение, а отсюда в несколько ином плане и мысль могут быть "выражением" верования, надежды, ожидания и т.д. Но верование это не мышление. (Грамматическое примечание.) Понятия верования, ожидания, надежды менее чужеродны друг другу, чем все они понятию мышления.

575. Усаживаясь на этот стул, я, естественно, полагал, что он меня выдержит. У меня и мысли не было, что он может развалиться.

Но: "Вопреки всему, что он делал, я упорно придерживался мнения." Здесь мыслится и как бы вновь и вновь отстаивается определенная установка.

576. Я смотрю на тлеющий бикфордов шнур, с громадным напряжением слежу за движением огня, за тем, как он приближается к взрывчатке. Вероятно, я вообще не думаю ни о чем, или же у меня в сознании проносятся множество бессвязных мыслей. Это, безусловно, один из случаев ожидания.

577. Мы говорим: "Я его жду", полагая, что он придет, но его приход не занимает наших мыслей. ("Я его жду" означает тут "Я был бы удивлен, если бы он не пришел" а это не назовешь описанием душевного состояния.) Но мы говорим "Я его жду" и в том случае, когда наши слова должны означать: я ожидаю с нетерпением. Мы могли бы себе представить язык, в котором в таких случаях использовались бы разные глаголы. Более чем один глагол применялся бы и там, где говорилось бы о состояниях:

"верить", "надеяться" и т.д. Понятия такого языка были бы, вероятно, более пригодны для понимания психологии, чем понятия нашего языка.

578. Спроси себя: что значит верить в теорему Гольдбаха? В чем заключается эта вера? В некоем чувстве уверенности, в то время как мы произносим, слышим или мыслим эту теорему? (Это бы нас не интересовало.) А каковы характерные признаки этого чувства? Ну я даже не знаю, в какой мере это чувство может вызываться самой теоремой.

Можно ли сказать, что верование это тональная окрашенность мысли? Откуда это представление? Ну существует же уверенный тон, так же как и тон сомнения.

Я бы спросил: как примешивается это верование к данной теореме? Призадумаемся над тем, каковы последствия этой веры, к чему она нас ведет. "Она ведет меня к поиску доказательства этой теоремы". Прекрасно! А теперь поинтересуемся, в чем,

собственно, состоит этот поиск! И тогда мы узнаем, что влечет за собой вера в теорему.

579. Чувство уверенности. Как оно проявляется в поведении?

580. "Внутренний процесс" нуждается во внешних критериях.

581. Ожидание вплетено в ту или иную ситуацию, в которой оно возникает. Например, ожидание взрыва может возникнуть в ситуации, в которой следует ожидать взрыва.

582. Если кто-то вместо слов "В любой момент я жду взрыва" шепчет "Это вот"вот стрясется", то ведь его слова не описывают какого-то чувства (Empfindung); хотя они сами и их тон могут быть проявлением его чувства.

583. "Но ведь ты рассуждаешь так, словно бы сейчас вопреки собственному мнению я на самом деле не ожидал, не надеялся. Словно бы все, происходящее теперь, не имело глубокого значения". Что же означает фраза: -то, что сейчас происходит, имеет

значение" или "имеет глубокое значение"? Что значит глубокое чувство? Смог ли бы кто-то за одну секунду пережить глубокую любовь или надежду, независимо от того, что предшествовало этой секунде или что за ней последовало? Происходящее теперь имеет значение в данном сопровождении. Это сопровождение придает ему значимость. И слово "надеяться" относится к феномену человеческой жизни. (Улыбающийся рот улыбается только на человеческом лице.)

584. Ну, а допустим, я сижу у себя в комнате, надеясь, что придет N.N. и принесет мне деньги. И предположим, одну минуту этого состояния удалось бы выкроить из взаимосвязи, изолировать: разве в таком случае то, что происходит в эту минуту, не было бы надеждой? Подумай, например, о словах, которые ты, скорее всего, произносишь в данную минуту. Они уже не есть больше часть этого языка. Вот так же и институт денег не существует в другом окружении.

Королевская коронация зрелище, полное великолепия и величия. Выдели одну минуту этой церемонии из целостного контекста: королю, облаченному в коронационную мантию, возлагается на голову корона. Но в ином окружении золото оказывается самым дешевым из металлов, его блеск считается вульгарным. Мантия простым изделием из недорогой ткани. Корона пародией на высокую шляпу. И так далее.

585. Когда кто-то говорит "Надеюсь, он придет", являются ли эти слова сообщением о его душевном состоянии или же проявлением его надежды? Я мог бы сказать эти слова и самому себе. А ведь себе я ничего не сообщаю. Может быть, это вздох, но не обязательно. Скажи я кому-нибудь: "Я не могу сегодня сосредоточиться на работе; я все думаю о его приходе", это называлось бы описанием моего душевного состояния.

586. "Я услышал, что он придет; я жду его весь день". Это сообщение о том, как я провел день. Из разговора я сделал вывод, что следует ожидать определенного события, и этот вывод отливается в слова "Выходит, я должен ждать его прихода теперь". Это можно назвать первой мыслью, первым актом этого ожидания. Возглас "Я так жду его!" можно считать актом ожидания. Но эти же самые мои слова могут прозвучать и как результат самонаблюдения, и тогда они, возможно, означали бы: "И вот, после всего, что стряслось, я все

же так хочу видеть его". В

зависимости от того, что привело к этим словам.

587. Имеет ли смысл спрашивать: "Откуда ты знаешь, что ты в это веришь?" и является ли ответом: "Я узнаю это путем интроспекции"?

В некоторых случаях можно сказать что-то в этом роде, но как правило нет.

Осмыслен ли вопрос: "Действительно ли я ее люблю или только лукавлю сам с собой?"

Процесс интроспекции в этом случае обращение к воспоминаниям, представление возможных ситуаций и чувств, которые бы имели место, если бы.

588. "Я вынашиваю решение уехать завтра". (Это можно назвать описанием душевного состояния.) "Твои доводы не убедили меня. Все-таки я намереваюсь завтра уехать". Тут возникает искушение назвать намерение чувством, чувством определенной непреклонности, неизменности решения. (Но и здесь имеется множество различных характерных

чувств и поз.) Меня спрашивают: "Ты здесь надолго?" Я отвечаю: "Завтра уезжаю, мои каникулы подходят к концу". А может быть и по-другому: я заявляю после ссоры: "Ну что ж, тогда я уезжаю завтра!" Я принимаю решение.

Часть 13.

589. "Сердцем я уже решился на это". Говоря это, мы даже склонны указывать себе на грудь. Психологически этот оборот речи следует принимать всерьез.

Почему бы его нужно было принимать менее серьезно, чем утверждение, что вера это состояние души? (Лютер: "Вера находится под левым соском".)

590. Может быть, кто-то научился понимать значение выражения "Всерьез принимать сказанное кем-то" с помощью жеста, указывающего на сердце. Но тогда следует спросить: "Из чего видно, что он этому научился?"

591. Надо ли говорить, что, имея намерение, человек испытывает какую-то устремленность? Что имеются особые переживания устремленности? Вспомни такой случай: если человеку в ходе спора не терпится сделать какое-то замечание, возразить кому-то, то часто бывает, что он открывает рот и, набрав воздуха, как бы задерживает дыхание; затем, решив воздержаться от возражения, делает выдох. Переживание этого процесса, очевидно, и есть переживание стремления что-то высказать. Тот, кто наблюдает за мной, поймет,

что я хотел что-то сказать, а затем воздержался. Поймет именно в данной ситуации. Будь она другой, он иначе истолковал бы мое поведение, даже если бы характерные признаки того, что мне хочется что-то сказать, наблюдались и на этот раз. А есть ли какое-то основание предполагать, что это же самое переживание не могло бы возникнуть в совершенно иной ситуации где оно бы не имело ничего общего ни с какой устремленностью?

592. "Но, заявляя: "Я намерен уехать", ты же именно это и имеешь в виду! Здесь опять-таки жизнь предложению придает духовный акт осмысления. Повторяя же эту фразу просто вслед за кем-то, скажем передразнивая его манеру говорить, ты произносишь ее без этого акта осмысления". Когда мы философствуем, дело порой может представляться нам именно таким образом. Но все же представим себе действительно различные ситуации и разговоры, и то, как произносится в них данное предложение! "Я всегда

обнаруживаю некий приглушенный внутренний голос (geistigen Unterton), может быть, не всегда один и тот же". А разве не было такого голоса, когда ты повторял фразу за кем-то другим? Да и как отличить этот "внутренний голос" от остальных переживаний, сопровождающих речь?

593. Главная причина философских недугов однообразная диета: люди питают свое мышление только одним видом примеров.

594. "Да ведь слова, произнесенные осмысленно, имеют не только поверхность, но и глубину!" Ведь при их осмысленном высказывании происходит нечто иное, чем в том случае, когда их просто произносят. Дело не в том, как я это выражаю. Говорю ли я, что в первом случае они имеют глубину, или же что во мне при этом что-то происходит, или же что они обладают некоей аурой, всякий раз дело сводится к одному и тому же.

"Ну, а коли все согласны с этим, так не истина ли это?"

(Я не могу принять чье-то свидетельство, ибо это не свидетельство. Оно говорит мне лишь то, что он склонен сказать.)

595. Для нас естественно произносить предложение в той или иной связи; и неестественно высказывать его в отрыве от нее. Надо ли говорить: имеется особое чувство, сопутствующее произнесению любого предложения, высказывать которое для нас естественно?

596. Чувство "знакомое" и "естественного". Легче обнаружить чувство (или чувства) чего-то незнакомого и неестественного. Ибо не все, что нам незнакомо, производит на нас впечатление незнакомого. Притом надо обдумать, что мы называем "незнакомым". Валун, который мы видим на дороге, мы опознаем как таковой, но, возможно, не как тот, что всегда лежит здесь. Человека как человека, но не как знакомого. Существует чувство давнего знакомства, порой оно выражается взглядом или же словами "Моя старая комната!" (та, где я прожил

много лет и теперь нашел ее неизменившейся). Существует и чувство незнакомого; я озадачен; испытующе или недоверчиво смотрю на предмет или на человека; говорю "Он мне совершенно незнаком". Но существование этого чувства незнакомого не дает оснований утверждать: каждый, казалось бы, хорошо нам известный, не настораживающий нас предмет пробуждает у нас чувство "близости" (Vertrautheit). Мы полагаем, будто место, которое однажды было занято чувством "чуждого", обязательно должно

быть так или иначе заполнено, и не присвой его одно захватит другое. Коли есть место для таких настроений, значит, не одно, так другое из них должно заполнить его.

597. Подобно тому как германизмы проникают в речь немца, свободно говорящего по-английски, хотя он не строит сначала немецкое выражение, чтобы затем уже перевести его на английский; подобно тому как он говорит по-английски, как бы "неосознанно" переводя с немецкого, так и мы нередко

полагаем, будто в основе нашего мышления лежит некая мыслительная схема; будто мы делаем перевод с более примитивного способа мышления на наш.

598. Философствуя, мы бываем склонны гипостазировать чувства, находя их и там, где их нет. Они служат для объяснения наших мыслей.

"Здесь объяснение нашей мысли требует чувства!" К этому

требованию, кажется, восходит наше убеждение.

599. В философии не выводят заключений. "Но это должно быть так!" не предложение философии. Философия утверждает лишь то, что признает каждый.

600. Разве все, что нас не удивляет, производит впечатление чего-то не приметного? Разве обычное всегда создает впечатление обычности?

601. Помню ли я говоря об этом столе, что данный предмет называется "столом"?

602. Если бы меня спросили: "Узнал ли ты свой письменный стол, войдя сегодня утром в свою комнату?" я бы без сомнений ответил "Конечно!". И все же утверждение: при этом происходил процесс узнавания сбивало бы с толку. Письменный стол, естественно, не был для меня неожиданностью; увидев его, я не удивился, как удивился бы, если бы там стоял другой стол или же

какой-то предмет незнакомого вида.

603. Никто не скажет, что всякий раз, когда я вхожу в свою комнату, попадаю в привычное окружение, развертывается процесс узнавания всего, что я вижу и уже видел сотни раз.

604. Мы легко создаем себе ложную картину процессов, называемых "узнаванием"; согласно этой картине, узнавание якобы всегда заключается в сравнении между собой двух

впечатлений. То есть я словно бы ношу при себе изображение предмета и с его помощью узнаю, в некоем предмете такой, какой изображен на этой картине. Нам кажется, что наша память осуществляет такое сравнение, сохраняя образ ранее увиденного или же позволяя (как через подзорную трубу) заглянуть в прошлое.

605. Причем предмет не то, что как бы сравнивается с находящейся рядом с ним картиной, он словно совпадает с картиной. Так что я вижу не две вещи, а одну.

606. Мы говорим: "Его голос выражал искренность". Будь же его голос притворным, мы считали бы, что за ним как бы скрывается какой-то другой голос. Внешне у него было это лицо, внутренне же оно было совсем другим. Но это не значит, что при искреннем выражении у него было два одинаковых лица.

(("Вполне определенное выражение".))

607. Как судят о том, который теперь час? Я имею в виду не внешние ориентиры высоту солнца над горизонтом, освещенность комнаты и т.д. Человек, допустим, спрашивает себя: "Сколько сейчас может быть времени?" Задумывается на мгновение, может быть, представляет себе циферблат и затем называет какую-то цифру. Или же он взвешивает разные возможности, сначала думает об одном времени, затем о другом и, наконец, останавливается на каком-то часе. Так или примерно так это и делается. А не сопровождается ли такое озарение

чувством полной уверенности; и не означает ли это, что человек при этом сверяется с какими-то внутренними часами? Нет, я не считываю время ни с каких часов, по которым бы я определял время. Чувство убежденности имеется постольку, поскольку я называю время спокойно и уверенно, не испытывая сомнения. А не срабатывает ли во мне, когда я определяю, который час, как бы некий щелчок? Ни о чем таком я не знаю; разве что отключаешься от раздумий, останавливаешься на определенном числе. И я бы не говорил здесь о "чувстве

уверенности", а сказал бы: я на какой-то момент задумался и вдруг понял, что сейчас четверть шестого. Но почему я так решил? Пожалуй, я бы ответил "просто почувствовал"; то есть по наитию. Но для того, чтобы определить время, ты должен по крайней мере настроиться определенным образом; ведь не каждое же представление о том, который час, ты признаешь правильным указанием времени! Как уже говорилось, я спросил себя: "Интересно, который теперь час?" То есть я этот вопрос не вычитал, например, в рассказе, не

процитировал как чье-то высказывание, не упражнялся в произнесении этих слов и т.д. Я произнес свои слова не при таких обстоятельствах. А при каких же? Я думал о моем завтраке и о том, не запоздает ли он сегодня. Вот и все обстоятельства. Но неужели ты не видишь, что ты на самом деле все-таки пребывал, хотя и безотчетно, в состоянии, характерном и для определения времени, как бы в характерном для этого настрое? Да, характерным было то, что я задал себе вопрос: "Интересно, который час?" И коли этому высказыванию присуща

особая атмосфера, то как можно отделить ее от него самого? Мне никогда не пришло бы в голову, что данное предложение может обладать такой аурой, если бы я не подумал, что оно может быть высказано иначе в качестве цитаты, в шутку, как речевое упражнение и т.д. А вот тут мне вдруг захотелось сказать, тут-то мне и показалось, что я все-таки должен вкладывать в эти слова какой-то особый смысл, иной, чем в тех, других случаях. Ко мне прицепилась картина особой атмосферы; я прямо-таки вижу ее перед собою стоит лишь отвлечься

ОТ ТОГО, ЧТО, ПО МОИМ

воспоминаниям, реально происходило.

Что же касается чувства уверенности, то я порой говорю себе: "Я уверен, что сейчас часов", и говорю это более или менее уверенным тоном и т.д. Если же ты спросишь, каково основание этой уверенности, то его у меня нет.

Если я говорю, что считываю время по внутренним часам, то это картина, которой соответствует лишь то, что определить время мне

удалось. Цель же этой картины приравнять данный случай к другому. Я отказываюсь признать здесь два разных случая.

608. При определении времени очень важна идея неуловимости душевного состояния. Почему оно неуловимо? Не потому ли, что мы отказываемся причислить к этому постулированному нами особому состоянию то, что в нашем состоянии вполне уловимо?

609. Описание своеобразия (Atmosph|re) особое применение

языка для особых целей.

((Интерпретация "понимания" как ауры, как душевного акта. Всему на свете можно придать некую ауру. "Не поддающийся описанию характер".))

610. Опиши аромат кофе! Почему это невозможно сделать? Не хватает слов? И для чего тебе не хватает их? Но как возникает сама мысль о том, что такое описание вообще должно быть возможно? Ощущал ли ты когда-нибудь отсутствие такого

описания? Ты пытался описать аромат кофе и тебе это не удалось?

((Я бы сказал: "Эти звуки говорят о чем-то величественном, но я не знаю о чем". Эти звуки выразительный жест, но я не могу сопоставить их с чем-то, что их объяснило бы. Полный глубокого смысла кивок головой. Джемс: "Нам не хватает слов". Почему же тогда мы их не вводим? А что если это было бы в наших силах?))

611. Допустим, кто-то заявил бы: "И волевой импульс (das

Wollen)_ это всего "навсего опыт".
(И "воля" лишь "представление".)
Он приходит когда приходит, и я не
могу вызвать его.

Не могу вызвать? Как что? Что
тогда я могу вызвать? С чем я
сравниваю волевой импульс,
высказываясь подобным образом?

612. О движении своей руки,
например, я бы не сказал: оно
приходит когда приходит, и т.д. Это
область, в которой мы осмысленно
говорим, что с нами не просто
случается что-то, но что мы

делаем это. "Мне не надо ждать, когда моя рука поднимется, я могу ее поднять". Причем я противопоставляю движение моей руки, скажем, тому, что сильное сердцебиение у меня утихает.

613. В том смысле, в каком я вообще могу что-то у себя вызывать (например, переедая боли в желудке), я способен вызывать и готовность к волеию (das Wollen). В этом смысле при прыжке в воду я вызываю у себя готовность плыть. По-видимому, я собирался изречь: невозможно намереваться вызвать намерение;

то есть бессмысленно говорить о намерении намерения (Wollen" Wollen). "Волевой импульс" не имя какого-то деяния, а стало быть, и не имя чего-то произвольного. И мое неверное выражение следствие нашей предрасположенности думать о волевом импульсе как о непосредственном, некаузальном вызывании (Herbeiführen). В основе же такого представления лежит сбивающая с толку аналогия; каузальную связь представляют себе в виде некоего механизма, связывающего две части машины. При поломке механизма эта связь

может нарушиться. (При этом думают лишь о поломках, которым подвержен механизм в нормальных условиях, а не о том, что, скажем, зубчатые колеса вдруг становятся мягкими или же взаимопроницаемыми и т.д.)

614. "Произвольно" двигая рукой, я не прибегаю ни к каким средствам, чтобы вызвать это движение. И мое желание не средство такого рода.

615. "Коли не предполагается, что намерение это своего рода

желание, то оно должно быть самым действием. Ему не позволено останавливаться на подступах к действию". А коли это действие, так действие в обычном смысле слова; стало быть: разговор, письмо, ходьба, поднимание предмета, представление чего-то. Но вместе с тем оно есть: проба, попытка, мобилизация усилий дабы говорить, писать, поднимать предмет, представлять себе что-то и т.д.

616. Поднимая свою руку, я не испытывал желаний: хоть бы она

поднялась. Произвольное действие исключает такое желание. Правда, можно сказать: "Надеюсь, я начерчу этот круг без изъяна". Тем самым выражается желание, чтобы рука двигалась таким-то образом.

617. Скрестив особым образом свои пальцы, мы иногда не в состоянии двинуть определенным пальцем по чьему-то указанию, если он дает его нам лишь визуально. Если же он прикасается к этому пальцу, то мы можем им двигать. Этот опыт склонны описывать так: мы не в состоянии своевольно двинуть пальцем.

Случай, совершенно отличный от того, когда мы не в состоянии двинуть пальцем, скажем потому, что кто-то крепко держит его. Тут возникает искушение описать первый случай вот так: пока к нашему пальцу не притронутся, мы не можем найти для своей воли точку приложения. Лишь ощутив прикосновение к пальцу, мы узнаем, где должна вступить в действие наша воля. Но такой способ выражения может сбивать с толку. Напрашивается реплика: "Как мне узнать место приложения воли, если ощущение не указывает его?" Ну, а тогда как узнают, куда

направить волю при наличии такого ощущения?

В таком случае опыт показывает, что палец, пока мы не ощути́м прикосновения к нему, как бы парализован, а *priori* же этого установить нельзя.

618. Субъект воли представляется здесь как нечто не обладающее массой (лишенное инерции), как некий мотор, который не должен преодолевать в себе никакого инерционного сопротивления. Стало быть, он

выступает только как двигатель, а не как приводимый в движение. То есть можно сказать: "Я делаю волевое усилие, а мое тело не слушается меня", однако не скажешь: "Моя воля не повинуется мне" (Августин).

Но в том смысле, в каком невозможно, чтобы не получалось намереваться [желать], невозможно и пытаться намереваться.

619. Можно сказать и так: "Намереваться я способен всегда

лишь постольку, поскольку
никогда не бываю способен
пытаться намереваться".

620. Кажется, что деяние как
таковое не содержит в себе ни
грانا опыта. Оно представляется
как бы непротяженной точкой,
острием иглы. Это острие и
кажется нам подлинным
действующим лицом. А все
совершающееся в мире явлений
только следствием этого деяния.
Кажется, будто слова "Я действую"
имеют определенный смысл
отдельно от всего опыта.

621. Но не будем забывать и другого: когда "я поднимаю свою руку", поднимается моя рука. И возникает проблема: что же останется, если то факт, что я поднимаю руку вверх, отделить от того, что поднимается вверх моя рука?

((Не является ли в таком случае мой волевой импульс лишь кинестетическими ощущениями?))

622. Поднимая руку, я чаще всего не пытаюсь ее поднять.

623. "Я стремлюсь непременно дойти до этого дома". Но если к тому нет никаких препятствий разве и тогда я могу стремиться во что бы то ни стало попасть к этому дому?

624. В лаборатории под воздействием, например, электрического тока кто-то с закрытыми глазами говорит "Я двигаю рукой вверх и вниз" хотя его рука неподвижна. "Значит, говорим мы, он испытывает особое чувство такого движения". Двигай с закрытыми глазами своей рукой

туда и сюда. А теперь попытайся внушить себе, не прекращая этого движения, что твоя рука неподвижна и ты просто испытываешь определенные странные ощущения в мускулах и суставах!

625. "Каким образом ты узнаешь, что поднял свою руку?" "Я чувствую это". Значит, то, что ты узнаешь, ощущение? А уверен ли ты, что узнаешь его правильно? Ты уверен, что поднял свою руку; разве это не критерий, не мера узнавания?

626. "Прикасаясь к какому-то предмету палкой, я испытываю ощущение прикосновения в кончике палки, а не в руке, которая ее держит". Если кто-то говорит: "Я чувствую боль не здесь, в ладони, а в запястье", то врач, в результате, исследует запястье больного. Но какая разница, скажу ли я, что чувствую твердость предмета кончиком палки или же рукой? Означают ли мои слова, что я утверждаю: "Такое впечатление, словно мои нервные окончания находились в кончике палки"? В каком смысле это так? Ну, во всяком случае, я склонен говорить,

что "чувствую твердость предмета и т.д. кончиком палки". И это сопровождается тем, что, ощупывая предмет палкой, я смотрю не на свою руку, а на кончик палки и описываю то, что чувствую, такими словами: "Я чувствую там что-то твердое, круглое", а не словами: "Я чувствую давление на кончики большого, среднего и указательного пальцев." Спроси, например, меня кто-нибудь: "Что ты сейчас чувствуешь пальцами, в которых держишь свой щуп?" я мог бы ему ответить: "Не знаю вот там

я чувствую что-то твердое, шероховатое".

627. Рассмотрим такое описание произвольного действия: "Я принимаю решение дать звонок в 5 часов; ну и, когда бьет 5, моя рука делает это движение". Разве правильно это описание, а не вот это: "и когда бьет 5 часов, я поднимаю руку"? К первому описанию так и хочется добавить: "Смотри"ка!Моя рука поднимается, когда бьет 5 часов." Но как раз это "смотри"ка!" здесь к делу не относится. Поднимая

руку, я не говорю: "Смотри, моя рука поднимается!"

628. Итак, можно сказать, что произвольное движение отмечено отсутствием удивления. И тут не предполагается вопрос: "Но почему здесь не удивляются?"

629. Говоря о возможности предвидеть будущее, люди всегда забывают факт предсказуемости своих собственных произвольных движений.

630. Рассмотрим две языковые игры.

а) Один велит другому выполнить определенные движения рукой или принять какую-то позу (преподаватель гимнастики и ученик). А вот один из вариантов этой языковой игры: ученик сам дает себе команду и выполняет ее.

б) Кто-то наблюдает определенные закономерные процессы например, реакции различных металлов на кислоты и

делает вслед за тем прогнозы относительно реакций, которые будут иметь место в определенных случаях.

Между этими двумя языковыми играми имеется явное сходство, но также и принципиальное различие. В обоих случаях произнесенные слова можно назвать "предсказаниями". Но сравни тренировку техники в первом случае с обучением во втором!

631. "Я собираюсь сейчас принять два порошка; через полчаса после этого меня вырвет". Если сказать, что в первом случае я выступаю как действующее лицо, а во втором только как наблюдатель, то это ничего не объяснит. С тем же успехом можно сказать, что в первом случае я вижу причинную взаимосвязь изнутри, во втором извне. И многое еще в том же роде.

Вряд ли стоит также говорить, что предсказание первого рода не

более безошибочно, чем
предсказание второго рода.

Я сказал, что приму сейчас два порошка, не на основе наблюдений за своим поведением. Этому предложению предшествовало нечто иное. Я имею в виду мысли, поступки и т.д., которые и привели к нему. Если же сказать: "Единственно существенной предпосылкой твоего высказывания было твое решение", то это вводило бы в заблуждение.

632. Я не хочу сказать, что в случае волеизъявления "Я намерен принять порошок" предсказание было бы причиной, а его исполнение действием. (Это, вероятно, можно было бы установить физиологическим исследованием.) Но в значительной степени верно, что по высказываниям о тех или иных решениях нередко можно предсказать действия человека. Важная языковая игра.

633. "Тебя только что прервали; знаешь ли ты по-прежнему, что

хотел сказать?" Ну, а если я это знаю и говорю, предполагается ли тем самым, что я уже продумал свои слова и только не высказал их? Нет. Это значит лишь, что ты принимаешь уверенность, с которой я продолжаю прерванное предложение, в качестве критерия того, что данная мысль к тому времени уже свершилась. Но разумеется, и в самой ситуации, и в моих мыслях уже было заложено все, что могло содействовать продолжению моего предложения.

634. Я продолжаю прерванное предложение и заявляю, что

именно так собирался его продолжить, это напоминает мне развертывание собственной мысли на основе кратких заметок.

Ну, а разве я не истолковываю эти заметки? Разве при данных обстоятельствах возможно всего лишь одно продолжение сказанного? Конечно, нет. Но я не выбирал свою интерпретацию среди прочих. Я вспоминал, что, собственно, я намеревался сказать.

635. "Я собирался сказать." Ты помнишь разные подробности. Но

все они не выявляют твоего замысла. Это похоже на то, как если бы при восприятии какой-то сценической картины удавалось рассмотреть лишь отдельные разрозненные элементы: здесь рука, там часть лица или шляпа, все остальное тонуло бы во тьме. И все же я как бы совершенно определенно знал, что представляет вся картина. Словно я был бы способен читать темноту.

636. Эти "детали" второстепенны не в том смысле, в каком бывают второстепенны иные обстоятельства, которые

можно помнить столь же хорошо. Но если сообщить кому-то "В тот момент я хотел сказать·", он не узнает из моих слов об этих деталях, и у него нет нужды их угадывать. Например, ему незачем знать, что тогда я уже открыл рот, чтобы говорить. Но таким образом он способен "воссоздать" для себя все происходившее. (И эта способность причастна пониманию моего сообщения).

637. "Я знаю точно, что я собирался сказать!" Однако же я этого не сказал. И тем не менее я не вычитываю этого по какому-то

другому протекавшему в то время и сохранившемуся в моей памяти процессу.

И я не истолковываю я и тогдашнюю ситуацию, и ее предысторию, ибо не обдумываю и не обсуждаю ее.

638. Как же получается, что при всем том в моих словах "В тот момент мне хотелось его обмануть" я склонен усматривать некое истолкование?

"Как ты можешь быть уверен, что в какой-то момент собирался его обмануть? Не были ли твои поступки и мысли слишком незрелы?"

Разве их очевидность не может быть слишком слаба? Да, если разобраться, она кажется чрезвычайно слабой; но не потому ли, что не принимается во внимание история этой очевидности? Чтобы у меня на какое-то мгновение возник план притвориться перед кем-то, будто

мне нехорошо, для этого нужна некая предыстория.

Действительно ли человек описывает процесс, длящийся всего лишь мгновение, если он говорит "В какой-то момент·"?

Но и данная история в целом не была очевидностью, служившей основанием моего утверждения "В какой-то момент·".

639. Мы склонны говорить, что осмысление (Meinung) развивается. Но и в этом заключена ошибка.

640. "Эта мысль продолжение мыслей, которые у меня были раньше". Как это происходит? С помощью чувства связи? Но каким образом чувство может реально связывать мысли? Слово "чувство" здесь весьма дезориентирует. И все же иногда возможно с уверенностью сказать "Эта мысль связана с теми прежними мыслями", однако быть не в состоянии продемонстрировать эту связь. Может быть, это удастся сделать позднее.

641. "Оттого, что я произнес бы слова "Сейчас мне хочется его обмануть", мое намерение не стало бы более достоверным, чем прежде". Но коли эти слова тобою высказаны, надо ли тебе воспринимать их смысл уж так серьезно? (Итак, оказывается, что самое явное выражение намерения само по себе не является достаточной очевидностью этого намерения.)

642. "Я ненавидел его в тот момент" что при этом происходило? Не заключалось ли

ЭТО в мыслях, чувствах и поступках? Попробуй я воспроизвести для себя этот момент, я придаю бы своему лицу соответствующее выражение, думал бы об определенных событиях, дышал особым образом, вызывал бы в себе определенные чувства. Я мог бы оживить в памяти разговор, целую сцену, в которой ярко проявлялась бы ненависть. И я мог бы разыграть эту сцену с чувствами, приближающимися к случаям действительного проявления ненависти. Причем пережитое мною в действительности,

естественно, помогло бы мне в этом.

643. Если теперь я устыжусь этого случая, я устыжусь всего слов, ядовитого тона и т.д.

644. "Я устыжусь не того, что я тогда сделал, а намерения (Absicht), которое у меня было". А не входило ли также и намерение в то, что я сделал? Что оправдывает стыд? Вся случившаяся история.

645. "В какой-то миг я хотел." То есть я испытывал особое чувство,

внутреннее переживание; и я помню его.

Ну, а вспомни совершенно точно! Кажется, здесь опять исчезает это "внутреннее переживание" намерения (Wollen). Вместо него опять-таки вспоминаются мысли, чувства, движения, в связи с предшествовавшими обстоятельствами.

Словно изменена наводка микроскопа и то, что раньше не

было видно, сейчас оказалось в фокусе.

646. "Так это показывает только, что ты неверно навел свой микроскоп. Ты должен был рассмотреть определенный слой препарата, а видишь сейчас другой".

В какой-то мере это так. Но предположим, что (при определенной наводке линз) мне вспоминалось какое-то ощущение; разве я бы смел утверждать, что его-то я и называю "намерением"?

Могло бы случиться, что каждому моему намерению сопутствовал (например) особый зуд.

647. Что является естественным выражением намерения? Посмотри на кошку, подкрадывающуюся к птице, или на зверя, который хочет убежать.

((Связь с высказываниями о переживаниях.))

648. "Я уже не помню сказанных мною слов, но я точно помню о своем намерении: этими словами я

хотел его успокоить". Что показывает мне мое воспоминание; что предъявляет оно моей душе? А что если оно не делает ничего иного, кроме как подсказывает мне эти слова! А может быть, и иные, еще точнее воспроизводящие ситуацию. ("Я уже не помню своих слов, но, конечно, помню их дух".)

649. "Итак, тот, кто не владеет языком, не может иметь определенных воспоминаний?" Конечно, он не может иметь выраженных в языке воспоминаний, желаний или

опасений и т.д. А воспоминания и т.п., выраженные в языке, это не просто стертые изображения подлинных переживаний; разве то, что является языковым, не переживание?

650. Мы говорим: собака боится, что хозяин ударит ее, но не говорим: она боится, что хозяин завтра ударит ее. Почему?

651. "Я помню, что тогда я охотно остался бы там подольше." Какая картина этого желания встает у меня в душе? Никакой

вообще. То, что я вижу в своих воспоминаниях, не дает мне никакого ключа к моим чувствам. И все же я совершенно отчетливо помню, что они были.

652. "Он смерил его недружелюбным взглядом и сказал." Читатель рассказа понимает это; в его сознании не возникает на этот счет ни малейших сомнений. А ты заявляешь: "Ну да! Он примысливает значение, он его угадывает". Вообще-то нет. Вообще говоря, он ничего не примысливает и не угадывает. Но возможно

также, что позже выясняется притворство враждебного взгляда и слов, или же у читателя остается сомнение в их подлинности, и тогда он действительно угадывает какую-то возможную интерпретацию. А в таком случае он прежде всего угадывает некий контекст. Он скажет себе, например: эти двое, которые здесь так враждебны друг другу, на самом деле друзья и т.д.

(("Если хочешь понять предложение, нужно представить себе его психологическую

значимость, [сопутствующие ему] душевные состояния".))

653. Представь себе такой случай: я говорю кому-то, что шел определенным маршрутом, руководствуясь заранее подготовленным планом. Я показываю ему этот план, составленный с помощью линий на бумаге; но не могу объяснить, в каком смысле эти линии являются планом моего движения, не могу дать никаких правил истолкования плана. И все-таки я следую этому чертежу, выказывая характерные признаки прочтения карты. Я мог

бы назвать такой чертеж "приватным" планом, а явление, описанное мной, "следованием приватному плану". (Но конечно, это выражение очень легко приводило бы к недоразумениям.)

Ну а можно ли сказать: "Я как бы вычитываю по карте то, что некогда уже собирался действовать так, хотя никакой карты нет"? Но это всего "навсего означает, что в подобном случае я склонен заявить: "Определенные душевные состояния, о которых я помню, прочитываются мною как

намерение действовать таким-то образом".

654. Вот в чем наша ошибка: мы ищем объяснение там, где факты следует рассматривать как "прафеномены"_. То есть там, где требуется сказать: играется такая-то языковая игра.

655. Речь идет не об объяснении некоей языковой игры нашими переживаниями, но о ее констатации.

656. С какой целью я говорю кому-то, что раньше испытывал определенное желание? Понимай языковую игру как то, что первично! А чувства и т.д. как способ рассмотрения, интерпретацию языковой игры!

Можно было бы спросить, как человек вообще когда-то пришел к словесному выражению того, что мы называем "сообщениями о прошлых желаниях или прошлых намерениях".

657. Представим себе, что такое высказывание всегда принимает следующий вид: "Я сказал себе: "Если бы я мог остаться подольше!"" Целью такого сообщения могло бы быть оповещение других о моих реакциях. (Сравни грамматику глаголов "meinen"[осмысливать] и "vouloir dire" [что-то значить].)

658. Представь, что мы всегда выражаем намерение человека такими словами: "Он словно бы сказал самому себе: "я хочу·"" Это картина. Я же сейчас пытаюсь

узнать, как употребляется выражение "словно бы сказать что-то самому себе". Ведь оно означает нечто иное, чем фраза: сказать что-то самому себе.

659. Почему, не ограничиваясь рассказом о том, что я сделал, я хочу сообщить ему и свой замысел (Intention)? Не потому, что мой замысел тоже был чем-то совершившимся в то время. А потому, что хочу сообщить ему что-то о себе, нечто, выходящее за рамки того, что тогда произошло.

Говоря, что я хотел сделать, я раскрываю ему свой внутренний мир. Но не на основе самонаблюдения, а с помощью некоторой реакции (ее можно было бы также назвать интуицией).

660. Грамматика выражения "Я хотел тогда сказать·" родственна грамматике выражения: "Я мог бы тогда продолжить".

В одном случае припоминается намерение, в другом понимание.

661. Я вспоминаю, что имел в виду его. Вспоминаю ли я при этом некий процесс или состояние? Когда оно началось, как протекало и т.д.?

662. В несколько иной ситуации вместо того, чтобы молча поманить человека пальцем, говорили бы кому-то: "Попроси N подойти ко мне". В таком случае можно сказать, что слова "Я хочу, чтобы N подошел ко мне" описывают мое душевное состояние в данный момент, а можно этого и не сказать.

663. Когда я говорю "Я имел в виду его", в моем сознании может вставать картина того, как я смотрел на него и т.д. Но эта картина всего лишь иллюстрация к некоей истории. Из самой картины в большинстве случаев невозможно вообще ни о чем заключишь; лишь зная эту историю, мы разбираемся в картине.

664. В употреблении слова можно разграничить "поверхностную грамматику" и "глубинную грамматику". То, что

непосредственно запечатлевается в нас при употреблении слова, это способ его применения в структуре предложения, та часть его употребления, которую мы, так сказать, в состоянии уловить на слух. А теперь сравни глубинную грамматику, скажем, слова "подразумевать" с тем, какие ожидания вызывает поверхностная грамматика этого слова. Неудивительно, что в этом так трудно разобраться.

665. Представь, что кто-то с искаженным от боли лицом показывает на свою щеку и

говорит "абракадабра!". Мы спрашиваем: "Что ты имеешь в виду?" А он отвечает: "Я имею в виду зубную боль". Ты тотчас же подумаешь: как можно под этим словом "подразумевать зубную боль"? Или же что означало: под этим словом подразумевать боль? И все же в каком-то ином контексте ты бы утверждал, что подразумевать то-то это как раз самая важная духовная деятельность при употреблении языка.

А не могу ли я сказать, что под "абракадаброй" понимаю зубную

боль? Конечно, могу, но это некая дефиниция, а не описание того, что происходит во мне при употреблении слова.

666. Представь, что ты испытываешь боль и одновременно слышишь, как где-то рядом настраивают рояль. Ты говоришь "Это скоро прекратится". Совсем не одно и то же, имеешь ли ты в виду боль или настройку рояля! Конечно, но в чем состоит эта разница? Я признаю: осмыслению во многих случаях будет соответствовать направленность внимания, так же как это часто

делает взгляд, или жест, или закрытые глаза, что можно назвать "взглядом в себя".

667. Представь, что кто-то симулирует боль и затем говорит: "Это скоро пройдет". Разве нельзя сказать, что он имел в виду боль? И все-таки он не концентрировал свое внимание на какой-то боли. А что происходит, когда я подытоживаю: "Уже прекратилось"?

668. Но разве нельзя обманывать и вот так: подразумевая боль,

человек говорит "Это скоро пройдет", на вопрос же "Что ты имел в виду" отвечает: "Шум в соседней комнате"? В подобных случаях говорят, например: "Я собирался ответить, но затем поразмыслил и ответил."

669. В процессе речи можно затрагивать некий предмет, указывая на него. Здесь указание часть языковой игры. И вот нам кажется, будто, говоря об ощущении, тем самым по ходу речи направляют на него свое внимание. Но где здесь аналогия? Она, очевидно, состоит в том, что

указывать на что-то можно посредством зрения и слуха.

Но ведь даже указание на объект, о котором говорят, может быть вовсе не существенным для языковой игры, для мышления.

670. Представь, что ты звонишь кому-нибудь по телефону и говоришь ему: "Этот стол слишком высок", причем указываешь на стол. Какую роль играет здесь указание? Могу ли я при этом сказать: я подразумеваю соответствующий стол, указывая

на него? Для чего это указание и эти слова со всем прочим, что их может сопровождать?

671. А на что указывает моя внутренняя слуховая активность? На звук, раздающийся у меня в ушах, и на тишину, когда я ничего не слышу?

Слушание как бы ищет слуховое впечатление, и потому оно способно указать не само ощущение, а лишь место, где он его ищет.

672. Если рецептивную установку считать своего рода "указанием" на что-то, то этим "что-то" не является, получаемое таким образом ощущение.

673. Мысленная установка "сопровождает" слова отнюдь не в том же смысле, как жест. (Подобно тому как человек может путешествовать один и все же быть сопровождаем моими добрыми пожеланиями; или пространство может быть пусто и тем не менее пронизано лучами света.)

674. Говорят ли, например: "В данную минуту я, собственно, не имел в виду мою боль; я почти перестал обращать на нее внимание"? Спрашиваю ли я, скажем, себя: "Что я только что имел в виду под этим словом? Мое внимание было разделено между болью и шумом"?

675. "Скажи мне, что происходило в тебе, когда ты произносил такие слова?" Фраза "Я имел в виду" не будет ответом на этот вопрос.

676. "Под этим словом я подразумевал вот это." Это некое сообщение, употребляемое иначе, чем сообщение о душевном состоянии говорящего.

677. С другой стороны: "Когда ты только что бранился, ты действительно имел это в виду?" Это равносильно вопросу: "Был ли ты действительно рассержен?" Ответ же может быть дан на основе интроспекции, и часто он таков: "Всерьез я этого не имел в виду", "Я сказал все это полушутя".

Здесь мы имеем различия в степени.

Говорят при этом, правда, и так: "Произнося эти слова, я отчасти имел в виду его".

678. Так в чем же все-таки состоит это полагание (боли или звуков рояля)? Ни один ответ не годится, ибо ответы, которые сходу предлагаются, ничего не стоят. "И все же я тогда имел в виду одно, а не другое". Да, конечно, но ты лишь подчеркнуто повторил то, чему и так никто не возражал.

679. "А можешь ли ты сомневаться, что имел в виду именно это?" Нет. Но и быть вполне уверенным в этом, знать это я также не могу.

680. Если ты мне говоришь, что, выражая проклятие, имел при этом в виду N, то для меня безразлично, смотрел ли ты тогда на его изображение, представлял ли его себе, произносил ли его имя и т.д. Интересующие меня выводы из этого факта не имеют ничего общего со всем перечисленным. Но с другой стороны, мне могли бы

объяснить, что проклятие действительно только тогда, когда проклинаящий ясно представляет себе человека или же громко выкрикивает его имя. Однако никто не скажет: "Дело в том, каким образом проклинаящий имеет в виду свою жертву".

681. И конечно, не спрашивают: "А ты уверен, что проклинал его, что была установлена связь именно с ним?"

Тогда выходит, что эту связь очень легко установить, что в ней

можно не сомневаться?! И можно быть уверенным, что она не минует намеченной цели. А разве не может случиться, что я пишу письмо одному, а фактически адресуюсь к другому? И как это могло бы произойти?

682. Ты сказал "Это скоро прекратится". Подумал ли ты тогда о шуме или о своей боли? Если он отвечает: "Я думал о звуках рояля", то констатирует ли он этим существование такой связи или же создает ее этими словами? А нельзя ли ответить: и то и другое? Если сказанное было истинно, то

разве не существовала такая связь и разве он не устанавливал вместе с тем связь, ранее не существовавшую?

683. Я рисую голову. Ты спрашиваешь: "Кого она должна изображать?" Я отвечаю: "Это должен быть N" Ты: "Он не похож у тебя, это, скорее, M". Говоря, что мой рисунок изображает N, устанавливал ли я эту связь или сообщал о ней? Тогда какая связь существовала?

684. Что же свидетельствует в пользу того, что мои слова описывают уже существующую взаимосвязь? Да хотя бы то, что они относятся к разным вещам, появившимся отнюдь не вместе с этими словами. Они говорят, например, что я должен был бы дать определенный ответ, если меня бы спросили. И если даже этот ответ лишь условен, он все же что-то говорит о прошлом.

Часть 14.

685. "Ищи А" не означает "Ищи В"; но, следуя и той и другой команде, можно действовать одинаково.

Утверждать, что в этих случаях должно произойти нечто различное, все равно что считать два предложения: "Сегодня мой день рождения" и "26 апреля мой день рождения" относящимися к разным дням в силу неравнозначности их смысла.

686. "Конечно, я имел в виду В и совсем не думал об А!"

"Я хотел, чтобы ко мне пришел В, для того чтобы." Все это указывает на более широкий контекст.

687. Вместо "Я имел в виду его" иногда, конечно, могут сказать "Я думал о нем", а иногда даже "Да, мы говорили о нем". Так полюбопытствуй, в чем состоит "разговор о нем"!

688. При некоторых обстоятельствах можно сказать: "Когда я говорил, я чувствовал, что

говорил это тебе". Но я бы не сказал так, если бы в любом случае говорил с тобой.

689. "Я думаю об N"; "Я говорю об N".

Как я говорю о нем? Например, говорю: "Я должен сегодня навестить N". Но этого же недостаточно! В конце концов под N я мог бы иметь в виду разных лиц, носящих это имя. "Следовательно, должна существовать и какая-то еще, другая связь моей речи с N, ибо в

противном случае я все-таки не имел бы в виду ЕГО".

Конечно, такая связь существует. Только не так, как ты себе ее представляешь, то есть не через некий духовный механизм.

(Сравнивают "иметь в виду его" и "нацеливаться на него".)

690. А что, если я один раз делаю явно безобидное замечание, украдкой сопровождая его вскользь брошенным на кого-то взглядом; в другой же раз, потупив взор,

открыто говорю о ком-то из присутствующих, называя его по имени, действительно ли я думаю специально о нем, когда использую его имя?

691. Делая по памяти для себя набросок лица N, я могу, конечно, сказать, что имею в виду его в своем рисунке. Но о каком процессе, сопровождающем рисование (предшествующем ему или следующем за ним), можно утверждать, что это и есть "иметь в виду" его?

Ибо можно ведь сказать: имея в виду его, нацеливаются на него. А что делает человек, вспоминаящий, вызывающий в воображении лицо другого человека?

Я имею в виду, как он вызывает ЕГО в памяти?

Как он вызывает его?

692. Верно ли говорить: "Давая тебе это правило, я имел в виду, что ты должен в этом случае·"?

Даже если дающий правило совсем не думал об этом случае? Конечно, верно. "Иметь это в виду" вовсе не значит думать об этом. Но вопрос тут вот в чем: как судить о том, имел ли кто-то это в виду? Критерием такого рода может быть то, что он, например, овладел особой техникой арифметики и алгебры и учил обычному способу продолжения числового ряда кого-то еще.

—

—

ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

693. "Обучая кого-то построению ряда я, конечно, полагаю, что на сотом месте он должен написать." Совершенно верно, ты полагаешь это. И очевидно, что тебе вовсе не обязательно думать об этом. Это показывает тебе, сколь различна грамматика глагола "полагать" и грамматика глагола "думать". И нет ничего более ошибочного, чем называть "полагание" (Meinen) некоей духовной деятельностью!

Если, конечно, при этом не стремиться именно вызвать путаницу. (С тем же успехом можно было бы говорить о деятельности масла, когда оно поднимается в цене, и если при этом не возникает никаких проблем, то это безвредно).

1 "Наблюдая, как взрослые, называя какой-нибудь предмет, поворачивались в его сторону, я постигал, что предмет обозначается произносимыми ими звуками, поскольку они указывали на него. А вывод этот я делал из их жестов, этого естественного языка

всех народов, языка, который мимикой, движениями глаз, членов тела, звучанием голоса выражает состояние души когда чего-то просят, получают, отвергают, чуждаются. Так постепенно я стал понимать, какие вещи обозначаются теми словами, которые я слышал вновь и вновь произносимыми в определенных местах различных предложений. И когда мои уста привыкли к этим знакам, я научился выражать ими свои желания".

2 Представь себе изображение боксера в особой боевой стойке.

Ну, это изображение можно использовать для того, чтобы поведать кому-нибудь, как он должен стоять, как держаться; либо же как ему не следует вести себя; либо же как некий человек стоял в таком-то месте и т.д. Это изображение можно было бы назвать (пользуясь языком химии) предложением "радикалом.

Вероятно, примерно так мыслилось Фреге "предположение".>.

3 Можно ли для объяснения слова "красный" указать на что-то не красное? Это напоминало бы

случай, когда человеку, не владеющему соответствующим языком, нужно объяснить, что означает в нем слово "скромный", и для этого ему указывали на назойливого человека, говоря "Этот не скромн". Многозначность такого рода объяснения не является аргументом против него. Любое объяснение может быть ложно понято. Но, пожалуй, можно было бы спросить: следует ли все еще называть это "объяснением"? Ведь в работе языка оно, конечно, играет иную роль, чем та, которую мы обычно называем

"указательным объяснением" слова "красный"; даже если его практические следствия, его воздействие на обучаемого те же самые.

4 Каким образом слова "Это есть голубое" один раз означают высказывание о предмете, на который указывают, а другой раз объяснение слова "голубое"? Ну, во втором случае действительно имеют в виду "Это называется 'голубое'". Так, значит, слово "есть" один раз можно понимать как "называется", а слово "голубое" как "голубое", в другой же раз под

"есть" действительно подразумевать "есть" [является]? И может статься, что кто-то извлекает некое объяснение слов из того, что мыслилось как сообщение о действительности. [Замечание на полях: здесь кроется роковое суеверие.]

Могу ли я под словом "бубубу" понимать "Если не будет дождя, я пойду гулять"? Только в языке можно подразумевать что-то под чем-то. Это ясно показывает, что грамматика слова "подразумевать" несходна с грамматикой

выражения "представлять себе что-то" и т.п.

5 Волшебный меч из Песни о Нибелунгах. Перев.>

6 Кто-то говорит мне: "Покажи детям игру!" Я обучаю их игре в кости на деньги. Тогда он заявляет: "Я имел в виду не эту игру". Разве, давая мне указание, он не должен был осознавать, что игру в кости следовало исключить?

7 Фарадей писал в Химической истории свечи: "Вода одна

индивидуальная вещь, она никогда не меняется".

8 Должен ли я знать, что понимаю слово? Разве не бывает так: мне представляется, будто я его понимаю (как может казаться, что я понимаю какое-то исчисление), а затем обнаружится, что я его не понял? ("Мне думалось: я знаю, что называется "абсолютным" и "относительным" движением, но теперь я вижу, что этого не знаю".)

9 (а) "Я считаю, что в данном случае правильное было бы сказать..." Разве это не показывает, что значение слова есть нечто, возникающее у нас в сознании и являющееся той точной картиной, которую мы хотим здесь использовать? Представь, из слов "статный", "полный достоинства", "гордый", "внушающий уважение" я выбираю то, что наиболее уместно в данном случае. Не похоже ли это на выбор рисунка в альбоме? Отнюдь нет. То, что речь здесь идет о подходящем слове, еще не указывает на существование чего-то такого,

что... и т.д. Дело в другом: люди склонны говорить о чем-то напоминающем картину, потому что способны почувствовать уместность какого-нибудь слова, потому что часто перебирают слова в поиске удачного наподобие того, как перебирают сходные, но не тождественные изображения, потому что изображения часто используются вместо слов или для иллюстрации слов, и т.д.

(б) Я вижу картину. Она изображает старика, поднимающегося по крутому склону, в гору, опираясь на палку.

А так ли это? Разве изображение не могло бы выглядеть так же, если бы он в том же положении скользил вниз по крутому спуску дороги? Возможно, марсианин описал бы эту картину таким образом. Нет нужды объяснять, почему мы описываем ее не так.

10 Для объяснения значения (я имею в виду значимость) того или иного понятия нам часто приходится признавать чрезвычайно общие факты природы: такие факты, которые почти никогда не упоминаются в силу их очень общего характера.

11 (а) "Понимание слова" состояние. Но психическое ли это состояние? Мы называем психическими состояниями угнетенность, возбуждение, боль. Прделаем следующее грамматическое исследование: мы говорим

"Он был угнетен весь день";

"Весь день он был сильно возбужден";

"Боли у него не прекращаются со вчерашнего дня".

Мы также говорим: "Я понимаю это слово со вчерашнего дня". Можно ли сказать "непрерывно"? Да, можно говорить о непрерывности понимания. Но в каких случаях? Сравни: "Когда ослабли твои боли?" и "Когда ты перестал понимать это слово?".

(б) Представь, что тебя спрашивают: "Когда ты умеешь играть в шахматы? Всегда? Или же тогда, когда делаешь ход? И так во

время каждого хода на протяжении всей игры?" Как странно, однако, что умение играть в шахматы используется в столь короткий промежуток времени, тогда как сама партия оказывается значительно более долгой.

12 Грамматика выражения "совершенно особое (настроение)". Говорят "Это лицо имеет совершенно особое выражение" и, скажем, ищут слова, чтобы охарактеризовать его.

— "Самое очевидное и наиболее употребимое, вместе с тем весьма скрыто, и его открытие ново".

— "Что три отрицания снова дают одно отрицание, должно быть заложено уже в том единичном отрицании, к которому я здесь прибегаю". (Соблазн мифологизации "значения".) Кажется, что в силу самой природы отрицания двойное отрицание предстает как утверждение. (И это отчасти верно. Что же? И то и другое связано с нашей природой.) б)

Имеют ли силу те или иные правила для слова "не" (то есть соразмерны ли они его значению) это не предмет для обсуждения. Ибо без этих правил слово пока еще не имеет значения; если же мы изменяем правила, то слово приобретает другое значение (или же теряет его вообще), а в таком случае можно с тем же успехом изменить и само слово.

— У Витгенштейна "das Wollen", имеющее в данном его анализе спектр ("семейство") переходящих одно в другое значений: воление, желание, намерение, замысел,

волевой импульс, внутренняя готовность к определенному действию и др. Перев.

— Первичные или оригинальные случаи, из которых развиваются или по которым копируются остальные. Перев.

ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЧАСТЬ II

I

Животное можно представить себе разъяренным, робким, печальным, радостным, испуганным. А надеющимся? Почему же нет?

Собака уверена, что ее хозяин у дверей. Но может ли она также быть уверена, что ее хозяин придет послезавтра? И чего она не может делать? Как же тогда я делаю это? Что следует ответить на это?

ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН

ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Надеяться может только тот, кто может говорить? Только тот, кто овладел употреблением языка. То есть проявления надежды модификации этой усложненной жизненной формы. (Если понятие ориентировано на характер человеческого почерка, то оно неприменимо к существу, которое не пишет.)

"Скорбь" описывает нам некий образец, с различными

вариациями повторяющийся в
ткани жизни. Если бы, скажем,
телесные выражения
человеческого горя и радости
изменялись с тиканьем часов, то
мы здесь не говорили бы о
характерном очертании
настроений горя и радости.

"В течение секунды он ощущал
острую боль". Но почему звучит
странно: "В течение секунды он
чувствовал глубокую скорбь"?
Потому лишь, что это так редко
происходит?

А нет ли у тебя сейчас чувства скорби? ("А не играешь ли ты сейчас в шахматы?") Ответ может быть утвердительным, однако это не делает понятие скорби подобным понятию некоего ощущения. Ведь вопрос, несомненно, носил временной и личностный, а не логический характер, как нам бы хотелось.

"Ты должен знать: я боюсь".

"Ты должен знать: это меня страшит".

Но это можно сказать в шутиливом тоне.

И ты хочешь мне сказать, что он не чувствует этого?! Откуда же тогда он об этом знает? Даже если это некоторое сообщение, то научен он этому не своими ощущениями.

Представь-ка себе ощущения, вызванные жестами страха: слова "это ужасно" один из таких жестов, и если, произнося их, я их слышу и переживаю, то это относится и ко всем прочим

ощущениям. Почему же тогда речевые жесты должны быть основой жестов неречевых?

II

Говоря "Когда я слышу это слово, оно обозначает для меня·", соотносят себя с каким-то моментом времени и с неким способом словоупотребления. (Конечно, именно эту комбинацию нам и не удастся понять.)

И выражение "Я хотел тогда сказать·" соотносится с

определенным моментом и с определенным действием.

Я говорю о существенных соотнесениях [референциях] высказывания, об особенностях, отличающих его от других форм нашего выражения. А существенны для высказывания те соотнесения, что побуждают нас переводить некий в известном смысле чуждый нам вид выражения в эту привычную для нас форму.

Если бы ты был не в состоянии сказать, что одно и то же слово,

допустим слово "есть", может быть и глаголом, и связкой, или не мог строить предложения, в которых это слово выступает то в одной, то в другой роли, тебе было бы не по силам справиться с простым школьным упражнением. Но школьника не просят понимать слово тем или иным образом или сообщать о том, как он его понял вне какого-либо контекста.

Слова "роза <есть> красная" бессмысленны, если по своему значению "есть" приравнивается к слову "тождественно". Значит ли это: если, высказывая это

предложение, ты мыслишь слово "есть" как знак тождества, то его смысл разрушается?

Мы берем предложение и объясняем кому-то значение каждого слова; тем самым он обучается пользоваться этими словами, а значит, и данным предложением. Выбери же мы вместо предложения словесный ряд, лишенный смысла, он бы не научился им пользоваться. А если слово "есть" объяснять как знак тождества, то он не усвоит, как пользоваться предложением "Роза <есть> красная".

И все же в этом "расщеплении смысла" есть что-то верное. Так, например, возможен совет: чтобы окликнуть кого-то восклицанием "Эй! Эй! (Ei! Ei!)", незачем думать при этом о яйце (Eier)¹⁷.

Переживание значения и переживание наглядного представления. Можно сказать: "Переживают и здесь, и там нечто разное. Сознанию здесь дается перед ним предстает разное содержание". Каково же это содержание при опыте наглядного представления? Ответом служит

картина или описание. А каково содержание переживания значения? Я не знаю, что ответить на это. Если в вышесказанном есть какой-то смысл, то он может состоять только в том, что оба понятия относятся друг к другу подобно понятиям "красное" и "синее". Но это не так.

Можно ли удерживать понимание значения как удерживают наглядное представление? То есть, если мне вдруг приходит на ум одно из значений слова, может ли оно и оставаться в моем сознании?

"Весь план внезапно возник в моем воображении и оставался в нем примерно пять минут". Почему это звучит странно? Можно было бы считать, что внезапно озаряющее и пребывающее не могут быть одним и тем же.

Я воскликнул "Теперь он у меня есть!" Это было внезапное озарение; затем уже я мог изложить план во всех деталях. Что при этом предполагается пребывающим? Может быть, та или иная картина. Но слова

"Теперь он у меня есть" не означают, что у меня есть картина.

Кому пришло в голову значение слова и он его не забыл, тот может теперь применять это слово таким образом.

Кому пришло в голову значение слова, тот его теперь знает, и это озарение начало знания. В чем здесь сходство с переживанием представления?

Когда я говорю "Г"н Швейцар не швейцар", то первое слово я

мыслю как имя собственное, а второе как имя нарицательное. Так выходит, при произнесении первого слова в моем сознании должно происходить нечто иное, чем при произнесении второго? (Предполагается при этом, что я не твержу это предложение, "как попугай".) Попробуй теперь первого "швейцара" мыслить в качестве нарицательного имени существительного, а второго в качестве собственного! Как это делается? Когда я это делаю, то попытки придать каждому из двух слов подлинное значение заставляют меня моргать глазами

от напряжения. Ну, а вызываю ли я значение слов в своем воображении при обычном употреблении?

Если произносишь предложение, изменив в нем значения слов, то чувствуешь, что смысл предложения разрушается. Так он же разрушается для меня, а не для тех других, кому я делаю сообщение! Чему же тогда это мешает? "Но при обычном произнесении предложения происходит еще что-то, вполне определенное". То, что при этом

происходит, это не "экспозиция значения" в чем-то сознании.

III

Что делает мое представление о нем представлением именно о нем?

Отнюдь не подобие образа.

Помимо представления тот же самый вопрос применим и к высказыванию "Я вижу его сейчас перед собой как живого". Что

делает это высказывание высказыванием именно о нем? Ничто из того, что заложено в нем, или ему одновременном ("стоит за ним"). Если ты хочешь знать, кого он имеет в виду, спроси его!

(Но возможно также, что в моем воображении мелькает какое-то лицо, которое я даже могу зарисовать, не зная, какому человеку оно принадлежит и где я его видел.)

А допустим, что кто-то представляя себе фигуру или

вместо этого очерчивал бы [ее], хотя бы лишь пальцем в воздухе. (Это можно назвать "моторным представлением".) Тут было бы уместно спросить: "Кого это представляет?" И его ответ был бы решающим. В нем вроде бы давалось словесное описание, но вместе с тем способное и просто замещать представление.

IV

"Я полагаю, что он страдает". Полагаю ли я к тому же, что он не автомат?

Лишь с известным внутренним сопротивлением я могу произнести это слово в таких двух контекстах.

(Или же дело обстоит так: я полагаю, что он страдает; я уверен, что он не автомат? Бессмыслица!)

Представь себе, что я говорю о своем друге "Он не автомат". Что содержало бы это сообщение и для кого оно было бы предназначено? Для человека, который встречает его при обычных обстоятельствах? Какую информацию оно могло бы

ему дать? (Самое большое, что тот, о ком говорится, всегда себя ведет, как человек, как машина же никогда.)

"Я полагаю, что он не автомат" это сообщение само по себе еще не имеет никакого смысла.

Мо отношение (Einstellung) к нему это отношение к [его] душе. Я не придерживаюсь мнения, что он имеет душу.

Религия учит, что душа способна существовать и после разрушения

тела. Понимаю ли я то, чему она учит? Пожалуй, понимаю. В связи с этим я могу многое себе представить. На эту тему можно даже писать картины. Почему же такая картина должна считаться лишь несовершенной передачей высказанной идеи? Почему бы ей не нести ту же службу, что и выраженное словами учение? А дело ведь именно в выполняемой функции.

Если на нас способна производить впечатление картина мысли в голове, то почему бы тем более не картина мысли в душе?

Человеческое тело лучшая картина человеческой души.

А как быть с таким выражением: "Когда ты говорил, я понимал это всем сердцем"? При этом указывают на свое сердце. Взять хотя бы этот жест разве он ничего не значит?! Ведь его понимают. Или [при этом] сознают, что используют всего лишь картину? Определенно нет. Это не произвольно выбранная нами картина, не сравнение, и все"таки это образное [метафорическое] выражение.

V

Представь, что мы наблюдаем движение точки (например, светящейся точки на экране). Из поведения этой точки можно извлечь важные следствия. Но сколь различные явления можно наблюдать при этом! Это и траектория точки с соответствующими ей мерами (например, амплитуда и длина волны), или же скорость и закон, согласно которому она изменяется, либо же та величина и

местоположение, при которых она прерывно изменяется, либо кривизна пути в этих местах, и несчетное множество других явлений. И каждая из этих черт поведения точки могла бы стать для нас единственно интересной. Скажем, кроме числа петель, которые она делает в определенное время, все прочее в ее движении могло бы стать для нас безразличным. И если бы нас интересовала не какая-то одна из характеристик, а сочетание нескольких, то каждое из них, в связи с его особой природой, тоже могло бы нам дать выводы,

отличные от всех других. Так же обстоит дело и с поведением людей, с различными характеристиками этого поведения, которые мы наблюдаем.

Стало быть, психология ведет речь о поведении, а не о душе?

Что фиксирует психолог? Что он наблюдает? Разве не поведение людей и, особенно, их высказывания? Но последние говорят не о поведении.

"Я заметил, что он был расстроен". Сообщает ли это о поведении или же о душевном состоянии? ("Небо кажется предгрозовым" идет ли речь о настоящем или о будущем.) О том и о другом. Но не в их рядоположенности, а об одном, данном через другое.

Врач спрашивает: "Как он себя чувствует?" Медсестра отвечает: "Он стонет". Сообщение о его поведении. Но должен ли для них обоих вообще существовать вопрос: настоящий ли это стон,

действительно ли он выражает то-то? Разве они не могут, например, прийти к выводу: "Раз он стонет, ему надо дать еще одну дозу болеутоляющего", замалчивая [при этом] промежуточное звено? Не определена ли здесь суть дела той ролью, какую они отводят описанию поведения?

"Но тогда они основываются на молчаливо принимаемом допущении". Тогда и весь процесс нашей языковой игры всегда основывается на молчаливо принимаемых предпосылках.

Я описываю психологический эксперимент: аппарат, вопросы экспериментатора, действия и ответы испытуемого, а затем говорю, что все это сцена, разыгрываемая в театре. Тогда все сразу меняется. Объяснение примет такой вид: если бы этот эксперимент описывался таким образом в книге по психологии, то описание поведения осмысливалось как выражение внутреннего состояния испытуемого, так как предполагалось бы, что испытуемый не морочит нас, не выучил заранее своих ответов и

т.п. Итак, мы делаем
предположение?

Действительно нам следует так
выражаться: "Я, конечно,
предполагаю, что·"? Или же не
следует хотя бы потому, что
другим это и так уже хорошо
известно?

А разве предположение
существует не там, где имеется
какое-то сомнение? Но сомнение
может полностью отсутствовать.
Сомнения имеют конец.

Тут возможна аналогия с отношением физического объекта и чувственного впечатления. Мы здесь имеем дело с двумя языковыми играми, отношения между которыми носят усложненный характер. Попытки свести эти отношения к одной простой формуле неизбежно приводят нас к заблуждению.

VI

Представь себе, что кто-то сказал: каждое хорошо известное нам слово, например в книге, уже

само по себе окружено в нашем сознании некоей атмосферой, "ореолом" нечетко определенных возможных употреблений. Так, как если бы каждая из фигур рисунка проступала из легкой дымки, из фона слабо прописанных сцен, данных как бы в ином измерении, и мы видели бы здесь эти фигуры в других взаимосвязях. Только сыграем в это предположение всерьез! Тогда выявляется, что оно не может объяснить отнесенность знаков к их значениям (Intention)¹⁸.

Если бы действительно было так, если бы возможные

употребления слова
произносимого или слышимого
всплывали в нашем сознании в
неких полутонах, то это
существовало бы только для нас.
Однако мы объясняем с другими,
не зная, испытывают ли и они эти
переживания.

Что можно возразить человеку,
заявившему, что для него
понимание внутренний процесс?
Что мы возразили бы ему, если бы
он сказал, что знание, как играть в
шахматы, для него внутренний
процесс? Мы заявили бы, что все в
нем происходящее нас совершенно

не интересует, когда мы хотим знать только, умеет ли он играть в шахматы. А если бы он нам на это ответил, что фактически речь и идет как раз о том, что нас интересует, то есть может ли он играть в шахматы, то мы должны были бы обратить его внимание на критерии, позволяющие судить о его способности играть в шахматы, и, с другой стороны, на критерии его "внутренних состояний".

Даже если бы кто-то обладал определенной способностью лишь тогда и лишь в той мере, в какой у него возникало определенное

чувство, то само это чувство не было бы способностью.

Значение слова это не переживание при его выслушивании или же произнесении, а смысл предложения не комплекс таких переживаний. (Как складывается смысл предложения "Я его все еще не видел" из значений его слов?) Предложение состоит из слов, и этого достаточно.

Есть склонность утверждать, будто каждое слово хотя оно и

может иметь различный характер в разных взаимосвязях вместе с тем всегда имеет один характер, один облик. И оно обращено к нам. Но и нарисованное лицо обращено к нам.

Уверен ли ты, что имеется всего лишь одно, и не более, чувство"если (Wenn"Gefhl)?
Пытался ли ты произносить слово в самых различных контекстах? Когда оно, например, несет в предложении основную нагрузку или когда это делает ближайшее к нему слово.

Представь себе, что мы встречаем человека, который, ссылаясь на свое чувство слова, утверждает, что слово "если" и слово "но" вызывают у него одинаковые чувства. Вправе ли мы ему не верить? Мы, пожалуй, подумали бы, что это странно. Мы готовы были бы сказать: "Он вообще не играет в нашу игру". Или же: "Это другой тип человека".

Но разве мы не поверили бы, что он понимает слова "если" и "но" так же, как мы, употребляя он их так же, как мы?

Психологическую пользу
(Interesse) чувства"если
определяют неверно, рассматривая
ее как вполне очевидный коррелят
значения. Нужно же его уяснить в
совсем другом контексте, во
взаимосвязи тех особых
обстоятельств, при которых оно
возникает.

Так значит, чувство"если
никогда не возникнет у человека
без употребления слова "если"?
Конечно, было бы по крайней мере
странным, если бы только по этой

причине формировалось подобное чувство. И так дело обстоит вообще с "атмосферой" слова. Почему считается чем-то само собой разумеющимся, что только это слово окружено данной атмосферой?

Чувство "если" не является чувством, сопровождающим слово "если".

Его можно сравнить с особым "чувством", которое вызывает в нас музыкальная фраза. (Подобное чувство иногда описывают, говоря:

"Здесь как бы подводится итог", или "Я мог бы сказать "итак·""", или "Здесь мне всегда хочется сделать некий жест" и человек делает этот жест.)

Но разве можно отделить это чувство от самой фразы? И вместе с тем оно не сама эта фраза, ведь ее можно услышать и без подобного чувства.

А не подобно ли оно в этом "выражению", с которым играет та или иная фраза?

Мы говорим, что этот фрагмент вызывает у нас особое чувство. Мы напеваем его, делая при этом какое-то движение, возможно, испытывая особое ощущение. Но в другом контексте мы можем вовсе не узнать эти сопровождения это движение, это ощущение. Как только мы не напеваем данную мелодию, они совершенно пусты.

"Я напеваю ее с вполне определенным выражением". Это выражение не является чем-то, что можно отделить от самого

фрагмента. Это другое понятие.
(Другая игра.)

Переживание мелодия, сыгранная таким образом (скажем, так, как я это показываю; описание же способно передать его лишь намеком.)

Атмосфера, неотделимая от
вещи, это не атмосфера.

То, что тесно взаимосвязано, что было ассоциировано, кажется чем-то пригнанным друг к другу. Но во что это выливается? Как

проявляется это кажущееся соответствие? Может быть, так: мы не можем себе представить, чтобы человек с этим именем, лицом, почерком создал не эти, а, возможно, совсем другие произведения (творения другого великого человека).

Мы не можем себе это представить? А мы пытаемся?

Вот одна из таких возможностей: я слышу, что кто-то пишет картину "Бетховен за сочинением Девятой симфонии".

Я мог бы с легкостью представить себе все, что будет в этой картине. А что, если кто-то попытается изобразить, как смотрелся бы Гете за сочинением Девятой симфонии? Здесь я не сумел бы представить себе ничего, что не выглядело бы неуклюжим и смешным.

VII

Люди, пробудившись от сна, рассказывают разные происшествия (они были там-то и т.д.). Я обучаю их пользоваться

выражением "мне приснилось", за которым следует их рассказ. Затем я спрашиваю "приснилось ли тебе что-нибудь сегодня?" и получаю либо утвердительный, либо отрицательный ответ, иногда с рассказом о сновидении, иногда нет. Это языковая игра. (Я исхожу при этом из допущения, что сам я не вижу снов. Ведь у меня же никогда нет чувства невидимого присутствия, тогда как у других он есть, и я могу расспрашивать их об этом опыте.)

Должен ли я в таком случае сделать некоторое предположение

относительно того, обманывает или же не обманывает людей их память; действительно ли они видели эти картины во сне или же только вообразили их себе после пробуждения? И в чем смысл этого вопроса? Чем вызван наш интерес к нему? Задаем ли мы его себе тогда, когда кто-то рассказывает свой сон? А если нет, так это в силу нашей уверенности в том, что его память его не обманула? (А если предположить, что рассказ ведет человек с особенно слабой памятью?)

Значит ли это, что бессмысленно ставить вопрос, действительно ли во время сна имеют место сновидения, или же это феномен памяти пробудившегося? Это уже будет относиться к употреблению вопроса.

"Представляется, будто значение слову способен придать дух" разве это не равноценно утверждению: "Представляется, что в бензоле атомы углерода располагаются на углах шестиугольника"? Но ведь это не кажимость это картина.

Представим себе эволюцию высших животных и человека и пробуждение сознания на определенной ступени. Картина примерно такова: мир, несмотря на все пронизывающие его эфирные колебания, пребывает во тьме. Но однажды человек открывает свои видящие глаза, и он становится светлым.

Наш язык изначально рисует какую-то картину. Что делать с этой картиной, как ее использовать это остается неясным. Очевидно, однако, что ее

нужно исследовать, если мы хотим понять смысл наших высказываний. Но картина кажется нам чем-то таким, что снимает с нас необходимость этой работы; она уже указывает нам определенное применение. Таким образом она берет нас в плен.

VIII

"Мои кинестические ощущения сообщают мне о движениях и положениях членов моего тела".

Я делаю указательным пальцем легкие колебательные движения небольшой амплитуды. Они едва ощутимы для меня или совсем неощутимы. Разве что чуть-чуть, как слабое напряжение в кончике пальца. (Даже не в суставе.) И это ощущение сообщает мне о движении? Ведь я могу точно описать это движение.

"Да ты ведь должен его чувствовать, иначе ты не знал бы (не глядя), как движется твой палец". Но "знать" нечто означает лишь быть в состоянии это

описать. Я могу указать направление, откуда приходит звук, только потому, что он сильнее действует на одно ухо, чем на другое. Хотя в своих ушах я этого не ощущаю, все же эффект налицо: я "знаю", откуда приходит звук, скажем я смотрю в этом направлении.

Так же обстоит дело и с представлением о том, что некий признак болевого ощущения должен оповещать нас о локализации боли в теле, а некая черта картины памяти о времени, к которому она относится.

Ощущение способно извещать нас о движении или положении какой-нибудь части тела. (Кто, например, будучи в нормальном состоянии, не знает, растянута ли его рука, того может убедить в этом покалывающая боль в локтевом суставе.) Таким же образом характер боли может говорить нам о месте повреждения. (А желтизна фотографии о ее давности.)

Что является критерием того, что чувственное впечатление

информирует меня о форме и цвете?

Какое чувственное впечатление?
Да вот это; я описываю его
словами или пытаюсь изобразить.

Ну, а что ты чувствуешь, когда
твой палец находится в этом
положении? "Как возможно
объяснять то или иное чувство?
Это нечто необъяснимое, особое".
Но должно же быть возможным
обучать употреблению словам!

Я ищу здесь грамматическое различие.

Отвлечемся на минуту от кинестетических ощущений! Я хочу описать кому-то некое чувство и говорю ему: "Сделай так, и тогда ты это почувствуешь", при этом я держу свою руку или голову в определенном положении. Является ли это описанием ощущения, и когда я смогу сказать, что он понял, какое чувство я имел в виду? Вслед за этим ему придется дать дальнейшее

описание ощущения. А какого типа должно быть оно?

Я говорю "Сделай так, и тогда ты это почувствуешь". А не возможно ли здесь сомнение? Не должно ли оно присутствовать, коли имеют в виду некое чувство?

Это выглядит так, это имеет такой-то вкус, это ощущается так. "Это" и "так" должны объясняться различным образом.

"Ощущение" представляет для нас совершенно особый интерес.

Он может относиться, например, к "степени остроты ощущения", его "месту", возможному поглощению одного чувства другим. (Если движение очень болезненно, так что боль заглушает взятое иное, менее сильное, ощущение в этом месте, то не становится ли сомнительным, действительно ли ты сделал это движение? Могло бы тебя убедить в этом то, что ты видел его [свое движение] собственными глазами?)

IX

Допустим, кто-то наблюдает собственное горе; какими органами чувств он его наблюдает? Каким-то особым органом, тем, которым чувствуют горе? Значит ли это, что, наблюдая его, он переживает его иначе? И какое горе наблюдает он, только то, которое существует в момент наблюдения?

"Наблюдение" не порождает наблюдаемого. (Это концептуальное утверждение (Feststellung).)

Иначе говоря, я "наблюдаю" не то, что только и возникает через наблюдение. Объект наблюдения нечто иное.

Прикосновение, которое еще вчера было болезненно, сегодня не приносит боли.

Сегодня я еще ощущаю боль, лишь когда о ней думаю. (То есть при определенных обстоятельствах.)

Мое горе уже несколько утихло;
воспоминание, год назад
казавшееся непереносимым,
теперь утратило свою остроту.

Это результат наблюдения.

При каких обстоятельствах
говорят, что кто-то наблюдает? Ну
хотя бы в том случае, когда кто-то
принимает удобное положение для
получения определенных
впечатлений, для описания
(например) того, о чем они
свидетельствуют.

Если бы кто-то был обучен при виде чего-то красного издавать определенный звук, при виде желтого другой и т.д. для каждого цвета, то это еще не было бы описанием предметов по их окраске, хотя и могло бы помочь такому описанию. Описание это изображение того или иного распределения (Verteilung) в некоем "пространстве" (скажем, в определенном времени).

Мой взгляд блуждает по комнате, внезапно он наталкивается на предмет

ярко"красного цвета, и я говорю: "Красный!" Этим я еще не даю описания.

Являются ли слова "Я боюсь" описанием душевного состояния?

Я говорю "Я боюсь", другой спрашивает меня: "Что это было? Крик испуга? Или же ты хочешь сообщить мне, что у тебя на душе, или же это наблюдение за твоим нынешним состоянием?" Всегда ли я мог бы дать ему вполне ясный ответ? Или же мне никогда этого не сделать?

Представлять себе при этом можно весьма разные случаи. Например: "Нет, нет! Я боюсь!"

"Я боюсь. К сожалению, я должен признать это".

"Я все еще немного боюсь, хотя уже не так сильно, как раньше".

"В глубине души я все еще боюсь, хотя и не хотел бы признаваться себе в этом".

"Я терзаю себя самого разными страшными мыслями".

"Я боюсь и это теперь, когда я должен бы быть бесстрашным".

Каждому такому выражению присуща собственная тональность, каждому разный контекст.

Можно представить себе людей, которые бы думали значительно определеннее, чем мы, и употребляли бы разные слова там, где мы используем одно.

Мы задаем себе вопрос: "Что, собственно, означает "я боюсь", к чему относятся эти слова?" И конечно, не находим никакого ответа или только такой, который нас не удовлетворяет.

Вопрос должен быть таким: "В каком контексте встречаются эти слова?"

Воспроизводя выражение страха и концентрируя внимание на самом себе, как бы наблюдая краем глаза свою душу, я не получу

ответа на вопросы "К чему относятся эти слова?", "О чем я думаю при этом?". Но в каком-то конкретном случае можно реально задаться вопросом: "Почему я это сказал, чего я хотел достичь этими словами?" а на этот вопрос я мог бы и ответить, но ответить не путем наблюдения того, что сопутствует речи. При этом мой ответ дополнял бы мое прежнее высказывание, был бы его парафразом.

Что такое страх? Что значит "бояться"? Пожелай я объяснить

это путем лишь показа, я просто сыграл бы в страх.

Мог бы я представить таким же образом надежду? Едва ли. А веру?

Описание моего душевного состояния (страха, например) это действие, осуществляемое мною в каком-то особом контексте. (Как определенное действие лишь в определенном контексте представляет собой некий эксперимент.)

Так ли уж удивительно тогда, что я применяю одно и то же выражение в различных играх? А иногда и как бы между играми?

И всегда ли я при этом говорю с совершенно определенным намерением? А если нет, то всегда ли в таких случаях мои слова бессмысленны?

Когда мы, прощаясь с покойным, говорим: "Мы глубоко скорбим о нашем." то эти слова должны служить выражением скорби, а не сообщать что-то присутствующим.

А в заупокойной молитве те же слова были бы своего рода сообщением.

Но вот проблема: крик, который никак не назовешь описанием, ибо он примитивнее любого описания, служит все же как бы неким описанием душевной жизни.

Крик это не описание. Но здесь имеются переходы. И слова "я боюсь" могут быть то ближе, то дальше от крика. Они могут быть совсем близки к нему и быть от него совсем далеки.

О том, кто сообщает о своих болях, мы не всегда говорим, что он жалуется. Следовательно, слова "я чувствую боль" могут быть и жалобой, и чем-то другим.

Но если слова "я боюсь" не всегда, а лишь иногда напоминают жалобу, то почему они всегда должны быть описанием некоего душевного состояния?

Х

Каким образом человек когда-то пришел к употреблению выражения "Я верю·"? Обратил ли он в какой-то момент внимание на сам феномен (веры)?

Наблюдал ли человек себя и других и таким образом обрел веру?

Парадокс Мура можно передать таким образом: выражение "Я верю, что дело обстоит именно так" употребляется аналогично утверждению "Дело обстоит именно так"; и все же

предположение я верю, что дело обстоит именно так, не аналогично предположению, что дело обстоит именно так.

Представляется, что утверждение "я верю" не утверждает здесь того, что предполагается в допущении "я верю"!

Таким же образом высказывание "Я верю, будет дождь" имеет аналогичный смысл, то есть аналогичное употребление, что и "Будет дождь", однако "Я верил

тогда, что будет дождь" не аналогично утверждению -тогда был дождь".

"Но ведь выражение "Я верил" в прошедшем времени должно говорить как раз то же, что и выражение "Я верю" в настоящем!" В самом деле, ""¹ должен обозначать для "¹ то же, что ""¹ обозначает для ¹! А это вообще лишено смысла.

"В принципе словами "Я верю·" я описываю свое душевное состояние, но косвенно это

описание выступает как утверждение самого факта, в который я верю". Так же как в некоторых случаях я описываю фотографию с целью описать то, снимком чего она является.

Я должен был бы еще добавить, что это хорошая фотография. Так и тут: "Я верю, что идет дождь, а на мою веру можно положиться, и я полагаюсь на нее". В этом случае моя вера была бы разновидностью чувственного впечатления.

Можно не доверять собственным чувствам, но не собственной вере.

Если бы существовал глагол со значением "ложно верить", он бы не имел осмысленного употребления от первого лица настоящего времени изъявительного наклонения.

Не считай самоочевидным, но принимай как нечто весьма странное, что глаголы "верить", "желать", "стремиться" обнаруживают все те же самые грамматические формы, что и

глаголы "резать", "жевать",
"бежать".

Языковую игру доклада можно повернуть так, что сообщение расскажет слушателю не о своем предмете, а о докладывающем.

Так происходит, например, когда учитель экзаменует ученика. (Можно измерять для того, чтобы проверить масштаб.)

Предположим, я ввожу выражение скажем, "Я верю" таким образом: оно должно

предварять сообщение, призванное информировать о самом сообщаемом. (То есть в этом выражении не должно быть и тени сомнения. Подумай о том, что неуверенность утверждения может быть выражена безличностно: "Он мог бы сегодня прийти".) "Я верю· а это не так" было бы противоречием.

"Я верю·" проливает свет на мое состояние. Из этого высказывания можно сделать выводы о моем поведении. Следовательно, здесь есть аналогия с выражениями эмоций, настроений и т.д.

Но если "Я верю, что это так" освещает мое состояние, то и утверждение "Это так" делает то же самое. Ибо знак "Я верю" этого не в состоянии сделать, в лучшем случае он способен намекнуть на него.

Пусть имеется некий язык, в котором характер выражения "Я верю, что это так" передается только тональностью утверждения "Это так". Вместо "Он верит" там говорят "Он склонен утверждать·"; используется и фраза "допущение (сослагательная форма)

"Предположим, я был бы склонен и т.д.", но нет высказывания: "Я склонен утверждать".

Парадокс Мура не возник бы в таком языке. Но вместо этого имелся бы некий глагол, утративший одну из форм.

Но этому не следует удивляться. Вспомни о том, что свои собственные будущие поступки могут быть предсказаны выражением намерения.

Часть 15.

Я говорю о ком-то другом "Он, кажется, верит·", а другие говорят это обо мне. Но почему я никогда не говорю этого о себе, даже тогда, когда обо мне это по праву говорят другие? Выходит, я не вижу и не слышу себя самого? Это можно сказать.

"Убежденность человек чувствует в самом себе, ее не выводят из собственных слов или их тональности". Здесь истинно

ВОТ ЧТО: на основании собственных слов нельзя судить о своей убежденности или же о поступках, которые из нее вытекают.

"Причем даже кажется, что утверждение "Я верю" как бы не является утверждением того, что предполагается в допущении". Выходит, я склонен искать тное продолжение для этого глагола в индикативе 1"го лица настоящего времени.

Я думаю так: вера состояние души. Оно обладает длительностью независимо, например, от процесса его выражения в предложении. То есть это род предрасположенности верующего. Ее открывают для меня в другом человеке его поведение, его слова. В том числе и выражение "Я верю." просто в качестве его утверждения. А как же обстоит дело со мной самим, как я сам узнаю свою собственную предрасположенность? Здесь я должен был бы обратить внимание на самого себя, как на другого, прислушаться к своим словам,

уметь извлечь из них выводы!

К моим собственным словам у меня совсем иное отношение, чем у других.

Стоит лишь допустить, что возможно сказать: "Кажется, я верю", и я бы смог найти это [иное] продолжение [данной фразы].

Прислушайся я к речам, произносимым моим ртом, я мог бы сказать, что кто-то другой говорит моими устами.

"Судя по тому, что я говорю, я верю в это". Дело лишь за тем, чтобы измыслить обстоятельства, в которых эти слова имели бы смысл.

А тогда кто-то мог бы сказать и такое: "Идет дождь, а я в это не верю" или же "Мне кажется, что мое Я (Ego) верит в это, но это не так". Здесь нам потребовалась бы некая картина поведения, подтверждающая, что моими устами говорят два разных существа.

Уже в самом этом предположении заключена иная конфигурация, чем ты думаешь.

В словах "Предположим, я верю·" уже заложена вся грамматика слова "верить", то повседневное его употребление, которым ты владеешь. Ты не предполагаешь какого-то положения вещей, которое бы, так сказать, однозначно, в виде некой картины представало твоему взору; вот почему в данном случае ты можешь присоединить к своему предположению и сколь угодно

привычное утверждени. Не будучи уже знакомым в общих чертах с употреблением слова "верить", ты мог бы даже и не знать, что в данном случае предполагаешь (то есть что, например, следует из такого твоего предположения).

Представь себе выражение типа "Я говорю·", например "Я говорю, что сегодня будет дождь", которое просто·напросто эквивалентно утверждению "Будет дождь". "Он говорит, что будет·" означает почти то же, что и "Он верит, что будет·", тогда как "Предположим, я

говоря: "вовсе не означает:
"Предположим, сегодня будет."

Здесь соприкасаются и вместе пробегают часть пути различные понятия. Только не надо полагать, будто все пути являются кругами.

Рассмотри еще такое невнятное предложение: "Может пойти дождь; но он не идет".

Здесь также следует поостеречься утверждать, будто предложение "Может пойти дождь", по сути, означает: "Я

допускаю, что будет дождь".
Почему же в таком случае одно не
обязательно означает другое в
обратном порядке?

Не считай неуверенное
утверждение утверждением
неуверенности.

XI

Два способа употребления слова
"видеть".

Первое: "Что ты видишь там?"
"Я вижу это" (затем следует описание, рисунок, копия).
Второе: "Я вижу сходство этих двух лиц", причем тот, кому предназначено мое сообщение, может видеть эти лица столь ясно, как и я сам.

Здесь важно категориальное разграничение двух "предметов" видения.

Один человек мог бы с точностью срисовать оба этих лица; другой же может заметить в

этом рисунке сходство, не обнаруженное в первом случае.

Я смотрю на лицо, затем вдруг замечаю его сходство с другим. Я вижу, что лицо не изменилось, и все же вижу его иначе, чем прежде. Этот опыт я называю "заметить аспект".

Причины этого феномена интересуют психологов.

Нас же интересует это понятие и его положение среди других понятий опыта.

Допустим, что во многих местах книги, например учебника, имеется одна и та же иллюстрация.

Однако в сопровождающем ее тексте всякий раз говорится о чем-то другом: то о стеклянном кубе, то о перевернутом открытом ящике, то о проволочной конструкции данной формы либо же о трех досках, образующих прямой угол. Текст всякий раз поясняет эту иллюстрацию.

Но в такой иллюстрации мы можем видеть один раз одно, а другой раз другое. То есть мы ее интерпретируем и видим ее так, как интерпретируем.

Тут, вероятно, можно бы возразить. Описание непосредственного восприятия, визуального переживания путем интерпретации суть косвенное описание. "Эта фигура мне видится как ящик" означает, что у меня есть определенное зрительное переживание, которое всегда сопровождает мою

интерпретацию фигуры как ящика или восприятие какого-нибудь ящика. Но будь это так, я должен был бы знать об этом. Я должен был бы уметь опираться на свое переживание прямо, а не только косвенно. (О красном мне не обязательно говорить как о цвете крови.)

Следующую фигуру я позаимствовал у Ястрова¹⁹ и в своих заметках назвал ее 3"У"головой. В ней можно видеть и голову зайца, и голову утки.

При этом нужно разграничивать "устойчивое видение" того или иного аспекта и как бы "вспышку" аспекта.

Мне могли бы показывать эту картину, а я никогда не увидел бы в ней ничего другого, кроме зайца.

Здесь полезно ввести понятие предмета "картины" (Bildgegenstand). Скажем, "лицо" картина" ("Bildgesicht") изображалось бы так:

Во многих отношениях я воспринимаю его как человеческое лицо. Я могу изучать его выражение, реагировать на него как на выражение человеческого лица. Ребенок может разговаривать с человеком "картиной" или животным "картиной", обращаться с ними как с куклами.

З"У"голову можно сначала воспринимать просто как зайца "картинку". Так, если бы меня спросили "Что это такое?", "Что ты здесь видишь?", я бы ответил: "Изображение зайца". Если бы

меня продолжали спрашивать: что это такое, то в качестве пояснения я сослался бы на многочисленные изображения зайцев, возможно, указал бы на настоящих зайцев, привел бы известные мне сведения о жизни этих зверей либо же воспроизвел какого-нибудь зайца.

На вопрос "Что ты здесь видишь?" я не ответил бы "Сейчас вижу это как зайца"картинку".

Я просто описал бы свое восприятие; точно так же, как если

бы я сказал: "Я вижу там красный круг".

Тем не менее кто-то другой мог бы обо мне сказать: "Эта фигура ему видится как заяц"картинка".

Сказать "Я вижу это сейчас как·" имело бы для меня столь же мало смысла, как сказать, глядя на нож и вилку: "Я вижу это сейчас как нож и вилку". Это высказывание было бы столь же непонятно, как и такое: "Это теперь для меня вилка" или же "Это может быть и вилкой".

То, что известно как столовый прибор, человек не "принимает" за столовый прибор, так же как за едой не прилагает обычно особых усилий к тому, чтобы двигать ртом и не наблюдает за его движением.

Человека, заявляющего "Теперь это для меня лицо", можно спросить: "На какое изменение ты здесь намекаешь?"

Я вижу две картины. На одной из них З"У"голова в окружении зайцев, на другой уток. Я не замечаяю, что это одна и та же

картина. Следует ли из этого, что в этих двух случаях я вижу нечто разное? Есть некоторое основание употребить здесь это выражение.

"Я видел это совсем иначе, я бы никогда не узнал этого!" Ну, это всего лишь восклицание. И для него тоже есть свое оправдание.

Мне бы никогда не пришло в голову вот так наложить эти фигуры друг на друга, сравнить их таким образом. Ибо они внушают нам другой способ сравнения.

"Теперь это 3" таковым не является. Скажи я "Это заяц", я избежал бы всякой двойственности и просто сообщил бы о своем восприятии.

Изменение аспекта. "Но ты бы все же сказал, что картина теперь совершенно иная!"

А что изменилось: мое впечатление, моя точка зрения? Можно ли так сказать? Я описываю изменение как некое восприятие, как если бы предмет изменился у меня на глазах.

"Да, теперь я вижу это", мог бы я сказать (показывая, например, на другое изображение). Это форма сообщения о каком-то новом восприятии.

Выражение смены аспекта это одновременное выражение нового восприятия вместе с неизменным восприятием.

Внезапно я вижу решение картины"загадки. Там, где раньше были ветви дерева, теперь проступила человеческая фигура. Мое визуальное впечатление

изменилось, и я знаю теперь, что оно охватывает не только цвет и форму, но и вполне определенную "организацию". Изменилось мое визуальное восприятие; а каким оно было ранее и каково оно теперь? Если я представляю его в виде точной копии а разве это нельзя назвать хорошим представлением? то я не смогу обнаружить никаких изменений.

И все же не говори: "Мое визуальное впечатление вовсе не рисунок; оно есть то, что я никому не могу показать". Конечно, оно не рисунок, но оно не принадлежит и

к категории лишь того, что я ношу в себе.

Понятие "внутренней картины" вводит в заблуждение, ибо моделью этого понятия является "внешняя картина"; и все же употребления этих слов "понятий не ближе друг другу, чем употребления слов "цифра" и "число". (И пожелай кто-либо назвать число "идеальной цифрой", он пришел бы тем самым к аналогичному заблуждению.)

Тот, кто ставит "организацию" зрительного впечатления в один ряд с цветом и формой, движим представлением о зрительном впечатлении как некоем внутреннем объекте. Конечно, тем самым объект становится просто химерой, странным, неустойчивым образованием. Ибо сходство с картиной теперь расшатано.

Зная, что схема кубика имеет различные аспекты, и желая выяснить, как видит их другой, я могу, кроме копии, заставить его сделать также модель увиденного

или же указать на некую модель; даже если он совсем не догадывается, с какой целью я требую от него двух объяснений.

Но иное дело изменение аспекта. То, что прежде, при копировании, могло казаться ненужным уточнением или даже было таковым, здесь служит единственно возможным выражением нашего впечатления.

И уже одно это снимает вопрос о сравнении "организации" с

цветом и очертанием в зрительном восприятии.

Так, видя З"У"голову как З, я видел эти очертания и цвета (я с точностью воспроизвожу их), но, кроме того, я еще видел нечто вот такое: при этом указываю на множество различных изображений зайцев. Это показывает разницу понятий.

"В)идение как ·" не принадлежит восприятию. А потому оно похоже и вместе с тем не похоже на в)идение.

Я смотрю на животное; меня спрашивают: "Что ты видишь?" Я отвечаю: "Зайца". Я разглядываю местность; внезапно мимо пробегают заяц. Я восклицаю: "Заяц!"

Обе фразы: и сообщение [об увиденном], и восклицание выражение восприятия и зрительного впечатления (Seherlebniss). Но восклицание служит таким выражением в ином смысле, чем сообщение. Оно как бы вырывается у нас. Оно

относится к впечатлению, подобно тому как крик к боли.

Но поскольку оно служит описанием некоего восприятия, его можно назвать и выражением мысли. Рассматривая предмет, не обязательно думать о нем; переживая же зрительное впечатление, выраженное в восклицании, вместе с тем и думают о том, что он видит.

И потому "уяснение аспекта" оказывается для нас наполовину

ВИЗУАЛЬНЫМ ОПЫТОМ, НАПОЛОВИНУ
МЫСЛЮ.

Кто-то вдруг видит неизвестное
ему явление (это может быть
хорошо знакомый предмет, но в
необычном ракурсе или
освещении); неузнавание
предмета, возможно, длится лишь
секунды. Правомерно ли
утверждать, что у этого человека
было другое зрительное
переживание, чем у того, кто сразу
же узнал предмет?

Разве тот, перед кем внезапно возник неизвестный ему предмет, столь же точно описать его вид, как и я, знакомый с ним? А разве это не ответ? Вообще, это, конечно, не будет ответом. И его описание и звучать будет совершенно иначе. (Я, например, скажу "У животного были длинные уши" он: "Там было два длинных отростка" и затем нарисует их.)

Я встречаю кого-то, кого не видел годы; я ясно вижу его, но не узнаю. Внезапно узнав его, я вижу в изменившемся лице его прежние

черты. Полагаю, умей я рисовать, я сейчас сделал бы его портрет иначе, чем прежде.

Ну, а если я узнаю в толпе моего знакомого, возможно, после того как долго смотрел в его сторону, сталкиваюсь ли я здесь со случаем особого видения? Видения и мышления? Или же со сплавом обоих, как я почти готов сказать?

Вопрос в том, почему хотят сказать именно это?

То же самое выражение, которое было сообщением об увиденном, становится теперь возгласом узнавания.

Что служит критерием зрительного переживания? Что должно быть критерием?

Изображение того, что "увидели".

Понятие изображения увиденного, равно как копии, а вместе с ним и понятие

увиденного очень растяжимо. Оба они внутренне связаны друг с другом. (Но это не значит, что они аналогичны.)

Как замечают, что люди видят объемно? Я спрашиваю кого-то о характере той местности, которую он обзревает. Она простирается туда? (Я показываю рукой.) "Да". "А откуда ты это знаешь?" "Сейчас нет тумана, я вижу ее отчетливо". Это не может служить основанием для подобного предположения. Единственное, что для нас естественно, это пространственно представлять себе увиденное,

тогда как для двумерного изображения, на рисунке или на словах, требуется особая тренировка, специальное обучение. (Своеобразие детских рисунков.)

Допустим, кто-то видит улыбку, не воспринимая ее как улыбку, принимая ее за что-то другое. Видит ли он ее иначе, чем человек, понимающий, что это улыбка? Например, он ее иначе копирует.

Переверни изображение лица, и ты не сможешь узнать его

выражение. Пожалуй, ты сможешь увидеть, что оно улыбается, но не в состоянии будешь определить, как оно улыбается. Ты не сможешь воспроизвести эту улыбку или более точно описать ее характер.

И вместе с тем перевернутое изображение лица человека можно представлять себе достаточно точно.

Фигура а) это перевернутая
фигура б)

Как и запись с) перевернутая запись d)

Но я бы сказал, что различие моих впечатлений от с и d имеет иной характер, чем различие впечатлений от а и b. Скажем, d выглядит более упорядоченным, чем с. (Смотри замечание Льюиса Кэрролла.) Фигуру d копировать легче, с труднее.

Представь себе, что З"У"голова спрятана в пучке линий. Внезапно я замечаю в этом пучке изображение, причем просто как

голову зайца. Чуть позже я рассматриваю то же изображение, те же линии, но вижу утку, при этом не обязательно понимать, что оба раза это были те же самые линии. Пусть в дальнейшем я все же замечу изменение аспекта смогу ли я утверждать, что аспект З и аспект У выглядят теперь совершенно иначе, чем когда я узнавал их порознь в хаосе линий? Нет.

Но смена аспектов вызывает удивление, которое не возникает при узнавании.

Кто в фигуре (1) ищет другую фигуру (2) и затем находит ее, тот в результате видит (1) по"новому. Он не только может дать новый вид ее описания, но то, что он заметил другую фигуру, было новым визуальным переживанием.

Но вовсе не обязательно у него возникло бы желание сказать: "Фигура (1) выглядит совершенно иначе; у нее нет ничего общего с первой, хотя она с ней и конгруэнтна!"

Здесь существует бесконечное множество родственных друг другу явлений и возможных понятий.

Стало быть, копия фигуры неполное описание моего визуального переживания? Нет. В зависимости от обстоятельств решается, необходимы ли, и если да, то какие именно, дополнительные уточнения. Копия может быть неполным описанием, если какой-то вопрос оставлен без внимания.

Конечно, можно сказать: Имеются определенные вещи, равным образом подпадающие как под понятие "изображение зайца", так и под понятие "изображение утки". И одной из таких вещей является картинка, рисунок. Впечатление же не является одновременно впечатлением и от изображения утки, и от изображения зайца.

"Но то, что я собственно вижу, должно быть тем, что возникает во мне как результат воздействия объекта". Значит, то, что во мне

возникает, своего рода
отображение, нечто такое, что
человек может вновь
рассматривать, может иметь перед
собой; что-то едва ли не
равноценное материализации.

Причем эта материализация
нечто пространственное и
позволяет себя полностью описать
в пространственных терминах.
Она (если она лицо) может,
например, улыбаться, однако
понятие приветливости не
принадлежит изображению лица,
оно ему чуждо (при том, что оно
может ему подходить).

Если ты спросишь меня, что я увидел, то я, пожалуй, смогу набросать некий эскиз, который это покажет; но обо всех блужданиях моего взгляда я по большей части вообще не вспомню.

Понятие "видеть" представляется смутным. Да оно такое и есть. Я всматриваюсь в ландшафт. Мой взгляд скользит по нему, я вижу разного рода отчетливое и неотчетливое движение. Это запечатлевается мною четко, то лишь совершенно

расплывчато. Сколь разрозненным может казаться нам то, что мы видим! А теперь рассмотри то, что называют "описание увиденного"! Но это и есть то, что называют описанием увиденного. Не существует одного подлинного, правильного случая такого описания так чтоб остальные были неточными, такими, что ждут прояснения или же могут быть просто отброшены как отходы.

Здесь нас поджидает чудовищная опасность: стремление провести тонкие разграничения. Аналогично

обстоит дело, когда пытаются определить понятие физического тела в терминах -того, что действительно увидели". Куда предпочтительнее принять повседневную языковую игру, пометив связанные с этим ложные представления как ложные. Примитивная языковая игра, которой обучены дети, не требует оправдания; следует оставить все попытки ее оправдания.

Рассмотрим в качестве примера аспекты треугольника. Треугольник может рассматриваться в качестве

треугольного отверстия, как тело, как геометрическая фигура, как стоящий на основании, как подвешенный за вершину, как гора, или клин, как жало, или указатель, как перевернутое тело, которому (например) следовало бы стоять на меньшем катете, как половина параллелограмма и многими другими способами.

"Причем ты можешь думать то об этом, то о том, рассматривать его то в качестве одного, то в качестве другого, видеть его то так, то этак". Как именно? Какого-то

дополнительного предписания не существует.

Но как возможно, что человек видит вещь сообразно некоторой интерпретации? В свете данного вопроса это предстает как весьма странный факт; словно бы нечто насильственно втискивали в форму, совершенно не соответствующую ему. Однако здесь не наблюдается никакого давления или принуждения.

Если нам кажется, что для некоторой формы нет места среди

других форм, то это место нужно искать в другом измерении. Количеству для нее места нет, оно есть в каком-то ином измерении.

(В этом смысле в ряду действительных чисел нет места для мнимых чисел. И это означает, что применение понятия мнимого числа отличается от применения понятия действительного числа в большей мере, чем явствует из облика исчислений. Нужно обратиться к применению, и тогда данное понятие обретает, скажем так, свое иное, неожиданное место.)

Как понимать такое
разъяснение: "Нечто можно
рассматривать как то, по
отношению к чему оно способно
быть картиной"?

Это означает следующее:
некоторые из меняющихся
аспектов таковы, что при
соответствующих обстоятельствах
могли бы стать постоянной
принадлежностью фигуры в той
или иной картине.

Треугольник действительно может стоять в одной картине, представляться стоящим, в другой быть подвешенным, в третьей откуда-то упавшим. Причем представляться так реально, что, глядя на картину, не скажешь "Здесь, пожалуй, изображено что-то упавшее", а заявишь "Стекло упало и разбилось вдребезги". Так мы реагируем на картину.

Можно ли сказать, какой должна быть картина, чтобы вызывать такое впечатление? Нет. Существуют, например, стили

живописи, которые мне непосредственным образом ни о чем не говорят, на других же людей оказывают прямое воздействие. Я думаю, что в этом сказываются привычки и воспитание.

Ну что значит видеть на картине "парящий в воздухе" шар?

Не в том ли дело, что такое описание представляется мне самым легким, самым очевидным? Нет, здесь могут быть весьма различные основания. Например,

подобное описание может быть просто общепринятым.

А в чем выражается то, что я, скажем, не только определенным образом понимаю картину (знаю, что она должна изображать), но и вижу ее таким образом? Это находит выражение в словах: "Сфера кажется парящей", "Видно, что она парит" или же в их особой тональности: "Она парит!"

Так и выражаются в тех случаях, когда что-то одно принимают за

другое. А не применяют само по себе как таковое.

Мы здесь не задаемся вопросом, каковы причины этого явления и что в данном конкретном случае породило это впечатление.

А является ли это особым впечатлением? "Но я же действительно вижу нечто иное, когда воспринимаю шар парящим, а не просто лежащим на земле". Это, собственно, и означает: данное выражение оправданно!

(Ибо в буквальном смысле это только повторение сказанного.)

(И тем не менее мое впечатление не является впечатлением от реально парящего шара. Существуют различные формы "пространственного видения". Объемность фотографии и трехмерность того, что мы видим через стереоскоп.)

"А это в самом деле иное впечатление?" Чтобы на это ответить, я бы спросил себя, действительно ли во мне

происходит нечто другое. Но как можно убедиться в этом? Я по-иному описываю то, что вижу.

Некоторые рисунки всегда видятся как плоские фигуры, другие иногда или же всегда трехмерно.

Здесь можно было бы сказать: визуальное впечатление объемно увиденного изображения объемно; скажем, для схемы кубика это кубик. (Ибо описание впечатления это описание кубика.)

И тогда кажется странным, что многие рисунки производят впечатление плоскостных, многие же кажутся нам трехмерными. Задаешься вопросом: "Где этому конец?"

Разве видя картину скачущей лошади я просто"напросто знаю, что здесь подразумевается этот вид движения? Не предрассудок ли считать, будто на картине я вижу лошадь скачущей? А мое визуальное впечатление тоже скачет?

Что мне сообщает человек, говоря "Я вижу это теперь как·"? Какие последствия имеет это сообщение? Что мне можно с ним делать?

Люди часто ассоциируют цвета с гласными звуками. Вполне возможно, что для многих гласный звук, часто повторяясь, меняет свой цвет. Так, например, видится а -то синим, то красным".

Высказывание "Я вижу это теперь как·" может означать для

нас всего лишь: "Звук а сейчас для меня красный".

(В сочетании с физиологическими наблюдениями и это изменение могло бы обрести для нас некоторую значимость.)

В связи с этим мне приходит на ум, что в разговорах на эстетические темы употребляются такие выражения: "Ты должен смотреть на это так, ибо так это было задумано"; "Видя это таким образом, ты замечаешь, в чем заключается ошибка"; "В этих

тактах ты должен слышать прелюдию"; "Тебе нужно вслушаться в эту тональность"; "Ты должен выразить это так" (и это может относиться как к прослушиванию, так и к исполнению произведения).

Рисунок должен изображать выпуклую ступень и применяться для демонстрации определенных пространственных явлений. С этой целью мы проводим прямую линию а через геометрические центры обеих плоскостей. Ну, а если бы кто-то лишь в какой-то момент видел данную фигуру как

объемную и при этом воспринимал ее то как вогнутую, то как выпуклую ступень, ему было бы довольно трудно следить за нашей демонстрацией. И поскольку для него плоский аспект чередовался бы с объемным, то как бы получалось, будто я по ходу опыта показываю ему совершенно разные предметы.

Рассматривая чертеж в начертательной геометрии, я говорю: "Я знаю, что здесь опять обнаруживается эта линия, но я не могу ее видеть таким образом". Что это означает? Всего лишь

отсутствие у меня навыков работы с чертежами, недостаточное умение разбираться в них? Да, такой навык, конечно, служит одним из наших критериев. Что убеждает нас в пространственном видении чертежей так это известная способность к быстрой ориентировке. Например, определенные жесты, указывающие на пространственные отношения: тонкие оттенки поведения.

Я вижу, что на картине стрела пронзает животное. Она прошла через горло и торчит из затылка.

Картина силуэт. Видишь ли ты стрелу или же ты просто знаешь, что обе видимые части должны представлять стрелу?

(Представь себе для сравнения рисунок Келера с изображением взаимопроникающих шестиугольников.)

"Но это же вовсе не видение!"
"И все"таки это некое в)идение!"
Оба высказывания должны допускать концептуальное обоснование.

И тем не менее это видение! Но в какой мере это видение?

"Данное явление на первый взгляд удивительно, но, конечно, будет найдено его физиологическое объяснение".

Наша проблема не каузального, а понятийного характера.

Если бы мне лишь на одно мгновение показали изображение животного, пронзенного стрелой, или проникающих друг в друга

шестиугольников, и после этого я должен был бы их описать, то это и было бы моим описанием; если бы я должен был их нарисовать, то, несомненно, это была бы очень плохая копия, но она изображала бы животное, пронзенное стрелой, или два взаимопроникающих шестиугольника. То есть некоторых ошибок я бы не сделал.

Первое, что в этом изображении мне бросается в глаза: здесь два шестиугольника.

Вот я начинаю их рассматривать и спрашиваю себя: "Действительно ли я вижу их как шестиугольники?" и происходит ли это в течение всего того времени, что они находятся у меня перед глазами? (Предполагается, что их аспект при этом не менялся.) Я был бы склонен ответить: "Я не все это время думал о них как о шестиугольниках".

Кто-то говорит мне: "Я тотчас же увидел в них два шестиугольника. И это было все, что я увидел". Но как мне понять

это? Полагаю, на вопрос "Что ты видишь?" он, не задумываясь, дал бы это описание, не относясь к нему лишь как к одному из многих возможных. И в этом его описание сходно с ответом "Лицо", который бы он тотчас дал мне, покажи я ему фигуру и спроси: "Что это такое?"

Лучшее описание, которое я могу дать тому, что мне было показано лишь на миг, таково: ·

"Это впечатление было впечатлением от вставшего на

дыбы животного". Так возникает вполне определенное описание. Было ли оно видением или же мыслью?

Не пытайся анализировать это переживание себе самом!

Конечно же, я мог бы сначала увидеть в этом рисунке и нечто совсем иное, а затем сказать себе: "Да ведь это два шестиугольника!" Так изменился бы аспект. А доказывает ли это, что я действительно видел это как нечто определенное?

"Является ли это настоящим зрительным переживанием?"
Вопрос вот в чем: в каком смысле оно является одним?

Здесь трудно увидеть, что проблема состоит в определении понятия.

Понятие оказывает на нас свое действие (Об этом не следует забывать.)

В каком случае я бы назвал это просто знанием, а не видением?

Пожалуй, в том случае, когда с изображением обращаются как с техническим чертежом, читают его, как светокопию. (Тонкие оттенки поведения. Почему они важны? Они имеют важные последствия.)

"Для меня это животное, пронзенное стрелой". Так я это толкую; такова моя точка зрения на эту фигуру. Это одно из значений того, что мы называем "в)идением".

Но можно ли в том же (или пусть не в том же, а в сходном) смысле сказать: "Это для меня два шестиугольника"?

Ты должен думать о той роли, какую играют в нашей жизни изображения, носящие характер живописных полотен (в отличие от технических чертежей). Здесь вовсе нет никакого однообразия.

Для сравнения: стены иногда украшают изречениями, но не теоремами механики. (Наше отношение к тем и к другим.)

От того, кто видит в этом рисунке [такое] животное, я буду ожидать совсем иного, чем от того, кто просто знает, что оно должно изображать.

Пожалуй, удачнее здесь было бы такое выражение: мы рассматриваем фотографию, картину у нас на стене, как сам изображенный на ней объект (человека, пейзаж и т.д.).

Но это не обязательно. Мы легко можем себе представить людей, у

которых нет такого отношения к изображениям. Людей, например, которых фотографии отталкивают, так как лица, лишённые красок, да к тому же воспроизведенные в уменьшенном масштабе, представляются им нечеловеческими.

Говорят: "Мы воспринимаем портрет как человека", когда и как долго мы это делаем? Всегда ли, когда мы вообще видим его (а, скажем, не видим его как что-то другое)?

Я мог бы это подтвердить, определив тем самым понятие рассматривания. В этой связи возникает вопрос о важности для нас и другого родственного понятия, а именно так "видения приемлемого лишь в тех случаях, когда в картине меня занимает предмет (на ней изображенный).

Я мог бы сказать: картина, пока я смотрю на нее, не все время является для меня живой.

"Ее портрет улыбается мне со стены". Но это не обязательно

происходит всякий раз, как только мой взор упадет на картину.

З"У"голова. Спрашивается: как получается, что глаз, эта точка, смотрит в том или ином направлении? Погляди, как он смотрит! (А "смотрит" при этом сам человек.) Но человек не говорит и не делает этого все время, пока рассматривает картину. Так что же значат слова "Погляди, как он смотрит!" разве это не выражение впечатления?

(Приводя эти примеры, я не стремлюсь представить проблему во всей полноте, равно как и не пытаюсь дать классификацию психологических понятий. Моя цель помочь читателю ориентироваться в концептуальных неясностях.)

Слова "Вот сейчас я вижу это как·" близки по смыслу словам "Я пытаюсь это видеть как·" или "Я еще не способен видеть это как·". Но я не могу пытаться видеть привычное изображение льва как льва, как не могу пытаться видеть

Е именно как эту букву. (Хотя вполне могу, например, увидеть ее как виселицу.)

Не спрашивай себя: "Как это происходит со мной?" Спрашивай: "Что я знаю о другом?"

Как же играют тогда в игру: "Это могло бы быть и тем-то? (То, чем фигура могла бы быть, кроме того в качестве чего еще ее можно было бы рассматривать это не просто другая фигура. Тот, кто говорит:

"Я вижу как ", мог бы иметь

в виду при этом самые разные вещи.)

Дети играют, к примеру, в такую игру. Они заявляют, что ящик это теперь дом; и вот они соответственно толкуют все его элементы, вкладывая в это всю свою изобретательность.

А видит ли теперь ребенок ящик как дом?

"Он совершенно забывает, что это ящик; для него это действительно дом". (На это указывают определенные признаки.) А не вернее было бы в таком случае и говорить, что он видит ящик как дом?

Так вот, тот, кто умел бы так играть и в определенных ситуациях с особым выражением восклицал: "Теперь это дом!" выражал бы этим вновь высвеченный аспект.

Услышь я, что кто-то рассуждает о 3"У"изображении, и сейчас определенно высказался об особом выражении заячьей морды, я сказал бы, что сейчас он видит это изображение как зайца.

Но выражение его голоса и жесты таковы, как если бы изменялся, становясь то тем, то этим сам объект.

Мне могут повторять одну и ту же мелодию, каждый раз проигрывая ее во все более замедленном темпе. Наконец я

говору "Вот теперь все верно" или "Теперь наконец-то это марш", "Теперь наконец-то это танец". И в самой этой тональности уже выражается высвечивание аспекта.

-тонкие оттенки поведения".
Мое понимание музыкальной темы выражается в том, что я насвистываю ее с правильным выражением, вот один из примеров таких тонких оттенков.

Аспекты треугольника: тут представление как бы соприкоснулось с визуальным

впечатлением и какое-то время оставались в контакте с ними.

Но в этом особенность таких аспектов в отличие от аспектов иного рода скажем, выпуклого и вогнутого аспектов ступени или же от аспектов вот такой фигуры

с белым крестом на черном фоне или же черным крестом на белом фоне (я буду называть ее "двойным крестом").

Ты должен помнить, что описание сменяющих друг друга

аспектов в каждом случае имеет
разный характер.

(Возникает искушение сказать:
"Я вижу это таким образом",
причем слова "это" и "таким"
указывают на одно и то же.) От
идеи "приватного объекта" всегда
избавляются так: допусти, что он
непрерывно изменяется, но ты
этого не замечаешь, так как твоя
память постоянно обманывает
тебя.

О двух аспектах двойного креста
(я буду их называть аспектами А)

можно было бы сообщить, например, указывая отдельно то на белый, то на черный крест.

Вполне можно было бы представить себе это как простейшую реакцию ребенка, еще даже не умеющего говорить.

(То есть при сообщении об аспектах А указывают на часть двойного креста. Аспекты З и У нельзя описать аналогичным образом.)

Ты "видишь" аспекты З и У", если только уже осведомлен о формах обоих этих животных. Для видения аспектов А подобного условия не существует.

З"У"голову можно просто принять за картинку зайца, двойной крест за изображение черного креста, но я не способен принять просто треугольную фигуру за картину опрокинутого предмета. Чтобы увидеть этот аспект треугольника, нужна сила воображения (Vorstellugskraft).

Аспекты А, по существу, не являются трехмерными; черный крест на белом, по сути, не является крестом, для которого белая поверхность служит фоном. Ты мог бы пояснить кому-нибудь понятие черного креста на фоне другого цвета, не показывая ему ничего иного, кроме крестов, нарисованных на листах бумаги. "Фон" выступает здесь просто окружением фигуры креста.

Аспекты А связаны с возможной иллюзией иначе, чем

пространственные аспекты
рисунка куба или же ступени.

Я могу рассматривать схему"куб как коробку; но можно ли также рассматривать ее то как бумажную, то как жестяную коробку? Что я должен сказать тому, кто уверяет, что он способен на это? Я могу здесь установить некую границу понятия.

Часть 16.

А подумай о выражении "чувствовать" в связи с рассматриванием картины. ("Чувствуется мягкость этого материала".) (Знание во сне. "И я знал, что · был в комнате".)

Как учат ребенка (например, при счете): "Теперь объедини вместе эти предметы" или "Сейчас они составляют совокупность"? Очевидно, что "объединять вместе" или "составлять совокупность" первоначально имело для него иное значение, чем значение видеть нечто тем или

иным образом. И это, замечание о понятии, а не о методах обучения.

Один тип аспекта можно назвать "асpekтами организации". С изменением аспекта соединяются дотолe разрозненные части картины.

В треугольнике в настоящий момент это можно видеть как вершину, а то как основание, а в следующий момент это как основание, а то как вершину. Ясно, что ученику, который только что познакомился с понятиями

вершины и основания, слова "Сейчас я вижу это как вершину" еще ничего не скажут. Однако я мыслю это не в качестве эмпирического высказывания.

Лишь о том, кто способен с легкостью применять определенную фигуру, возможно сказать, что он видит это то так, то этак.

Основа этого опыта (Erlebnis)" освоение техники.

Как странно, однако, что это должно быть логическим условием того, что некто переживает то-то. Однако ты не говоришь, что "зубы болят" лишь у того, кто в состоянии делать то-то. Отсюда следует, что здесь мы не можем иметь дело с самим понятием переживания. Речь идет о другом, хотя и родственном понятии.

Лишь о том, кто умеет, выучил, освоил то-то и то-то, имеет смысл говорить, что он обладает этим переживанием.

А если это звучит нелепо, ты должен вспомнить, что понятие в)идения здесь модифицировано. (Подобные же соображения часто необходимы, для того чтобы изгнать чувство головокружения в математике.)

Мы говорим, произносим слова и только позднее получаем какую-то картину их жизни.

Ибо как бы я мог увидеть, что эта поза выражает нерешительность, прежде чем узнал, что это именно поза, а не

анатомические особенности
строения этого существа?

А не означает ли это всего лишь,
что данное понятие, относящееся
не только к визуальным объектам,
в данном случае неприменимо для
описания видимого? Разве я
совсем не хочу иметь чисто
визуального понятия
нерешительного поведения,
испуганного лица?

Такое понятие можно было бы
сравнить с понятиями "мажора" и
"минора", имеющими, конечно,

эмоциональную окраску, но применимыми и просто для описания воспринятой структуры.

Эпитет "печальный" применительно, скажем, к графическому изображению человеческого лица характеризует группировку линий в овале. В применении к человеку он имеет другое (хотя и родственное с первым) значение. (Но это не значит, что печальное выражение лица подобно чувству печали!)

Обдумай и вот что: красное и зеленое я могу только видеть, но не слышать, печаль же, в известной мере, могу как видеть, так слышать.

Подумай-ка над выражением "Я слышал печальную мелодию"! И над вопросом: "Слышит ли он печаль?"

И если бы я ответил: "Нет, он ее не слышит, он лишь чувствует ее", что толку из того? Невозможно даже указать орган чувств для этого "переживания".

Кое"кто здесь был бы склонен ответить: "Конечно, я слышал: это печаль!" Другие же: "Да нет, непосредственно, я этого не слышал".

Но это позволяет установить различие понятий.

Мы реагируем на выражение лица иначе, чем тот, кто не воспринимает его как испуганное (в полном смысле слова). Но этим я вовсе не хочу сказать, будто мы ощущаем эту реакцию мускулами и

суставами, и что это и есть "ощущение". Нет, в данном случае мы имеем дело с модифицированным понятием ощущения.

О каком-то человеке можно было бы сказать: он слеп к выражению лица. Но разве это означало бы неполноценность его зрения?

Конечно, это не просто вопрос физиологии. Физиологическое здесь символ логического.

А что воспринимает тот, кто чувствует серьезность мелодии? Ничего, что можно было бы передать путем воспроизведения услышанного.

Некий произвольный письменный знак скажем, такого

вида я могу представить себе как вполне правильно

написанную букву какого-то неизвестного мне алфавита. Или же это могла быть буква,

написанная неверно, с тем или иным искажением: скажем, размашисто, по"детски неумело или же с бюрократическими завитушками. Возможны многообразные отклонения от правильного написания. Так, окружив ее тем или иным вымыслом, я могу видеть ее в различных аспектах. И тут есть тесное родство с "переживанием значения слова".

Я бы сказал: то, что здесь высвечивается, удерживается столько, сколько длится особое рассмотрение объекта. ("Погляди,

как он смотрит!"). "Я бы сказал", а так ли это? Задай себе вопрос: "Как долго меня что-то удивляет?" Как долго оно ново для меня?

В аспекте появляется, а потом исчезает какая-то физиономия; это весьма походило бы на то, как при восприятии чьего-то лица его бы сперва имитировали, а после принимали как есть, уже без имитации. И разве по сути это не является достаточным объяснением? Однако, не слишком ли много оно объясняет?

"Я уловил сходство между ним и его отцом на пару минут, не больше". Так можно было бы сказать, если бы лицо сына изменилось и на какое-то короткое время стало похоже на лицо его отца. Но это может означать и то, что через пару минут их сходство перестало занимать мое внимание.

"После того как тебя поразило их сходство, как долго ты его осознавал?" Как можно было бы ответить на этот вопрос? "Я скоро перестал о нем думать", или "Оно снова время от времени бросается

мне в глаза", или же "Мысль о том, как они похожи, несколько раз приходила мне в голову", или же "Их сходство изумляло меня не меньше минуты". Приблизительно так выглядят ответы.

Нельзя ли поставить вопрос: "Осведомлен ли я об объемности, глубине, предмета (например, этого шкафа) все то время, что вижу его?" Чувствую ли я ее, так сказать, все время? Сформулируй"ка этот вопрос в третьем лице. В каком случае ты сказал бы о ком-то, что он осведомлен об этом постоянно, а в

каком случае противоположное? Конечно, можно было бы спросить его самого но как он научился отвечать на такие вопросы? Он знает, что значит "непрерывно ощущать боль". Но в данном случае такое знание только запутает его (как оно вводит в заблуждение и меня).

Ну, а если он говорит, что непрерывно отдает себе отчет о глубине, верю ли я ему в этом? А если он говорит, что осознает ее лишь время от времени (скажем, когда он о ней говорит), верю ли я ему и в этом? Мне покажется, что

его ответы исходят из ложных оснований. Другое дело, если он скажет, что объект представляется ему то плоским, то объемным.

Кто-то рассказывает мне: "Я смотрел на цветок, думая о чем-то другом, и не осознавал его цвет". Понимаю ли я его слова? Я могу придумать для них какой-то осмысленный контекст; например, продолжить его высказывание так: "Затем я вдруг увидел его и осознал, что это именно тот цветок, который."

Или же: "Если бы я в тот момент отвернулся, я не смог бы сказать, какого он цвета".

"Он смотрел на это, не видя его". Так бывает. Но каков критерий этого? Здесь возможны различные случаи.

"Я смотрел сейчас не столько на форму, сколько на цвет". Не позволяй только запутывать себя такими оборотами речи. Прежде всего не размышляй над тем, "что могло происходить при этом в глазах или в мозгу?"

Сходство бросается мне в глаза, и затем это впечатление блекнет.

Это бросилось мне в глаза всего на несколько минут, а затем исчезло.

Что здесь произошло? Что могу я припомнить? Мне приходит на ум мое собственное выражение лица, я мог бы его воспроизвести. Если бы кто-то, знающий меня, увидел в тот момент мое лицо, он сказал бы: "Тебя что-то поразило только что в его лице". Далее ко

мне приходит то, что я говорю в таких обстоятельствах, громко либо про себя. И все. Так это и есть [состояние] удивления? Нет. Это его проявления. Но эти проявления и суть то, "что происходит".

Видение " мышление не из этого ли складывается удивление? Нет. Здесь пересекаются многие из наших понятий.

("Мыслить" и "говорить про себя" я не сказал "говорить с самим собой" это разные понятия.)

Цвету объекта соответствует зрительное восприятие цвета (эта копировальная бумага кажется мне розовой, и она действительно розовая), форме объекта зрительное восприятие формы (это представляется мне прямоугольником и является прямоугольником) но при высвечивании того или иного аспекта я воспринимаю не некое свойство объекта, а внутреннее отношение между ним и другими объектами.

Происходит почти то же самое, что с "видением знака в данном контексте", видением, являющимся как бы эхом мысли.

"Отзвуком той или иной мысли во взгляде" можно сказать.

Представь себе какое-нибудь физиологическое объяснение переживания. Пусть оно будет таким: когда мы рассматриваем фигуру, наш взгляд вновь и вновь очерчивает свой объект, следуя по определенному пути. Этот путь соответствует особой форме

колебаний глазного яблока в процессе видения. Возможен скачкообразный переход одной формы движения в другую и попеременная их смена друг другом (аспекты А). Некоторые формы движения физиологически невозможны. Поэтому я, например, не могу видеть схему куба как две взаимопроникающие друг в друга призмы. И так далее. Примем это за объяснение. "Да, теперь я знаю, что это один из видов зрения". Ты ввел сейчас новый, физиологический критерий видения. Но это может лишь замаскировать старую проблему, а

не решить ее. Так ведь целью этих замечаний и было лишь ясно представить взору то, что происходит, когда нам предлагается некое физиологическое объяснение. Психологическое понятие оказывается недостижимым для этого объяснения. И тем самым природа нашей проблемы становится более ясной.

Вижу ли я всякий раз действительно нечто другое или же я только интерпретирую различными способами то, что вижу? Я склонен сказать первое.

Но почему? Интерпретация это мышление, деяние, тогда как видение это состояние.

Теперь легко узнать случаи, в которых мы интерпретируем. Интерпретируя, мы выдвигаем гипотезы, которые могут оказаться ложными. Высказывание "Эта фигура мне видится как некий·" в столь же малой степени (или только в том же смысле) поддается верификации, что и высказывание "Я вижу сверкающий пурпур". Стало быть, существует некоторое сходство употребления слова "видеть" в обоих контекстах.

Только не воображай, будто наперед знаешь, что означает здесь выражение "состояние видения"! Усвой его значение через употребление.

В связи с видением нам представляются загадочными какие-то моменты, поскольку видение в целом не кажется нам достаточно загадочным.

От того, кто рассматривает на фотографии людей, здания, деревья, не ускользает их объемность. Ему было бы нелегко

описать их как сочетание цветных пятен на плоскости. Но то, что мы видим, глядя в стереоскоп, выглядит объемным по-иному.

(Причем отнюдь не самоочевидно, что мы видим "объемно" ("räumlich") двумя глазами. Сливая воедино два зрительных образа, можно было бы рассчитывать лишь на расплывчатый итог.)

Понятие аспекта родственно понятию представления. Или же: понятие "Я вижу теперь это как."

родственно понятию "Теперь я представляю себе это".

Не дело ли фантазии, слушать что-то как вариацию на определенную тему? И все же благодаря этому человек что-то [действительно] воспринимает?

"Представь себе нечто столь изменившимся, что перед тобой уже как бы другая вещь".
Доказательство можно осуществлять в воображении.

Видение аспекта и
представление подчиняются воле.
Это она отдает приказ "Представь
себе это!", а также "Теперь смотри
на эту фигуру так", но не "Теперь
этот лист зеленый"!

Здесь возникает вопрос,
возможно ли было бы
существование людей, лишенных
способности видеть нечто как
нечто и во что бы это вылилось.
Какие бы имело последствия? Был
бы такой дефект подобен цветовой
слепоте или отсутствию
абсолютного слуха? Мы склонны

назвать его "слепотой к аспекту" и затем обдумать, какой смысл можно в это вложить. (Концептуальное исследование.) Предполагается, что слепой к аспектам не способен видеть смену аспектов А. Тогда он не должен замечать и того, что двойной крест включает в себе черный крест и белый? Так значит, задача "Покажи мне среди этих фигур те, что содержат черный крест", была бы для него неразрешимой? Нет. Решить такую задачу ему было бы по силам, но он бы не сказал: "Теперь это черный крест на белом фоне!"

Предполагается ли, что он слеп к сходству двух лиц? Да и к сходству вообще или к приблизительному сходству? Я не хочу этого утверждать. (Он должен быть способен выполнить приказ такого рода: "Принеси мне нечто, имеющее тот же вид, что и это!")

Должно быть, он не сможет видеть схему куба как куб? Из этого не следовало бы, что он не способен признать в ней изображение (например, рабочий чертеж) куба. Но для него аспекты этого куба не менялись бы

скачкообразно. Вопрос в том, должен ли он при некоторых обстоятельствах быть способен считать изображение кубом, как это делаем мы? Если нет, то вряд ли можно назвать это слепотой.

"Слепой к аспектам" вообще будет по-иному относиться к изображениям, чем мы.

(Аномалии этого рода можно легко себе представить.)

Слепота к аспектам родственна отсутствию "музыкального слуха".

Важность данного понятия заключена во взаимосвязи понятий "видеть аспект" и "переживать значение слова". Дело в том, что мы хотим выяснить: "Чего лишен тот, кто не переживает значения слова?"

Чего был бы лишен, например, тот, кто не понимал бы требования, произнося слово "есть", иметь в виду глагол, или же тот, кто не чувствовал бы, что слово, повторенное десять раз подряд, теряет для него свое

значение и становится просто звуком?

Вопрос о том, какое значение придавало какому-то слову некое лицо, мог бы рассматриваться, например, в ходе судебного разбирательства. И его можно было бы решить на основе определенных фактов. Таков вопрос об умысле (Absicht). Но разве мог быть столь же значимым вопрос о том, как это лицо переживало какое-то слово, скажем слово "банк"?

Предположим, я договариваюсь с кем-то на зашифрованном языке. Слово "башня" означает в нем банк. Я говорю ему "Иди к башне!" он понимает меня и действует соответственно, но слово "башня" в этом его употреблении звучит для него странно, он еще не "усвоил" его значения.

"При чтении стихотворения или рассказа с выражением во мне происходит что-то такое, чего не бывает, если я пробегаю строчки лишь ради содержащейся в них информации". Какой процесс

здесь имеет место? Предложения звучат иначе. Я тщательно слежу за интонацией. Иногда произношу слово в неверной тональности, излишне подчеркивая или же нивелируя его. Я замечая ошибку, и это отражается на моем лице. Позднее я мог бы сказать о деталях своего исполнения, например об ошибках в интонациях. Иногда в моем сознании проплывает картина, своего рода иллюстрация. Она словно помогает мне читать с правильным выражением. Здесь можно упомянуть о множестве подобных средств. Я могу также придать слову звучание, которое

бы выделяло его значение из всего остального, почти так, как если бы это слово давало картину вещи. (И конечно, это может быть обусловлено структурой предложения.)

Когда я при выразительном чтении произношу такое слово, оно до краев наполнено своим значением. "Как такое возможно, если значение это употребление слова?" Да это же просто образное выражение. Но при этом я не выбирал образ, он как бы сам навязался мне. Причем образное употребление слова не может

прийти в конфликт с его первоначальным употреблением.

Почему именно этот образ возник передо мной, пожалуй, не так уж сложно объяснить. (Вспомни хотя бы о выражении "меткое слово" и его значении.)

Но представь мы себе предложение как словесную картину, а каждое слово в нем как отдельное изображение, не столь уж удивительным было бы, что слово, взятое вне контекста и сказанное без определенной цели,

кажется как бы несущим в себе самом определенное значение.

Подумай здесь об особом виде иллюзии, проливающей свет на это обстоятельство. Я прогуливаюсь со своим знакомым в окрестностях города. В разговоре с ним выясняется, что, по моим представлениям, город лежит справа от нас. Для этого предположения у меня нет никакого осознанного основания, более того, простое размышление могло бы убедить меня в том, что город где-то слева от меня. На его вопрос, почему же тогда я

вообразил, будто город лежит в том направлении, я не мог бы сперва дать никакого ответа. У меня не было основания так считать, однако, не имея на то оснований, я, по"видимому, мог бы все же усмотреть определенные психологические причины для подобного предположения, сославшись на какие-то ассоциации и воспоминания. Например, такие: мы ведь шли вдоль канала, а я уже однажды при подобных же обстоятельствах ходил по берегам какого-то канала и тогда город лежал справа от нас. Я бы мог попытаться аналогичным

образом проследить причины моего необоснованного убеждения как бы психоаналитически.

"Но что это за странное переживание?" Да ведь оно не более странно, чем любое другое. Просто оно иного типа, чем те переживания, которые мы считаем наиболее фундаментальными, например, чувственные впечатления.

"Мне кажется, что я знаю: город лежит там". "Мне кажется, что имя "Шуберт" подходит и к

сочинениям Шуберта, и к его лицу".

Ты можешь произнести про себя, к примеру, слово "гладь", имея при этом в виду один раз повелительную форму глагола, а другой раз имя существительное. А теперь скажи "гладь!", а затем "Не гладь кошку!". Ты уверен, что оба раза это слово сопровождается аналогичным переживанием?20

Если тонкий слух помогает мне уловить, что в данной языковой игре я переживаю данное слово то

так, то этак, не поможет ли он мне также уловить, что в связной речи, в потоке слов я часто совсем не переживаю его? Ведь то, что я ему придаю (или намереваюсь придать, а в последствии, вероятно, и объяснить) то такой, то иной смысл, не имеет никакого отношения к поставленному вопросу.

Но тогда остается неясным, почему при этой игре переживания слов мы также говорим о "значении" и "осмыслении". Это вопрос иного рода. Для этой языковой игры характерно то, что

данное выражение используется в этой ситуации: мы произносили данное слово в таком значении и заимствуем это выражение из другой языковой игры.

Назови это сном. Это ничего не меняет.

Даны два понятия -толстый" и "худой". Неужели ты готов утверждать, что среда толстая, а вторник худой или же наоборот? (Я склонен выбрать первое.) Разве -толстый" и "худой" имеют тут иное значение, отличное от

общепринятого? Они имеют иное применение. Так что же, на самом деле мне следовало бы употребить другие слова? Вовсе нет. Я хочу использовать здесь эти слова (в привычном для меня значении). При этом я ничего не говорю о причинах данного явления. Это могли бы быть ассоциации из дней моего детства. Но это гипотеза. Каково бы ни было объяснение, мое желание остается в силе.

Если бы меня спросили: "Что, собственно, ты вкладываешь в слова -толстый" и "худой"?" я бы мог истолковать их значения

только самым обычным образом. Я не смог бы объяснить их на примере вторника и среды.

Здесь можно говорить о "первичном" и "вторичном" значениях слова. Только тот, кому известно первичное значение слова, может употреблять его во вторичном значении.

Лишь тому, кто научился хорошо считать письменно или устно, можно с помощью понятия вторичного значения объяснить, что такое счет в уме.

Вторичное значение это не "переносное" значение. Говоря "Гласная е для меня желтая", я имею в виду "желтое" не в переносном значении ведь иначе, чем с помощью понятия "желтое", я не мог бы выразить то, что хотел сказать.

Кто-то говорит мне: "Подожди меня у банка". Вопрос: имел ли ты в виду, произнося это слово, именно этот банк? это вопрос того же типа, что и следующий: "Намеревался ли ты, идя на встречу с ним, сказать ему то-то?"

Этот вопрос относится к определенному времени (ко времени его ходьбы, как первый вопрос ко времени произнесения слов) но не к переживанию в течение этого времени. Подразумевание в столь же малой степени переживание, как и намерение.

Что же отличает их от переживания? У них нет переживаемого содержания. Дело в том, что сопровождающие и иллюстрирующие их содержательные переживания (например, представления) не

являются ни подразумеванием, ни намерением.

Намерение, в соответствии с которым действуют, "сопровождает" действие не в большей мере, чем мысль "сопровождает" речь. Мысль и умысел не являются ни "элементарными", ни "составными", их нельзя уподобить ни отдельной ноте, звучащей во время действия или речи, ни мелодии.

"Речь" (Reden) (громкая или молчаливая) и "мышление" (Denken) понятия разного рода, хотя они и связаны теснейшим образом.

Интерес к переживаниям, которые кто-то испытывает, пока говорит, и к намерению не одинаков. (Переживание, вероятно, могло бы информировать психолога о "бессознательном" намерении.)

Услышав это слово, мы оба подумали о нем. Предположим,

что каждый из нас при этом мысленно произнес одни и те же слова, а это ведь не может означать ничего БОЛЬШЕ. Но не были ли и эти слова лишь неким зародышем? Ведь, чтобы действительно быть выражением мысли о том человеке, они должны принадлежать языку и контексту.

Заглянув в наши души, сам Бог не смог бы увидеть там, о ком мы говорим.

"Почему ты посмотрел на меня при этом слове, ты подумал о ·?"

Значит, существует реакция, относящаяся к данному моменту, и она объясняется словами "Я подумал о·" или "Я вдруг вспомнил о·".

Говоря это, ты соотносишь себя с моментом речи. И есть разница соотносишь ли ты себя с одним или другим моментом времени.

Простое объяснение слова в момент его произнесения не соотнесено с каким-то событием.

Языковая игра "Я имею (или имел) в виду это" (последующее объяснение слов) совершенно отлична от такой игры: "Между прочим, я думал о·". Чему родственно: "Мне вспомнилось о·".

"Сегодня я уже трижды вспоминал о том, что должен ему написать". Какое имеет значение, что при этом происходило во мне? Но с другой стороны, какое значение имеет, какой интерес представляет это сообщение само

по себе? Оно позволяет сделать определенные выводы.

"При этих словах мне представился он". Какова та простейшая реакция, с которой начинается языковая игра? та, что может быть переведена в эти слова. Как люди приходят к применению этих слов?

Простейшей реакцией может быть взгляд, жест, но также и слово.

"Почему ты взглянул на меня и покачал головой?" "Я хотел дать понять тебе, что ты." Эти слова должны выражать не знаковое правило, а цель моего действия.

Придание значения (das Meinen) это не процесс, сопровождающий данное слово. Ибо никакой процесс не мог бы иметь последствием такое наделение слова значением.

(Аналогичным образом, я думаю, можно было бы сказать: вычисление не есть эксперимент,

ибо никакой эксперимент не мог бы дать того особого результата, какой дает умножение.)

Есть важные явления, сопутствующие речи, явления, которые в речи, лишенной мысли, зачастую утрачиваются, и это служит ее характерной чертой. Но они не являются мышлением.

"Теперь я это знаю!" Что тут произошло? Что же раньше я этого не знал, если уверяю, что теперь я это знаю?

Ты неверно смотришь на это.

(Чему служит этот сигнал?)

А можно ли назвать "знание" сопровождением восклицания?

Привычный вид слова, ощущение, будто оно вобрало в себя свое значение, как бы стало наглядным воплощением. Возможно есть люди, которым все это чуждо. (У них не было привязанности к своим словам.) А как проявляются эти чувства у

нас? Они находят свое выражение в том, как мы выбираем и оцениваем слова.

Как я нахожу "правильное" слово? Как я выбираю его среди других слов? Иногда это может происходить так, словно я сравниваю тончайшие оттенки запахов: это чересчур· и это тоже слишком· а вот то, что нужно. Но при этом не всегда нужно выносить оценки, объяснять. Нередко можно лишь сказать: "Это просто еще не подходит". Я неудовлетворен и продолжаю поиск. Наконец ко мне приходит

то самое слово: "Вот оно!" Иногда я могу сказать почему. Просто поиск здесь выглядит вот так, находка так.

А не "приходит" ли осенившее тебя слово каким-то особым образом? Будь внимателен и поймешь! Дотошное внимание не годится для меня. Оно способно открыть лишь то, что сейчас происходит во мне.

Да как вообще можно именно сейчас прислушиваться к этому? Ведь придется ждать, пока какое-

то слово опять не придет в голову. Но здесь обнаруживается нечто странное: кажется, что вообще не обязательно ждать особого стечения обстоятельств, что можно продемонстрировать соответствующий случай самому себе, не заботясь о том, имеет ли он место в действительности. И как это делается? Я разыгрываю его. Но что можно узнать таким образом? Что я воспроизвожу? Характерные сопутствующие явления; главным образом жесты, мимику, тональность.

Многое можно сказать о тонких эстетических различиях и это важно. Прежде всего, конечно, можно сказать: "Это слово подходит, а то нет" или же что-то в этом роде. А затем можно обсудить и все многообразие разветвленных контекстов для каждого из рассматриваемых слов. Тем первым суждением дело не ограничивается, ибо решающим является поле того или иного слова.

"Слово вертится у меня на языке". Что при этом происходит в

моем сознании? Об этом нет и речи. Что бы там ни происходило, не оно подразумевается в моем высказывании. Куда интереснее, что происходило в моем поведении. [Фраза:] "Слово вертится у меня на языке" говорит тебе: слово, подходящее к данному случаю, ускользнуло от меня, я надеюсь вот"вот его найти. В остальном же данное вербальное выражение делает не больше, чем соответствующее бессловесное поведение.

Джемс, собственно, хотел сказать именно об этом: "Что за

удивительное переживание! Слова еще нет, но все же в каком-то смысле оно уже здесь, или имеется нечто, что может вырасти лишь в данное слово". Но все это отнюдь не переживание. Истолкованное как переживание, оно действительно выглядит странным. Подобно намерению, толкуемому как сопровождение действия, или¹, толкуемой как число натурального ряда. Слова "Это вертится у меня на языке" в столь же малой степени являются выражением переживания, как и слова "Теперь я знаю, как продолжить!". Мы употребляем их

в определенных ситуациях в антураже особого рода поведения и многих характерных переживаний. Довольно часто этому сопутствует нахождение слова. (Задайся вопросом: "Что было бы, если бы люди никогда не находили сл)ова, которое вертится у них на языке?")

Молчаливая, "внутренняя" речь не является полускрытым феноменом, воспринимаемым как бы сквозь дымку. Она совсем не скрыта, но само это понятие может с легкостью сбить нас с толку, ибо большой отрезок пути

оно пробегает вместе [бок о бок] с понятием "внешнего" процесса, однако не пересекается с ним.

(Вопрос о том, иннервируются ли мускулы гортани при внутренней речи, и другие подобные вопросы могут представлять большой интерес, но не для нашего исследования.)

Тесное родство "внутренней речи" с "речью" как таковой проявляется в возможности высказать громко то, что говорилось про себя, а также во

внешних действиях,
сопровождающих внутреннюю
речь. (Я могу беззвучно петь, или
читать про себя, или вычислять в
уме и при этом отбивать такт
рукой.)

"Но все же внутренняя речь это
определенная деятельность,
которой я должен научиться!" Да,
конечно, но что значит здесь
"действовать" и что такое
"учиться"?

Пусть значению слов тебя учит
их употребление! (Аналогичным

образом в математике часто можно рекомендовать: пусть доказательство учит тебя тому, что доказывается.)

"Так значит, считая в уме, я в действительности не вычисляю?" Ты же отличаешь все"таки устный счет от зримо выполняемых вычислений! Но узнать, что такое "счет в уме", можно, лишь усвоив, что такое "вычисление" вообще; научиться считать в уме можно, лишь вообще научившись считать.

Можно мысленно говорить что-то очень "отчетливо", передавая тональность предложения гудением (с сомкнутыми губами). Этому помогают и движения гортани. Но примечательно здесь то, что человек в этом случае слышит речь в своем воображении, а не просто чувствует ее каркас, скажем гортанью. (А тогда вполне позволительно представить себе, что и вычисления люди производят безмолвными движениями гортани, подобно тому, как можно считать на пальцах.)

Предположение, что при счете про себя в нашем организме происходит то-то, интересно для нас лишь тем, что указывает на возможное применение выражения "Я сказал самому себе·", то есть на возможность судить о физиологическом процессе на основе высказывания.

То, что другой говорит мысленно ["про себя"], сокрыто от меня, входит в понятие "внутренней речи". Правда, слово "сокрытое" следует признать ложным, ибо то, что скрыто от меня, должно быть

открыто ему самому, он должен это знать. Но он этого не "знает"; он просто не испытывает того сомнения, которое существует для меня.

-то, что некто мысленно говорит самому себе, скрыто от меня" это утверждение могло бы, конечно, означать и то, что в большинстве случаев, когда так говорят, я не могу ни угадать, ни (как это было бы возможно) прочитав его фраз, скажем по движениям гортани.

[Утверждение]: "Я знаю, чего я хочу, желаю, во что верю, что чувствую·" (и т.д., перечисляя все психологически значимые глаголы) это либо бессмыслица философов, либо же не суждение а priori.

"Я знаю·" может означать "Я не сомневаюсь·" но это не означает, что слова "Я сомневаюсь·" бессмысленны, что сомнение логически исключено.

"Я знаю·" говорят и там, где можно было бы также сказать "Я

верю" или "Я предполагаю"; в тех случаях, где возможно убедиться. (Если на это возразить, указав, что иногда говорят: "Уж я-то должен знать, болит ли у меня что-то!" или -только ты можешь знать, что ты чувствуешь" и т.п., то следует принять во внимание повод и цель этих выражений. Ведь мы же не будем считать фразу "Война есть война!" примером закона тождества.)

Можно вообразить случай, когда я мог бы убедить себя, что у меня две руки, но обычным способом я этого не могу сделать. "Но тебе

нужно только поднять руки перед глазами". Если я сейчас сомневаюсь, что у меня две руки, то мне не обязательно верить и своим глазам. (С тем же успехом я мог бы спросить об этом у своего друга.)

С этим связано то, что, например, высказывание "Земля существует миллионы лет" имеет более ясный смысл, чем высказывание "Земля существует в течение последних пяти минут". Ведь человека, утверждающего последнее, я бы спросил: "На каких наблюдениях основывается

это положение, а какие из них ему противоречат?" тогда как тот круг идей и наблюдений, на которых основывается первое положение, мне достаточно известен.

"У новорожденного ребенка нет зубов". "У гуся нет зубов". "У розы нет зубов". Последнее положение, можно сказать, очевидная истина. Оно даже более несомненно, чем то, что гусь не имеет зубов. И все же оно не столь уж ясно. Ибо где должны быть у розы зубы? У гуся их нет в его челюстях. И естественно, их нет у него в крыльях, но этого никто не имеет в

виду, говоря, что у гуся нет зубов. А как быть, если кто-то скажет: корова жуёт свою пищу и затем удобряет навозом розу, следовательно, у розы есть зубы в пасти животного. И это не было бы абсурдным хотя бы потому, что человек не подумал бы искать зубы в розе. ((Связь с "болью в теле другого".))

Я могу знать, чт)о думает другой, а не чт)о думаю я.

Правильно сказать "Я знаю, чт)о ты думаешь" и неверно "Я знаю,

что я думаю".

(Целое облако философии
конденсируется в каплю
грамматики.)

"Мышление человека
совершается внутри его сознания,
закрытого настолько, что по
сравнению с ним любая
физическая закрытость нечто,
явленное всем (Offen"da"liegen)".

Неужели к картине полной
замкнутости склонны были
прибегать и люди коли бы такие

существовали, всегда способные читать (скажем, наблюдая за гортанью) безмолвные внутренние рассуждения других?

Если бы я вслух рассуждал с самим собой на языке, непонятном присутствующим, мои мысли были бы скрыты от них.

Предположим, какой-то человек всегда правильно угадывает то, что я мысленно говорю самому себе. (Как это ему удастся неважно.) Но каков критерий того, что он угадывает правильно? Ну хотя бы

такой: я, человек правдивый, признаю, что он угадал правильно. А не могу ли я заблуждаться, не может ли подводить меня моя память? И не может ли она делать это всякий раз, когда я не стремясь лгать высказываю то, о чем я думал про себя? Но тогда оказывается, что дело вовсе не в том, что "происходило у меня внутри". (Я здесь создаю вспомогательную конструкцию.)

Критерии истинности описания
некоего процесса не является
критериями истинности
признания: я думал то-то. И

важность правдивого признания не сводится к достоверности сообщения о некоем процессе. Скорее, она заключается в тех конкретных следствиях, которые можно извлечь из данного признания, подлинность которого подтверждается особыми критериями правдивости (Wahrhaftigkeit).

(Предположим, что сновидения позволяют нам сделать важные выводы о том, кому оно приснилось. Тогда то, на чем основаны эти выводы, можно считать правдивым

повествованием о сновидении. Вопрос о том, не подвела ли человека память, когда он по пробуждении рассказал о своем сне, может и не подниматься, если не вводить совершенно нового критерия "согласованности" рассказа о сне с самим сном, критерия, который бы в данном случае различал "истину" и "правдивость".)

Существует игра: "отгадывание мыслей". Одним из вариантов игры мог бы быть следующий: я что-то сообщаю А на языке, непонятном для В. В должен

разгадать смысл сообщения. Другой вариант: я записываю предложение, которое другой не может видеть. Ему нужно отгадать звучание слов или их смысл. Еще один вариант: я составляю картину"загадку из набора фрагментов. Другой не может меня видеть, но время от времени он угадывает мои мысли и произносит их вслух. Например, он говорит: "А куда эту деталь?" "Теперь я знаю, куда ее приложить!" "У меня нет ни малейшего представления, что подходит сюда". "Небо с этим всегда труднее всего" и т.д. При

этом мне нет необходимости что-либо говорить ни вслух, ни про себя.

Все это было бы отгадыванием мыслей; если же реально этого не происходит, то мысль не делается чем-то более сокрытым, чем не воспринимаемый нами физический процесс.

"Внутреннее от нас скрыто". Будущее от нас скрыто. Но думает ли так астроном, вычисляющий дату солнечного затмения?

Видя кого-то, по очевидной для меня причине корчащегося от боли, я не думаю при этом: то, что он чувствует, скрыто от меня.

О каком-то человеке мы даже говорим: он ясен для нас. Но для этого наблюдения важно то, что человек может быть для другого полной загадкой. Мы сталкиваемся с этим, прибывая в незнакомую страну с совершенно чуждыми нам традициями, даже если владеем языком этой страны. Мы не понимаем людей. (И не потому, что не знаем, о чем они говорят

про себя.) Нам не удастся найти в них себя.

[Фраза:] "Я не могу знать, что в нем происходит" прежде всего картина. Это полное уверенности выражение убеждения. Оснований для убеждения оно не дает. Таковые не лежат под рукой.

Умей лев говорить, мы не могли бы его понять.

По аналогии с отгадыванием мыслей можно представить себе отгадывание намерений, да и того,

что действительно собирается сделать кто-то.

Говорить -только он может знать, каково его намерение" бессмысленно. Заявлять: -только он может знать, что он будет делать" ложно. Ведь предсказание, которое содержится в выраженном мной намерении (например, "Как только пробьет пять часов, я пойду домой"), не обязательно сбудется, а что произойдет на самом деле, может быть известно кому-то другому.

В этой связи существенны два момента. Во"первых, другой человек зачастую не может предсказать моих действий, тогда как я, намереваясь сделать что-то, прогнозирую их. Во"вторых, мой прогноз (как выражение моего намерения) строится не на тех же основаниях, что и его предсказание моих действий. Отсюда выводы из этих двух прогнозов совершенно различны.

Я могу быть столь же уверен в переживании другого, как в каком-нибудь факте. Но это

обстоятельство не делает предложения "Он очень удручен", " $25! \quad 25 = 625$ " и "Мне 60 лет" однотипными инструментами. Здесь напрашивается объяснение: та уверенность другого рода. На первый взгляд такое объяснение указывает на психологическое различие. Но данное различие имеет логическую природу.

"А не отвергаешь ли ты все сомнения, если ты уверен в чем-то?" Отвергаю.

В том, что тот человек испытывает боль, я уверен меньше, чем в том, что $2 \mid 2 = 4$, не так ли? И это потому, что второе положение математически достоверно? "Математическая достоверность" это не психологическое понятие.

Вид достоверности это вид языковой игры.

"Свои мотивы знает только он сам" это выражение того факта, что о его мотивах мы спрашиваем его. Если он искренен, он расскажет нам о них. Мне же,

чтобы догадаться о его мотивах нужно нечто большее, чем просто его искренность. Здесь имеется родство со случаем знания.

Изумись же тому, что существует такая вещь, как наша языковая игра: признание в мотиве моего поступка.

Поразительное разнообразие всех повседневных языковых игр не осознается нами, потому что одежды нашего языка все делают ПОХОЖИМ.

Новое (спонтанное,
"специфическое") это всегда
языковая игра.

В чем различие между мотивом
и причиной? Как обнаруживают
мотив и как причину?

Существует такой вопрос:
"Надежен ли этот способ судить о
мотивах людей?" Но чтобы иметь
возможность задать такой вопрос,
мы уже должны знать, что значит
"судить о мотиве"; а учимся мы
этому не путем опытного

выяснения того, что такое "мотив" и что такое "судить".

Мы оцениваем длину стержня и можем искать и найти метод более точной и надежной ее оценки. Значит, то, что здесь оценивается, скажешь ты, не зависит от метода его оценки. С помощью метода определения длины невозможно определить, чем является длина. Кто так рассуждает, делает ошибку. Какую? Странно было бы утверждать: "Высота Монблана зависит от того, как на него восходят" А "все более точное измерение длины" пытаются

сравнивать со все большим приближением к некоему объекту. Но в каких-то случаях ясно, а в некоторых не ясно, что значит "все больше приближаться к длине объекта". Что значит "определять длину", мы узнаем без предварительного выяснения того, что такое длина и что такое определять; значение слова "длина" постигается, в частности, посредством усвоения того, что значит определение длины.

(Поэтому слово "методология" имеет двойное значение. "Методологическим

исследованием" можно назвать как физическое исследование, так и концептуальное.)

Мы иногда склонны называть достоверность и веру тональностями мысли; и это правильно, так как они находят свое выражение в тоне речи. Но не представляй их себе "чувствами", сопутствующими речи или мышлению! Не спрашивай: "Что происходит с нами, когда мы уверены?"

Спрашивай о другом: как проявляется "уверенность, что дело обстоит именно так" в поступках людей?

"Хотя ты и можешь быть полностью уверенным в душевном состоянии другого, но эта уверенность всегда только субъективна, а не объективна". Два этих слова указывают на различия между языковыми играми.

Может возникнуть спор о правильности какого-нибудь подсчета (например, суммы

длинного ряда чисел). Но такой спор возникает редко и длится недолго. Он, как мы говорим, решается "с достоверностью".

Между математиками, как правило, не возникает разногласий по поводу результатов какого-нибудь вычисления. (Это важный факт.) Если бы дело обстояло иначе, если бы, например, какая-нибудь цифра не приметным образом изменялась или память подводила того или другого математика и т.д., то такого понятия, как "математическая

достоверность", не существовало бы.

В этом случае вполне можно было бы сказать и такое: "Хотя мы никогда не сможем узнать, что такое результат вычисления, но все же каждое вычисление имеет вполне определенный результат. (Его знает Бог.) Эта математика, действительно, в высшей степени достоверна хотя мы обладаем лишь ее грубой копией".

Но не хочу ли я тем самым сказать, что достоверность

математики основывается на надежности, скажем, чернил и бумаги? Нет. (Это было бы порочным кругом.) Я же не сказал, почему математики не спорят между собой, но только что они не спорят.

Конечно, невозможно производить расчеты, пользуясь некоторыми сортами бумаги и чернил, а именно если последние подвержены определенным, странным изменениям, но и то, что они изменились, опять"таки может быть зафиксировано лишь памятью и установлено путем

сравнения с другими средствами вычислений. А как в свою очередь проверяются эти последние?

То, что следует принимать как данное нам, это, можно сказать, формы жизни.

Имеет ли смысл утверждать, что люди, как правило, единодушны в своих суждениях о цвете? Что было бы, если бы дело обстояло иначе? Один утверждал бы, что этот цветок красный, другой называл бы его синим и т.д. и т.д. По какому же праву мы называли

бы тогда слова "красный" и "синий", употребляемые этими людьми, нашими "наименованиями цветов"?

Как бы они научились применять эти слова? И разве усвоенная ими языковая игра была бы той же самой, какую мы называем употреблением "названий цветов"? Здесь имеются явные различия в степени.

Но это рассуждение должно иметь силу и для математики. Если бы в ней не существовало полного

согласия, то люди не овладели бы методами, которыми владеем мы. Они были бы более или менее отличны от наших вплоть до полной неузнаваемости.

"Но ведь математическая истина независима от того, познают ли ее люди или нет!" Конечно, высказывания " $2 \mid 2 = 4$ " и " $2 \nmid 2 = 4$ " нетождественны по смыслу. Последнее математическое предложение, первое, если оно вообще имеет смысл, может приблизительно означать, что люди пришли к данному математическому

предложению. Применение обоих предложений совершенно различно. А что могло бы означать такое высказывание: "Даже если бы все люди полагали, что $2 \mid 2 = 5$, то все равно $2 \mid 2$ равнялось бы 4"? Что было бы, если бы все люди полагали, что $2 \mid 2 = 5$? Ну, я мог бы представить себе, например, что у них другое исчисление или же другой метод, который мы не назвали бы "счетом". Но был бы он неверным? (Является ли ошибочной коронация? Сущностям, отличным от нас, она могла бы показаться в высшей степени странной.)

Математика, безусловно, в каком-то смысле есть область знания, но она также и деятельность. И "ложные ходы" могут существовать в ней лишь в виде исключения. Ведь если бы то, что мы сейчас называем этим именем, стало правилом, то тем самым была бы отменена и игра, в которой они слывут ложными.

"Мы все учим одинаковую таблицу умножения". Это высказывание могло бы быть замечанием об уроках арифметики в наших школах, но также и

некоторым утверждением о
понятии таблицы умножения. ("На
скачках лошади, как правило, бегут
так быстро, как только могут".)

Существует цветовая слепота и
средства ее диагностики. В
определениях цвета у всех, кого
считают нормальными, царит
обычно полное единодушие. Это
характеризует понятие суждения о
цвете.

При выяснении того, подлинно
или неподлинно выражение

чувства, такого единогодушия не встречается вовсе.

Я уверен, уверен, что он не притворяется, но посторонний наблюдатель не убежден в этом. Всегда ли я могу его убедить? И если нет, то совершает ли он здесь мыслительную ошибку или же ошибку наблюдения?

"Ты же ничего не понимаешь!" так говорят, когда кто-нибудь сомневается в том, что мы признаем явно подлинным

[неподдельным], но не можем
[этот] доказать.

Разве существует
"профессиональная" оценка
подлинности выражения чувства?
Даже здесь имеются люди,
умеющие давать "более верные"
или "менее верные" оценки.

На основе суждений лучших
знатоков людей, как правило,
делаются и более верные
прогнозы.

Можно ли научиться знанию людей? Да, некоторые могут. Но не с помощью каких-то "учебных курсов", а путем "опыта". Может ли при этом кто-нибудь выступить в качестве учителя? Конечно. Время от времени он дает своему ученику правильную подсказку. Так выглядит здесь "ученичество" и "учительство". Здесь учатся не технике; учатся правильным суждениям. И на то имеются правила, но они не образуют системы, и верно применять их может только опытный человек. В отличие от правил исчисления.

Самое трудное тут правильно и неискаженно выразить эту неопределенность словами.

"Подлинность выражения нельзя доказать, ее можно только чувствовать". Хорошо, но что делать далее с этим познанием подлинности? Если кто-то говорит: "Voilà ce que peut dire un cœur vraiment épris"²¹, и доводит это до сознания другого, то каковы последствия этого? Или же это не имеет никаких последствий и игра кончается на том, что один

воспринимает то, чего не
воспринимает другой?

Конечно, следствия имеются, хотя они и носят диффузный характер. Опыт, то есть многообразные наблюдения, может научить нас делать выводы; мы можем, не формулируя их в общем виде, но применяя лишь к отдельным случаям, давать правильные, плодотворные оценки, устанавливать плодотворные связи. Тогда как самые общие замечания в лучшем случае дают то, что выглядит обломками некой системы.

Разумеется, с помощью такой очевидности можно убедиться в том, что некто находится в том или ином душевном состоянии, что он, допустим, не притворяется. Но здесь имеется и "невесомая" очевидность.

Вопрос в том: что совершает такая едва ощутимая очевидность?

Предположим, что имеется неявная очевидность для химической (внутренней) структуры какого-то вещества. Тем

не менее она должна проявить себя как очевидность через определенные осязаемые следствия.

("Неявные" очевидность могла бы убедить кого-нибудь в том, что картина подлинник. Но правильность такого вывода может быть подтверждена и документально.)

К едва уловимой очевидности принадлежат утонченность взгляда, жеста, тона.

Пожалуй, я бы узнал подлинно влюбленный взгляд, отличил его от притворного (и понятно, могла бы иметься "осязаемое" подкрепление моего суждения.) Но, возможно, я проявил бы при этом полную неспособность описать это различие. И не потому, что известные мне языки не имеют для этого слов. Почему бы в таком случае просто не ввести новые слова? Будь я высокоодаренным художником, можно было бы допустить, что я способен изобразить на картине взгляд искренний и взгляд притворный.

Полюбопытствуй: как человек осваивает "взгляд", предназначенный для чего-то такого? И как надлежит такой взгляд применять?

Ведь притворство лишь особый случай поведения, такого, например, когда выказывают внешние признаки боли, не чувствуя ее. Если это в принципе возможно, то почему при этом всегда должно иметь место именно притворство этот особый узор в жизненной ткани?

Ребенок должен многому научиться, прежде чем он сможет притворяться. (Собака не может лицемерить, но она не может быть и искренней).

Здесь возможен даже такой случай, когда приходится сказать: "Он полагает, что притворялся".

XII

Если бы образование понятий можно было объяснить, исходя из фактов природы, то вместо

грамматики нам следовало бы тогда интересоваться тем, что составляет их природную основу, не так ли? Безусловно, нас интересует и соответствие понятий очень общим фактам природы. (Таким фактам, которые в силу своего общего характера в большинстве случаев не привлекают нашего внимания.) Но наш интерес не докапывается до этих возможных причин образования понятий; мы не занимаемся ни естествознанием, ни естественной историей поскольку для наших целей можно

изобрести и вымышленную естественную историю.

Я не утверждаю: будь такие-то факты природы иными, у людей были бы иные понятия (в смысле гипотезы). Я говорю другое: если кто-то верит в абсолютную правильность некоторых понятий и считает, что обладание другими понятиями означало бы непонимание того, что понимаем мы, пусть он представит себе очень общие факты природы иными, отличными от тех, к каким привыкли мы, тогда ему станет понятным и формирование

понятий, отличающихся от
обычных.

Сравни понятие со стилем живописи: не является ли тогда лишь условным и наш стиль? Разве нельзя по своему желанию выбирать стиль живописи (например, египетский стиль)? Не идет ли здесь речь просто о красивом и безобразном?

ХІІІ

Когда я говорю: "Он был здесь полчаса назад" то есть помня об

этом, то это не описание
переживаний, испытываемых
мною сейчас.

Переживание воспоминаний
явление, сопутствующее
воспоминаниям.

Припоминание не обладает
никаким содержанием
переживания. А разве его нельзя
установить с помощью
интроспекции? Разве она не
показывает как раз, что там, где я
ищу содержание, ничего нет? Но
она могла бы показывать это лишь

в том или другом случае. И даже так она не может показать мне, что означает слово "вспоминать" и, следовательно, где искать некое содержание!

Идею содержания воспоминаний я получаю только сравнением психологических понятий. Оно аналогично сравнению двух игр. (Футбол игра, в которой есть ворота, в теннисе нет.)

Мыслима ли такая ситуация: некто в первый раз в своей жизни

вспоминает о чем-то и говорит: "Да, теперь я знаю, что такое "припоминание", что при этом испытывают" Но откуда он знает, что это чувство и есть "припоминание"? Сравни: "Да, теперь я знаю, что значит "дернуло током" (например, человек в первый раз испытал электрический удар)". Знает ли он, что это воспоминание, потому что оно вызвано чем-то прошлым? А откуда он знает, что такое прошлое? Понятию прошлого человек учится, вспоминая.

Каким же образом в будущем он вновь узнает, как переживается припоминание?

(С другой стороны, вероятно, можно говорить о чувстве "далекой"далекой давности", ибо определенным повествованиям о прошлых днях свойственен тот или иной тон, жест.)

XIV

Запутанность и бесплодие психологии не следует объяснять

тем, что она "молодая наука"; ее состояние несравнимо с состоянием, например, физики на ее ранних стадиях. (Скорее, оно сопоставимо с некоторыми областями математики. Теория множеств.) Ведь в психологии сосуществуют экспериментальные методы и путаница понятий. (Как в другом случае [в теории множеств]: методы доказательства и концептуальная путаница.)

Существование
экспериментального метода
позволяет полагать, будто мы
располагаем средством справиться

с беспокоящей нас проблемой; однако проблема и метод лежат здесь в разных плоскостях.

В связи с математикой возможно исследование, совершенно аналогичное нашему исследованию в психологии. Это исследование столь же мало математично, сколь мало в нашем случае оно психологично. В таком исследовании нет вычислений, так что оно не является, например, логистикой. Его можно было бы назвать исследованием "оснований математики".

17 Непереводимая игра слов: Ei (Эй!) и Ei (яйцо). Перев.

18 Акта подразумевания, направленности мысли на ее предмет.

19 J a s t r o w. Fact and Fable in Psychology.

20 В оригинале: слово "weiche", означающее и повелительную форму глагола и прилагательное, в первом случае звучит как "Weiche!" ("Мягче!"), во втором "Weiche nicht

vom Platz!" ("Не уступай места!").
Перев.

21 Вот что можно назвать
истинно любящим сердцем (фр.)